

Владимир Костицын

«Мое утраченное счастье...» Воспоминания, дневники

© В. Л. Генис, составление, вступительная статья, комментарии, аннотированный именной указатель, 2017

© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

Том I

Профессор-невозвращенец, или записки советского патриота

Публикуемые ниже воспоминания и записи из дневников Владимира Александровича Костицына (1883–1963) интересны уже самой личностью мемуариста: талантливый математик, астрофизик, геофизик, один из основоположников теоретической экологии,[1] удостоенный в 1942 г. премии Парижской академии наук за работы по математической биологии,[2] он не принадлежал к числу научных затворников и участвовал во многих исторических событиях как в России, так и во Франции, где прожил в общей сложности более сорока лет.

Выходец из разночинской интеллигентной семьи, сын учителя, который более четверти века преподавал русский язык в реальном училище в Смоленске и дослужился до чина статского советника, Костицын, окончив в 1902 г. гимназию, поступил на физико-математический факультет Московского университета, где, как и его товарищ, будущий академик Н. Н. Лузин, вместе с которым снимал комнату на Арбате, стал одним из первых и ближайших учеников выдающегося математика Д. Ф. Егорова. Но, в отличие от сторонившегося политики Лузина, избравшего сугубо научную карьеру (и снискавшего славу блестящего педагога, руководителя московской школы теории функций), деятельный, искавший правду и готовый за нее бороться Костицын еще гимназистом увлекся революционными идеями и, вступив в конце 1904 г. в Российскую социал-демократическую рабочую партию, благодаря своему боевому темпераменту неожиданно для себя оказался во главе университетской студенческой дружины.

Активный участник подготовки и проведения Декабрьского восстания 1905 г. в Москве, схваченный на Пресне и лишь чудом спасшийся от расстрела, и затем боевой организатор в Замоскворечье, Костицын прошел через испытания, закалившие его характер. Формируя, вооружая и обучая революционные дружины, устраивая побеги арестованным и многократно сам выскальзывая из полицейских «ловушек», недоучившийся студент распоряжался судьбами доверившихся ему подпольщиков, что, безусловно, требовало колоссальных душевных сил и возлагало на юношу большую моральную ответственность, а постоянная опасность, риск быть преданным, арестованным и борьба с провокаторами накладывали определенный отпечаток на психику.

Уже в августе 1906 г. Костицын был назначен ответственным боевым организатором Москвы и, делегированный в ноябре на Первую конференцию военных и боевых организаций РСДРП в Таммерфорсе, вошел в состав их руководящего бюро, в котором с апреля 1907 г. замещал председателя – Е. М. Ярославского (впоследствии – видного партийного функционера). Но, вернувшись 1 июня из Выборга, куда ездил для конспиративной встречи с другим членом бюро – М. А. Трилиссером (будущим начальником Иностранного отдела ОГПУ), Костицын прямо на вокзале был арестован. С огорчением узнав об этом, Д. Ф. Егоров написал ректору: «Я лично знаю Костицына как выдающегося студента, весьма талантливую и преданную науке. Нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения его участи?»[3] Привлеченный по делу Боевой организации при Петербургском комитете РСДРП, Костицын провел в тюремной одиночке в «Крестах» более полутора лет, но за недостаточностью улик 13 ноября 1908 г. был оправдан, после чего поспешил уехать за границу. Вместе с ним покинула Россию и его жена – Серафима Ивановна Надеина, фельдшер, которая тоже состояла в большевистской фракции и, выпущенная в июле под залог до суда из петербургского Дома предварительного заключения, скрылась и была заочно приговорена к заключению в крепости сроком на один год.

Сначала Костицыны жили в Вене, а в августе 1909 г. переехали в Париж, где вскоре поселились на одной квартире с большевичкой Р. С. Землячкой (получившей печальную известность во время Гражданской войны благодаря массовым расстрелам в Крыму). Тогда же в Париже возобновилось знакомство с В. И. Лениным (впервые Костицын встретился с ним еще в марте 1906 г. на заседании партийного комитета в Замоскворечье). Они вместе ходили на первомайскую манифестацию, а летом отправились на отдых на побережье Бискайского залива, где Ильичу, вспоминая Н. К. Крупскую, очень понравилось, и он «весело болтал о всякой всячине с Костицыными», [4] у которых и «кормились». [5] Ленин в 1911 г. предлагал Костицыну войти в состав большевистского ЦК, но тот отказался: политике он предпочел науку.

Окончив в 1912 г. Сорбонну со степенью лиценциата (licencié en sciences mathématiques), Костицын сразу же заявил о себе работами по системам ортогональных функций, напечатанными в «Математическом сборнике» Московского математического общества [6] и «Еженедельных отчетах о заседаниях [Парижской] Академии наук»: сообщение начинающего русского ученого представлял маститый французский математик Эмиль Пикар. [7] Костицын вел переписку с Егоровым, и в послании Лузину от 30 июня 1913 г. тот искренне сокрушался: «Досадно, что В. А. Костицын потерял свой результат! Доказательство Hobson-а я еще не видал &…&»; интересно бы знать доказательство В. А.» [8] Егоров имел в виду теорему, опубликованную профессором Кембриджского университета Э. У. Гобсоном, который опередил Костицына. Но вскоре Костицын увлекся математическим решением задач, связанных с астрофизикой, и в 1916 г. во французских научных журналах были напечатаны еще две его статьи: в «Астрономическом бюллетене» – «О распределении звезд в шарообразных звездных скоплениях» и в «Еженедельных отчетах о заседаниях Академии наук» – «О периодичности солнечной активности и влиянии планет». [9]

Идейный разрыв вчерашнего боевика с его прежними единомышленниками-ленинцами произошел в 1914 г., когда в связи с началом Первой мировой войны Костицын оказался в рядах «оборонцев», сторонников защиты отечества, которых их оппоненты-«интернационалисты» презрительно называли «социал-патриотами». В ноябре 1915 г. жена Костицына скончалась от скоротечной чахотки, и, мобилизованный в августе 1916 г. в армию, он вернулся в Россию, где после недолгого пребывания в запасном батальоне в Гатчине был направлен на офицерские теоретические курсы авиации при Петроградском политехническом институте в Лесном.

После свержения монархии властный, умеющий брать на себя ответственность Костицын немедленно организовал районную милицию и был назначен временно командующим войсками на территории, примыкающей к финляндской границе. Тогда же он вошел в состав

Временного организационного комитета, а затем и ЦК «революционно-оборонческой» группы «Единство», ненадолго ставшей пристанищем как для правых меньшевиков из числа многолетних сподвижников возглавлявшего ее Г. В. Плеханова, так и для нескольких бывших большевиков, разошедшихся с ленинцами. Произведенный в марте 1917 г. в прапорщики и оставленный на офицерских курсах в качестве преподавателя аэромеханики, Костицын в августе получил должность помощника военного комиссара Временного правительства при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. Считая себя защитником «революционной демократии» от ее врагов как справа, так и слева, он лично арестовал А. И. Деникина и других генералов-корниловцев, а в дни Октябрьского переворота, проявив присущие ему энергию и решительность, жесткими мерами, вплоть до применения артиллерии, сурово подавил большевистское восстание в Виннице.

Но Временное правительство пало, и объявленный «вне закона» и вынужденный скрываться Костицын, не желая оказаться в стане реакции, решил при первой возможности «войти в советскую работу». В этом ему помог товарищ по политэмиграции, назначенный Совнаркомом чрезвычайным уполномоченным по эвакуации, – большевик М. К. Владимиров, по рекомендации которого 6 мая 1918 г. Костицын был принят на должность управляющего делами Всероссийской эвакуационной комиссии. Хотя его служебное положение было еще очень неустойчиво, он не побоялся напомнить о себе председателю Совнаркома, обращаясь к которому в июле через Крупскую, попросил об освобождении, под свое поручительство, их общего знакомого – одного из самых яростных хулителей Ленина как «германского шпиона», тоже бывшего большевика и члена группы «Единство», Г. А. Алексинского. Возмущаясь «содержанием в тюрьме человека умирающего, против которого нельзя выставить иных обвинений, кроме выступлений против большевиков тогда, когда они еще не были у власти», Костицын с упреком писал Ленину: «Ведь много говорили о великодушии пролетариата, и вот рабочая и крестьянская власть выказывает себя жестокой, а главное – бессмысленно и бесполезно жестокой, что не прощается никому и никогда». На его послании – ленинская пометка: «Это письмо Костицына, плехановца, но человека честного».[10]

В январе – октябре 1919 г. Костицын состоял управляющим делами транспортно-материального отдела Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), но, возобновив свои научные занятия, он уже в мае был избран преподавателем по кафедре чистой математики 1-го МГУ, а в июне введен в Государственный ученый совет при Наркомате просвещения РСФСР. Тем же летом Костицын нашел свое счастье: его женой стала выпускница экономического отделения Московского коммерческого института 23-летняя Юлия Ивановна Гринберг – дочь бывшего купца 2-й гильдии, из обрусевших немцев, который заведовал товарным (хлопковым) отделом Сибирского торгового банка, а после большевистского переворота, ареста и конфискации всех капиталов поступил на службу во Всероссийскую эвакуационную комиссию. Юлия Ивановна, работавшая там же в секретариате, была на тринадцать лет моложе Костицына (но, по иронии судьбы, умерла на тринадцать лет раньше!) и шуточно сравнивала мужа, который ее страстно любил, с «профессором Челленджером», находя у него, видимо, некоторое сходство с известным героем приключенческих романов Артура Конан Дойла – бывалым и самоуверенным ученым-энциклопедистом, забиякой и грубияном.

Административная и преподавательская нагрузка Костицына быстро увеличивалась: помимо работы в Государственном ученом совете, он – член коллегий Научно-технического отдела ВСНХ, научно-популярного отдела Госиздата и отдела научной литературы Наркомпроса, заведующий Государственным техническим издательством, член Особой комиссии по изучению Курской магнитной аномалии, профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, товарищ декана физико-математического факультета 1-го МГУ, организатор научных институтов (астрофизического, геофизического, математики и механики, научной методологии) и... нашумевшей «профессорской забастовки»,[11] которому в самый критический ее момент передали «привет и сочувствие от Сталина»,[12] – вот лишь

пунктирно деятельность Костицына в тот бурный и достаточно противоречивый отрезок жизни, который он описывает в автобиографии и воспоминаниях о «военно-коммунистической» России.

С августа 1922 г. Костицын исполнял обязанности декана физико-математического факультета 1-го МГУ, замещая другого «забастовщика» – арестованного и высланного за границу астронома В. В. Стратонова, который, несмотря на их «добрые отношения», в написанных в эмиграции мемуарах упрекал бывшего заместителя, что он «как-то всегда не шел до конца», «все время колебался в не вполне устойчивом равновесии». Стратонов пояснял, что «способный математик и также теоретик-астроном», который в Париже «усердно занимался» и «свел хорошие личные знакомства с выдающимися французскими математиками», Костицын приехал в Москву из Петрограда, где «скрывался под чужой фамилией». Хотя в дни Октябрьского переворота 1917 г. он «был единственный, который одержал над большевиками победу», тем не менее ему удалось получить «амнистию» и поступить в университет на должность преподавателя. Но так как по своей прежней деятельности Костицын был «хорошо знаком почти со всеми лидерами большевизма», он «стал участвовать в качестве “своего” специалиста в разного рода советских начинаниях, связанных с физикой и математикой». В университете Костицын был еще «мало замечен, хотя московские математики и относились к нему хорошо». Стратонов отмечал, в частности: «...когда я прибежал к содействию его связей в разных делах, он неизменно оказывал мне существенную помощь. Поэтому я стал его выдвигать, между прочим проведя и на должность товарища декана».

«Мы, – писал Стратонов, – проработали с В. А. Костицыным в деканате почти два года, и после этой работы, и до сих пор, сохранили хорошие взаимные отношения. Я придерживался политики интенсивной защиты университета и науки вообще, а за собой я имел все время почти весь факультет, за исключением трусов по природе и еще решившихся пресмыкаться перед властью. Костицын разделял эту политику, однако – не до конца. Не раз случалось, что борьбу начинали вместе, шли рядом... А потом как-то вдруг я оставался один, Костицын же был позади, иной же раз даже с легкой оппозицией мне в том, что мы начали совместно и по обоюдному согласию. Это свойство В[ладимира] А[лександровича] мало кому было заметно и известно, но искренним доверием профессуры за свое прошлое Костицын все же не пользовался. С другой стороны, и коммунисты не прощали полностью Костицыну прошлого, когда он покинул их ряды и даже выступал против них. Были университетские собрания, на которых из рядов “красных профессоров” – коммунистов кричали: “Костицын! Вы – ренегат!..”»[13]

Но, оказавшись в двусмысленном положении «своего среди чужих, чужого среди своих» (как, впрочем, и другие представители левой интеллигенции, не во всем согласные или вовсе несогласные с ленинцами), вчерашний большевик отвечал своим критикам: «Ренегат тот, кто присоединяется к партии после того, как она завоевала власть, а я, наоборот, отдав партии годы борьбы, годы тюрьмы и эмиграции, не гонюсь ни за властью, ни за почетом <...>» (т. 1, с. 235). И хотя Стратонов жаловался, что Костицын «всегда не шел до конца» – «только до полпути», [14] считая это едва ли не дефектом его характера, тот был далеко не робкого десятка, «находил в себе смелость возражать» (т. 2, с. 173) и, не страдая отсутствием мужества, ради дела готов был «сцепиться» (любимое выражение профессора!) с кем угодно из большевистских сановников.

Костицын «делал, что мог», оправдывал его академик В. И. Вернадский, «во всяком случае, с ним можно было говорить, и у него были большие коммунистические связи», [15] хотя, являясь «когда-то persona grata в советской среде, “старым” эмигрантом, левым», понятно, и «шел на всякие уступки». [16] Но, в отличие от «старорежимных» профессоров (например, того же Стратонова), относившихся к ленинским «узурпаторам» если и не откровенно враждебно, то по крайней мере оппозиционно, Костицын никогда не отказывался от своего революционного прошлого и, критикуя изъяны большевистской политики, относился к

советской власти вполне сочувственно. Изголодавшись по «созидательной работе», он с радостью отдавал «свои силы и свой труд» новой России,[17] но хотел, чтобы «это было не зря и не впустую» (т. 1, с. 235). Именно поэтому в январе – феврале 1922 г. Костицын стал одним из инициаторов и руководителей профессорской забастовки, едва не закончившейся для него высылкой за границу, и, не страдая чиновничеством, постоянно «воевал» с начальством.

В связи с арестом Стратонова, по предписанию ГПУ подлежавшего немедленному увольнению со службы, 24 августа правление 1-го МГУ поручило Костицыну временно исполнять обязанности декана.[18] На заседании факультета 13 сентября последовала лаконичная резолюция: «Принять к сведению», [19] а на проходивших в декабре организационных собраниях кандидатуру Костицына поддержали 14 из 15 предметных комиссий (на каждой кафедре существовала своя); [20] за альтернативную кандидатуру астронома С. Н. Блажко высказалась только одна – по кафедре физики. Оба кандидата и секретарь деканата В. А. Карчагин выдвигались также в президиум факультета, но с этим не согласились представители «красного студенчества», заявившие, что выборы проходили «под давлением решения предварительного частного совещания профессорской курии», организации которого содействовал Костицын. Собравшийся 18 декабря пленум студенческих фракций предметных комиссий отвел кандидатуры Костицына и Карчагина, мотивируя это тем, что они «всячески тормозили» проведение в жизнь Положения о высших учебных заведениях, которое утвердил Совнарком, «соответствующими выступлениями в профессорской и преподавательской курии, оказывая давление на инакомыслящих», и не заботились о «рабоче-крестьянском составе студенчества» и «классовом приеме», напротив, «было сделано все, чтобы эта задача не осуществилась». Пленум «от имени всего студенчества» потребовал не утверждать предложенный список и назначить перевыборы.[21]

20 декабря Костицын направил для утверждения в правление 1-го МГУ списки кандидатов, избранных кафедрами на пост декана и в бюро предметных комиссий, президиум и совет факультета, но ректор, новоиспеченный коммунист В. П. Волгин, с которым профессор тоже не раз «сцеплялся» по разным вопросам, горячо убеждал его: «Владимир Александрович, я хорошо знаю, что вы – не реакционер, не враг, но в качестве декана физико-математического факультета вы невозможны: у вас всегда есть принципиальные возражения, и часто мы не знаем, как вам ответить <...>» (т. 2, с. 169). Действительно, выступая 22 декабря в прениях на заседании Совета 1-го МГУ, Костицын вновь говорил, что считает положение «катастрофическим», ибо «здания университета рушатся», отопление «крайне недостаточно», «библиотека не имеет новых книг и журналов», штатное содержание не покрывает минимальных расходов, и «все это крайне неблагоприятно отражается на здоровье и жизни профессоров и прочих служащих, преждевременно гибнущих в условиях полуголодного существования».[22] Неудивительно, что после «ряда переговоров с властью» кандидатура неудобного профессора не прошла,[23] но потребовалось еще почти два месяца, прежде чем 15 февраля 1923 г. ректор с явным для себя облегчением наложил резолюцию на присланные ему списки: «Ввиду отказа кандидатов, намеченных предметными комиссиями в деканы и члены президиума факультета (С. Н. Блажко, В. А. Костицына и В. А. Карчагина), предложить предметным комиссиям в недельный срок произвести выборы новых кандидатов».[24]

Впрочем, уже 21 февраля состоялось заседание предметной комиссии по кафедре математики, на котором председателем ее бюро был избран профессор Егоров, а его заместителем – Костицын (работавший с учителем в редакции «Математического сборника» и в Институте математики и механики в качестве ученого секретаря).[25] Но при перевыборах весной 1924 г. повторилась старая история – вмешалась «пролетарская молодежь»: заслушав 6 марта представление президиума факультета об избрании бюро предметной комиссии по кафедре математики в составе Егорова (председатель), Костицына (зам.

председателя) и В. В. Степанова (секретарь), правление 1-го МГУ поручило им временное исполнение своих обязанностей впредь до рассмотрения «заявленного представителями студентов протеста». А уже 3 апреля был утвержден новый состав бюро вместо «отказавшихся» от своих должностей Егорова и Костицына.[26]

Отношения с «красным студенчеством» явно не складывались, но впереди профессора ждал очередной, почти головокружительный карьерный взлет, которому предшествовало его зачисление с 1 октября 1925 г. на должность научного сотрудника по физико-математическим дисциплинам в научный отдел Главного управления научными, музейными и научно-художественными учреждениями Наркомата просвещения РСФСР (в заполненной тогда же анкете Костицын сообщал, что работает в Московском университете «в качестве действительного члена и члена коллегии Института математики и механики, в Государственном геофизическом институте – в качестве вице-директора» и «в Государственном астрофизическом институте – членом президиума»). А уже 7 января 1926 г. коллегия Наркомпроса утвердила Костицына заведующим научным отделом Главнауки.[27] По сути, на него возлагалось руководство всеми научными организациями РСФСР, а в подчинении Главнауки находились тогда 76 институтов и академий, 61 учреждение исследовательского характера, 10 научно-академических библиотек и Государственная центральная книжная палата. Одновременно Костицын был введен в редколлегию журнала «Научный работник» (являвшегося органом центрального совета секции научных работников Союза работников просвещения СССР), в состав которой входили также В. П. Волгин, П. П. Лазарев, С. Ф. Ольденбург, М. Н. Покровский, О. Ю. Шмидт и другие.

Но этим продвижение по административной лестнице не ограничилось, и 16 сентября 1926 г. правление 1-го МГУ рассмотрело представление деканата физико-математического факультета «об объединении Геофизического института с Метеорологической обсерваторией под общим названием Геофизического института и о назначении заведующим таковым профессора В. А. Костицына».[28] Помимо этого он уже являлся директором, председателем правления и ученого совета Государственного научно-исследовательского геофизического института (ГНИГИ), включавшего три обсерватории – метеорологическую в Москве и аэрологическую и геофизическую в Кучине, а также отдел по разработке «вопросов теоретической геофизики и прикладной математики в ее геофизических приложениях», которым сам и заведовал.[29] А 29 сентября Костицына избрали председателем бюро предметной комиссии по кафедре геофизики 1-го МГУ, вследствие чего он выбыл из математической предметной комиссии, в которой как «представитель уклона прикладной математики» был заменен с 8 декабря Лузиным.[30]

Тем не менее на 1926–27 учебный год Костицыну еще поручили ведение семинариев по дифференциальным уравнениям (вместе с Егоровым и Степановым), дифференциальным и интегральным уравнениям (с Егоровым) и прикладной математике (с Л. С. Лейбензоном), а также чтение лекций по приближенному интегрированию дифференциальных и применению интегральных уравнений.[31] 30 марта 1927 г. математическая предметная комиссия решила вновь «просить» Костицына в очередном, 1927–28 учебном году читать курс лекций по применению интегральных уравнений и вести семинарий по прикладной математике (вместе со Степановым и Лейбензоном).[32] Профессор вошел также в оргбюро Всероссийского съезда математиков, проходившего в Москве 27 апреля – 4 мая 1927 г., а на университетском совещании по «прикладному уклону», созванном 17 января 1928 г., отмечалось, что в математике «сближение и ориентировку на геофизику и метеорологию осуществляет В. А. Костицын».[33] Помимо этого, он по-прежнему состоял ученым секретарем в Институте математики и механики 1-го МГУ и заведующим отделом теоретической астрофизики в Государственном астрофизическом институте[34] (в котором вел направление по «изучению строения звездных скоплений и спиральных туманностей»)[35], членом редколлегий «Математического сборника» и «Русского астрономического журнала».

Заняв ответственную должность в Наркомате просвещения РСФСР, Костицын рьяно

отстаивал ведомственные интересы, о чем свидетельствует, например, его письмо от 11 декабря 1926 г. Вернадскому, который ходатайствовал о подчинении Радиевого института непосредственно Академии наук СССР. Категорически отвергая ее претензии на «руководящую роль», обвиняя Академию в архаичности, «старческом эгоизме», «вымогательстве» и заинтересованности в «удушении» опасных московских «конкурентов», Костицын напоминал, что «во Франции государство ревниво оберегает свои права контроля над высшей школой и научными учреждениями», и это тем более необходимо в СССР: «К сожалению, если за нашими учреждениями и работниками не досмотрят, они в состоянии, даже без особенной нужды, перервать друг другу глотку. Поэтому не ругайте бюрократию, а скажите спасибо, что она существует».[36] Казалось, ничто не предвещало закат его административной карьеры, но, как не без желчи писал Стратонов о Костицыне, «иной раз он поднимался в советской иерархии довольно высоко, а потом снова терял значение».[37]

7 октября 1926 г. комиссия по научным заграничным командировкам при Наркомпросе согласилась на поездку Костицына в Германию, Францию и Италию для ознакомления с постановкой дела в геофизических учреждениях и новыми методами горной разведки, вследствие чего 3 ноября математическая предметная комиссия 1-го МГУ постановила: «Считать возможным без ущерба для учебной работы отпустить В. А. Костицына с конца марта 1927 г.».[38] аналогичные разрешения выдала предметная комиссия по кафедре геофизики и правление университета.[39] Это была уже не первая зарубежная командировка профессора: осенний триместр 1923–24 учебного года он провел во Франции[40] (в частности, 18 декабря прочитал лекцию об исследованиях Курской магнитной аномалии в парижском Союзе русских инженеров), а летом 1924 г. участвовал в 7-м Международном математическом конгрессе в Торонто, где 16 августа выступил с докладом «Опыт математической теории гистерезиса».

Костицын уехал во Францию в трехмесячную командировку 7 мая 1927 г., теперь уже в качестве директора Геофизического института, и присутствовал 23 мая на заседании Парижской академии наук, в отчетах которой было опубликовано его сообщение «О решении сингулярных интегральных уравнений Вольтерра», представленное известным математиком Жаком Адамаром.[41] Костицын хотел продлить командировку, но Главнаука отказала ему. Тем не менее в срок он не вернулся, поэтому президиум коллегии Наркомпроса 29 сентября освободил его от занимаемой должности.[42] Через неделю, оставив жену в Париже (начинающий биолог, Юлия Ивановна стажировалась в Сорбонне), профессор вернулся в Москву, но оправдываться перед начальством не стал, ограничившись 10 октября коротким заявлением: «Я считаю своей обязанностью напомнить Президиуму, что подобные постановления должны выноситься хотя бы после поверхностной проверки обвинительного материала и, во всяком случае, после затребования объяснений у обвиняемого. В данном случае приходится констатировать полное отсутствие этих элементарных гарантий».[43] За профессора вступился начальник Главнауки партиец Ф. Н. Петров, который в своем заключении написал, что решение президиума коллегии Наркомпроса «не основано на каком-либо обвинительном материале, а вынесено вследствие фактического отсутствия т. Костицына в течение более месяца после окончания срока его командировки». Но поскольку «одной из причин задержки» Костицына явилась «потеря его паспорта при визировании в иностранном министерстве иностранных дел», по его мнению было бы целесообразно пойти навстречу профессору, который просит «изменить редакцию постановления» в том смысле, что он освобождается от должности по собственному желанию. Считая «полезным использовать накопившийся у т. Костицына опыт», Петров ратовал за оставление его в составе коллегии Главнауки.[44]

В итоге 25 октября руководство Наркомпроса решило: «Принимая во внимание объяснение проф. Костицына, признать возможным изменить редакцию постановления Президиума от 29/IX с.г. и считать освобожденным его от должности зав. Научным отделом Главнауки согласно его просьбе».[45] Относительно предложения об оставлении Костицына в составе коллегии в постановлении не говорилось ни слова; сам он, комментируя 19 ноября свое

увольнение в письме Вернадскому, скупое пояснял: «Вернувшись не так давно из-за границы, я нашел себя уволенным из Главнауки по формальному поводу – за опоздание из командировки. Дело, конечно, не в этом. Во всяком случае, я не огорчен, так как теперь я буду иметь больше времени для научной работы и для приведения в порядок кафедры геофизики в 1 МГУ». А по поводу учебы жены Костицын писал: «Юлия Ивановна все еще в Париже и вероятно пробудет там несколько месяцев. В прошлом году она работала в качестве лаборантки в лаборатории экспериментальной морфологии проф. В. М. Данчаковой и настолько увлеклась своей работой, что мы с ней решили оставить ее на некоторое время в Париже для приобретения общей биологической подготовки. Вы спросите, почему не в Москве. Этому много причин и прежде всего – ненормальные условия приема, когда дело решается не по признаку подготовки. Все преподавание на младших курсах рассчитано на плохо подготовленного современного студента, а Ю[лия] И[вановна] уже имеет законченное высшее образование. Французская система гораздо гибче нашей и дает возможность каждому выбрать то, что ему надо. Внимание при этом не разбивается на десяток отрывков разных наук. Затем условия жизни в Москве не благоприятствуют никакой работе. Конечно, скучно: за восемь лет мы никогда не расставались на продолжительный срок. Но, когда я испытываю здесь какую-либо гадость (а их бывает немало), я радуюсь, что Ю[лия] И[вановна] в Париже».[46]

Несмотря на увольнение из Главнауки, Костицын не изменил себе и уже 9 ноября выступил на заседании учебного совета физико-математического факультета 1-го МГУ с предложением ставить на его обсуждение «некоторые важнейшие вопросы факультета, стоящие перед деканатом» и был избран в делегацию, которой поручалось обратиться в коллегии Наркомпроса и, в случае надобности, к председателю Совнаркома А. И. Рыкову с сообщением о «ненормальном финансовом положении факультета».[47]

Впрочем, профессор все еще оставался в фаворе у своих недавних соратников по большевистскому подполью, и в постановлении Комиссии по выборам в Академию наук СССР, утвержденном Политбюро ЦК ВКП(б) 23 марта 1928 г., предлагалось «выяснить возможность включения в список <...> Костицына»![48] Но в характеристике за подписью помощника начальника Секретного отдела ОГПУ И. Ф. Решетова, направленной 3 апреля в Отдел научных учреждений Совнаркома СССР, говорилось: «Костицын Владимир Александрович – проф. 1 МГУ, бывший большевик, участник Пресненского восстания в 1905 г., после которого эмигрировал. В 1916 г. возвратился в Россию по “патриотическим побуждениям” для отбывания военной службы. В период особенно острой борьбы за советизацию ВУЗов был одним из активнейших участников профессорских забастовок и контрреволюционного движения среди профессуры. Один из главных руководителей февральской забастовки в 1922 г. В 1922 г. предполагалась высылка проф. Костицына за границу. С 1923 г. утратил политическую активность, прекратив всякие выступления в ВУЗах. С 1925 г. стал заметно эволюционировать влево и в настоящее время считается если не левым, то, во всяком случае, вполне лояльным по отношению к Советской власти профессором. Один из крупнейших математиков».[49]

Но тогдашний ректор 1-го МГУ А. Я. Вышинский полагал, что в политическом отношении Костицын «нетверд, уступает сильно Егорову»,[50] то есть поддается его влиянию. Егорова в 1924 г. избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, но в ОГПУ о профессоре, человеке глубоко религиозном, отзывались крайне негативно: «Монархист-мистик. Все время ведет антисоветскую агитацию. В 1922 г. был предназначен к высылке за границу. В 1923 г. имел связи с эмигрантами – кирилловцами. Его квартира является местом сбора для мистиков разных толков».[51] Отзыв Вышинского и характеристика ОГПУ сыграли, видимо, свою роль, так как уже на следующий день, 4 апреля 1928 г., Комиссия Совнаркома по содействию работам Академии наук СССР, обсудив вопрос о выборах новых академиков, постановила: «Считать политически нецелесообразным выставление кандидатуры Костицына».[52]

Тем не менее ходатайство профессора об очередной командировке во Францию, куда он так рвался к жене, поддержало Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), генеральный секретарь которого, Ф. В. Линде, обратился 28 апреля к руководству Наркомата просвещения: «Костицын Владимир Александрович, профессор 1-го МГУ и директор Геофизического института СССР, получил приглашение от директора Математического института Страсбургского университета М. Фреше приехать в конце мая в Страсбург для прочтения ряда лекций о его исследованиях в области математики. Проф. Фреше указывает на то, что два крупных ученых математика, из которых один, проф. [Н. М.] Крылов, – член Украинской Академии наук, в прошлом году были в Страсбурге, где читали свои доклады с большим успехом. Он просит проф. Костицына приехать в конце мая обязательно, так как уже 15 июня заканчивается весенний семестр». Считая «поездку проф. Костицына в Эльзас-Лотарингию весьма полезной с точки зрения научного и культурного сближения», ВОКС «всецело» поддержало его ходатайство.[53]

Хотя в Страсбург профессор так и не успел, 15 июля 1928 г. ему был предоставлен двухмесячный отпуск для поездки в Париж, которая, как позже оправдывались в Наркомпросе, «оформлялась Костицыным не в порядке научной командировки, а как частным гражданином через административные органы».[54] Рассчитывая вернуться на родину вместе с женой, профессор очень беспокоился в связи с «дурными сведениями» о ее здоровье (у Юлии Ивановны было слабое сердце) и размышлял, как-то она сумеет «приспособиться к московским условиям после года жизни в теплом климате» (т. 2, с. 27). Но, опять задержавшись в Париже, Костицын вновь подвергся оскорбительному наказанию, лишившись осенью занимаемых им руководящих должностей в Астрофизическом и Геофизическом институтах и на кафедре геофизики 1-го МГУ.

Об изменении отношения к Костицыну свидетельствуют и протоколы заседаний предметной комиссии по кафедре геофизики, председателем бюро которой его единогласно переизбрали 26 октября 1927 г. Хотя деятельность бюро признали тогда удовлетворительной,[55] на его заседании 11 октября 1928 г. говорилось «о том затруднительном положении, в котором оказалась кафедра в связи с внезапным отъездом Костицына В. А. за границу без оставления официального заместителя по бюро предметной комиссии и заведыванию Институтом». Профессору вменялось в вину, будто он игнорировал курсы «Теория земного магнетизма», «Геофизика для неспециалистов» и Геофизический «семинарий», что, по заявлению доцента В. Ф. Бончковского, «резко отразилось на качестве подготовки специалистов», недостаток которой «отмечен руководителями студентов». В связи с этим на заседании был поднят вопрос о перераспределении курсов, числящихся за Костицыным.[56]

Никто из членов предметной комиссии почему-то не вспомнил, что по инициативе Костицына на его семинарии с лекциями о современных достижениях геофизики выступили академик П. П. Лазарев, профессора Ю. М. Шокальский, В. В. Шулейкин, приват-доцент А. И. Заборовский и другие ученые. Например, 19 ноября 1927 г. Костицын писал Вернадскому: «Я уже обращался к Вам в прошлом году с просьбой прочесть в нашем геофизическом семинарии лекцию на тему по Вашему выбору, и Вы были так любезны, что дали условное согласие. Я и весь состав кафедры просим Вас в этом году осуществить Ваше обещание. Я надеюсь в конце этого месяца побывать лично в Ленинграде и попросить Вас».[57] Известно, что намеченная поездка состоялась.[58]

На заседании предметной комиссии 29 октября 1928 г. курс «Теория земного магнетизма» был передан Заборовскому, но «ввиду поступивших частных сведений о близком сроке возвращения В. А. Костицына» решение по другому его курсу и семинарию решили временно отложить. Но уже 12 ноября члены предметной комиссии признали работу действующего бюро «неудовлетворительной», избрав председателем доцента В. И. Виткевича, а его заместителем – Заборовского.[59] Еще раньше, 9 ноября, правление 1-го МГУ назначило профессора А. А. Сперанского временно исполняющим обязанности заведующего Геофизическим институтом «впредь до возвращения проф. В. А. Костицына».[60]

Все это вызвало просьбу обиженного профессора о предоставлении ему годового отпуска для лечения, и 10 января 1929 г. коллегия Наркомпроса постановила: «Продлить проф. Костицыну отпуск до 1/IV, поручив Главнауке за это время справиться в нашем Полпредстве во Франции о политическом поведении проф. Костицына в Париже. Одновременно поручить Главнауке совместно с ГПУ проверить обстоятельства и порядок выезда проф. Костицына».[61] В свою очередь правление 1-го МГУ, заслушав 18 января сообщение исполняющего обязанности ректора И. Д. Удальцова о том, что Костицын, находясь в заграничной командировке, заболел и не может приступить к занятиям до весны, приняло решение считать его находящимся в отпуске по болезни.[62]

Но еще 13 декабря 1928 г., выражая свое негативное отношение к происходящим в СССР переменам, Костицын жаловался Стратонову: «Дело в том, что мне осточертел сумасшедший дом и, кажется, что я тоже осточертел сумасшедшему дому. Словом, я в большом колебании...».[63] В другом письме Стратонову, от 13 января 1929 г., касаясь деятельности Астрофизического института и указывая, что там работает много талантливой молодежи, Костицын с досадой замечал: «Все это хорошо, но Вы можете себе представить, какого количества усилий стоит каждый шаг вперед, сколько вредных сопротивлений приходится преодолевать и сколько неожиданностей (вроде прекращения уже отпущенных кредитов на уже заказанные вещи или навязывания членов правящей партии на должности) бывает. В общем, лица администрирующие почти лишены возможности научно работать, так как огромное количество времени уходит на преодоление затруднений вне института. Затем – ставки научных работников: действительный член (старший астроном, заведующий отделом) получает 125 р. в месяц, из коих минимум 50 р. идет на оплату жилища, а жизнь в Москве безумно дорога и безумно сложна. Поэтому все совмещают – и помногу, и работе могут отдавать лишь жалкие остатки времени. Совместительство неизбежно также из-за полной неустойчивости положения: и институт, и его отделы, и его работники, как и всюду в других научных и ненаучных учреждениях, находятся под постоянной возможностью сокращения. Поэтому никто не решается вешать свое платье на один гвоздь, а без этого не может быть плодотворной работы».[64]

Наступил апрель 1929 г., но профессор все откладывал свое возвращение в Москву и в письмах, адресованных новому заведующему Главнаукой М. Н. Лядову (своему давнему знакомому), ссылался, как возмущались в Наркомпросе, «то на болезнь жены, то на отсутствие средств, а затем на якобы дурное к нему отношение».[65] Ведь уже 21 июня правление 1-го МГУ, заслушав доклад специальной комиссии по «обследованию учебной и исследовательской работы Геофизического института и связи его с ГНИГИ», посчитало положение кафедры геофизики ненормальным, деятельность института неудовлетворительной и сохранение их существующего штата нецелесообразным.[66] Тем не менее 4 июля коллегия Наркомпроса согласилась еще раз продлить Костицыну отпуск на месяц (с 1 августа по 1 сентября),[67] а 22 августа перевела ему по его просьбе 100 рублей.[68] Но под влиянием тревожных вестей из СССР, где, помимо развернутой летом кампании по «чистке» советских учреждений от «социально-чуждых» элементов, газеты с пугающей регулярностью сообщали о раскрытии все новых и новых «контрреволюционных» организаций «вредителей» и «шпионов» из беспартийных «спецов», в том числе и в научно-академической среде, Костицын все тянул с отъездом в Москву, вследствие чего 18 сентября был уволен из Института математики и механики, 4 октября – с кафедры геофизики: отчислен от должности профессора.[69] Костицын вспоминал позднее: «[В конце года,] когда окончательно выяснилась для меня невозможность возвращения ввиду уже начавшихся репрессий по моему адресу, мы получили от Веры Михайловны [Данчаковой] письмо, в котором она выражала удивление, что обо мне говорят в Москве как о “враге народа” и человеке, объявленном вне закона <...>» (т. 2, с. 27).

Речь шла о постановлении ЦИК СССР от 21 ноября 1929 г. «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего

класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР», что влекло за собой «расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности»! [70] Уже 11 декабря руководство Наркомпроса, в котором А. В. Луначарского на посту наркома сменил А. С. Бубнов, возбудило перед ВЦИК ходатайство «о применении к профессору Костицыну постановления ЦИК Союза ССР от 21 ноября». Решением секретариата ВЦИК от 25 декабря и опросом, проведенным среди членов его президиума 30 декабря, ходатайство Наркомпроса было передано «на распоряжение Прокурора Верховного суда Союза ССР», [71] перенаправившего дело в Уголовно-судебную коллегия.

Отвечая 13 мая 1930 г. на запрос секретариата ВЦИК, почему к Костицыну так и не применили закон о невозвращенцах, председатель суда А. Н. Винокуров объяснял: «Верхсуд СССР пришел к выводу, что ставить это дело на рассмотрение в судебном порядке и объявлять Костицына вне закона по переживаемому в то время моменту (“крестовый поход” [против СССР]) политически было бы нецелесообразным, так как Костицын является крупным ученым и в его письмах нет указания на прямой разрыв с нами и не имеется конкретных доказательств его измены. На основании этого Верхсуд полагал, что постановка дела в гласном суде и объявление его вне закона может дать новую пищу для агитации против нас за преследование людей науки, тем более что Костицын связан с рядом научных работников Европы. Поэтому Верхсуд СССР пришел к выводу, что в отношении проф. Костицына наиболее целесообразным было бы применение ст. 41 Консульского Устава СССР и лишение его права гражданства в административном порядке ЦИК СССР по представлению генерального консула в Париже. Приглашенный на совещание по означенному вопросу представитель Наркомпроса РСФСР вполне присоединился к указанному мнению и должен был войти с соответствующим представлением во ВЦИК». [72] И в самом деле, еще 19 апреля заместитель наркома просвещения В. А. Курц и очередной заведующий Главнаукой И. К. Луппол обратились в президиум ВЦИК с официальным письмом: «Считая, что упорное нежелание Костицына вернуться в СССР долгие не может быть терпимо, Наркомпрос просит ВЦИК лишить его прав гражданства РСФСР». [73] Поскольку 11 июня из Иностранного отдела ОГПУ сообщили, что «всецело присоединяются» к предложению Наркомата просвещения, [74] 10 августа 1930 г. президиум ВЦИК постановил: «1. Лишить профессора Костицына гражданства Союза ССР. 2. Настоящее постановление представить на утверждение президиума ЦИК Союза ССР». [75]

Еще через полторы недели, 20 августа, материал о Костицыне поступил в секретариат президиума ЦИК и в тот же день был передан в его «секретную часть», занимавшуюся вопросами о лишении гражданства. Но с утверждением постановления там явно не торопились, о чем свидетельствуют пометки секретариата ВЦИК в «Справке по делу»: 20 сентября – «Дело передано в комиссию по гражданству; когда будет рассмотрено, неизвестно»; 20 октября – «В ЦИК не рассмотрено»; 25 ноября – «Дело все в том же положении»; 23 декабря – «Дело включено в протокол, будет рассмотрено дней через 8–10». Хотя 16 февраля 1931 г. секретариат ВЦИК снова поинтересовался, утверждено ли, наконец, его постановление о Костицыне, выяснилось, что дело все «еще не рассмотрено и неизвестно, когда будет закончено», а 10 сентября из ЦИК СССР сообщили, что «вопрос будет проходить в секретном порядке». [76] Очередной запрос относительно прохождения дела последовал 3 апреля 1932 г., но 7 мая ответственный сотрудник ИНО ОГПУ Я. М. Бодеско-Михали уведомил секретариат президиума ЦИК: «В дополнение к телефонным переговорам о лишении союзного гражданства профессора Костицына просим этот вопрос отложить на неопределенное время по оперативным соображениям». [77] Поэтому, рассмотрев 20 мая «ходатайство ВЦИК о лишении гражданства Союза ССР проф. Костицына Владимира Александровича (дело № Г – 10895)», секретариат президиума ЦИК СССР постановил: «Вопрос с обсуждения снять». [78]

Остается только гадать, что подразумевало ОГПУ под «оперативными соображениями», ибо до войны Костицын, по его утверждению, фактически не имел «никакого соприкосновения с

эмиграцией» (т. 1, с. 335), а на предложение парижского знакомого выступить с обличениями советского режима ответил резким отказом: «На это не рассчитывайте; я <...> был и остаюсь социалистом и умею отделить свое маленькое огорчение от большого общего дела» (т. 2, с. 94). Тем не менее в Москве профессор был немедленно причислен к «чуждым людям»[79] и «буржуазным, зачастую реакционным, ученым», [80] а в переизданных в 1932 г. протоколах Первой конференции военных и боевых организаций РСДРП, на которой доклад о московском Декабрьском восстании 1905 г. делал Костицын, в посвященной ему биографической справке говорилось: «Ныне за границей в белой эмиграции».[81]

10 апреля 1931 г. Костицын, который всеми мыслями по-прежнему был на родине, с грустью писал Стратонову: «Из России ничего утешительного. Фесенков снят с директорского места в Астрофизическом институте и заменен известным Вам С. В. Орловым. Причина – беспристрастное отношение к контрреволюционным астрономам (читайте: Вы и я)». И далее замечал: «О себе ничего нового не могу сказать. Имущество мое (в Москве) конфисковано, а сам я, оказывается, вне закона, хотя, находясь за границей, всячески избегал политики и занимался исключительно научной работой...».[82] До марта 1931 г. Костицын трудился в парижском Институте физики земли, но денег, которые он зарабатывал, «едва хватало на сведение концов с концами» (т. 2, с. 35). Но после того, как профессор ушел из института, поссорившись с его директором Шарлем Мореном, семье пришлось жить на жалованье Юлии Ивановны, работавшей в лаборатории на кафедре зоологии, анатомии и сравнительной физиологии Сорбонны, и ту небольшую сумму, которую Костицын получал в Институте Пуанкаре за составление библиографического указателя по теории вероятностей.

В предвоенные годы Костицын не имел постоянного жалованья и время от времени подрабатывал, выполняя задания по прикладной геофизике (его финансовое положение несколько улучшилось лишь в 1939 г., когда в качестве научного сотрудника (*chargé de recherche*) он был приглашен в Национальный центр научных исследований Франции, в котором с 1951 г. и до конца жизни работал ведущим научным сотрудником (*maître de recherche*)), но его труды по математическому моделированию глобальных квазипериодических биогеохимических и климатических процессов получили мировое признание. Всего же за время своей второй парижской эмиграции Костицын опубликовал более четырех десятков работ на французском языке, в том числе ряд монографий: в 1934 г. – «Симбиоз, паразитизм и эволюция (математическое исследование)», в 1935 г. – «Приложение интегральных уравнений (статистика применения)» и «Эволюция атмосферы: органический круговорот, ледниковый период» (на родине ученого книга вышла только через полвека) и, наконец, в 1937 г. – знаменитую «Математическую биологию» (с предисловием Вито Вольтерры,[83] который отзывался об авторе как о выдающемся математике), переведенную в 1939 г. на английский язык, но до сего дня так и не изданную на русском.[84]

С началом Второй мировой войны Костицын работал на «национальную оборону» Франции (т. 1, с. 215), а после ее оккупации, считая, что следующей мишенью гитлеровской агрессии будет Россия, решил вернуться на родину. Не ограничившись визитом в полпредство и используя «представившуюся оказию», профессор 22 декабря 1940 г. обратился к своему хорошему знакомому, вице-президенту Академии наук СССР О. Ю. Шмидту, с личным письмом, в котором выражал желание «положить конец создавшемуся недоразумению и работать у себя и для своих». Но резолюция Шмидта гласила: «Автор письма, проф. Костицын, в свое время обманул Советскую власть и, воспользовавшись командировкой, сбежал. Не вижу в нем надобности для СССР. Оставить письмо без ответа».[85]

Арестованный 22 июня 1941 г. в числе многих других «русских парижан», Костицын был заключен в лагерь для интернированных в окрестностях Компьена – Frontstalag 122, куда после нападения Германии на СССР были собраны как советские граждане, главным образом невозвращенцы, так и все подозрительные, с точки зрения оккупационных властей, русские «апатриды». В публикуемых воспоминаниях о жизни в оккупированной и послевоенной Франции, охватывающих 1940–1948 гг., Костицын рассказывает о девяти

месяцах, проведенных им в заключении, и дает честные, зачастую нелюбимые, хотя и не всегда беспристрастные портреты более сотни своих невольных товарищей по лагерю, представлявших все слои и весь политический спектр русской эмиграции – от потомков старинных дворянских родов, генералов, видных деятелей Белого движения до университетских профессоров, адвокатов, врачей, священников, архитекторов, инженеров, литераторов, художников и совсем безвестных лавочников, портных, шоферов такси. Среди узников лагеря оказались и вчерашние младороссы с их экстравагантным лозунгом «Царь и Советы!», и «нацмальчики» – активисты Национально-трудового союза нового поколения, и деятели Русского студенческого христианского движения, и глава масонских лож Древнего и Принятого Шотландского Устава – «великий командор Русского особого совета 33-й степени», и представители национальных движений.

С августа 1941 г. Костицын – ректор лагерного «университета», в котором, помимо лекций по различным областям знаний, преподавались иностранные языки, ремесла и даже устраивались вечера воспоминаний, что, как вспоминал профессор, «давало большой душевный отдых» и лекторам, и слушателям, предоставляя обитателям еврейских барачков «возможность не думать о будущем, которое было близко и ужасно, хотя бы в течение нескольких часов» (т. 1, с. 384). Отношение к «отверженным» – евреям являлось в период оккупации своего рода лакмусовой бумагой для определения человеческой порядочности (а с 1942 г. через транзитный Компьень были депортированы в Аушвиц, Бухенвальд, Маутхаузен и другие лагеря смерти свыше 50 тыс. человек, подавляющее большинство которых сразу же отправлялись в газовые камеры), и Костицын не только занимался просвещением соузников, но и, рискуя жизнью, делал все возможное, чтобы облегчить положение обреченных на уничтожение.

В годы Второй мировой войны Костицын стал убежденным советским патриотом и именно по этому критерию оценивал всех, с кем ему доводилось общаться. О том, насколько важным было для него это понятие в период оккупации, свидетельствует то, что слово «патриот» и производные от него встречаются в воспоминаниях Костицына более 90 раз. Костицын не сомневался в поражении нацистской Германии, хотя до разгрома вермахта под Сталинградом в 1943 г. многие из белоэмигрантов лелеяли призрачную надежду, что, очистив Россию от «иудо-большевизма», Гитлер позволит им навести там «порядок». Проследившая дальнейшую политическую эволюцию известных ему компьенцев (некоторые из них являлись, по выражению мемуариста, «германофилами-изменниками» (т. 1, с. 362), а после войны поспешили записаться в «советские патриоты» и выставляли себя едва ли не участниками Сопrotивления), сам Костицын никогда не кривил душой и, несмотря на свою «ссору» с коммунистическим режимом и критический настрой ума, не только не изменил советскому гражданству, но и остался человеком левых убеждений, что вполне объясняет его филиппики в адрес столь презираемых им «зубров» – черносотенцев или лиц, придерживавшихся «американской» ориентации.

Освобожденный из лагеря 23 марта 1942 г., Костицын вернулся к научным занятиям, но уже в августе приютил у себя в квартире друга – профессора Сорбонны зоолога Марселя Пренана, который, заведя кафедрой сравнительной анатомии и гистологии, где работала Юлия Ивановна, с июля состоял начальником штаба Национального военного комитета подпольной коммунистической организации «Francs-tireurs et partisans fran?ais» («Французские франтиреры[86] и партизаны»). Так Костицын включился в движение Сопrotивления (к участию в котором привлек и своего товарища по лагерю, «настоящего патриота» И. А. Кривошеина), а после того, как в январе 1944 г. Пренан был схвачен, только чудом, благодаря собственному хладнокровию, не попал в ловушку охотившихся за ним гестаповцев. Перейдя на нелегальное положение, профессор и его жена скитались по парижским знакомым или скрывались в провинции, непрерывно переезжая с места на место до самого освобождения Парижа. Уже в 1945 г. Костицын удостоился чести быть избранным председателем контрольной комиссии Содружества русских добровольцев, партизан и

участников Сопротивления во Франции, членом правления которого являлась и Юлия Ивановна, но, презирая «квасной патриотизм в непристойных пропорциях» (т. 2, с. 62), наотрез отказался вступить в Союз советских патриотов, который посчитал... сборищем «прохвостов» и «двuruшников» (т. 1, с. 567).[87]

После кончины жены, последовавшей 17 января 1950 г., горько оплакивая «верную спутницу», с которой прожил душа в душу тридцать лет, пройдя рука об руку через немало трудных, а порой и смертельно опасных испытаний, Костицын начал вести дневник (сначала «вписывал разные разности» на французском языке в обычный деловой ежедневник, но 19 марта сменил его на общую тетрадь), в котором, пытаясь заглушить мучительную боль разлуки и разговаривая с Юлией Ивановной как с живой, описывал события каждого проведенного без нее дня или вспоминал о совместно пережитом. Родная могила не отпускала, и, несмотря на советский паспорт и отъезд из Франции большей части близких ему по духу русских эмигрантов, Костицын так и не вернулся на родину, а за полгода до кончины с горечью пометил в дневнике: «Режим истребил всех тех, кому было дорого свое человеческое достоинство, кто находил в себе смелость возражать. Где они? Вот я – тут, а мне следовало быть там, я был нужен, но меня “истребили”» (т. 2, с. 173). Впрочем, Костицын не замкнулся в себе: человек разносторонних интересов, он выступал с докладами в Институте Пуанкаре, давал консультации и уроки русского языка французским математикам, встречался и переписывался с приезжавшими в Париж советскими учеными, много читал, приобретая интересовавшие его новинки из СССР, и регулярно посещал художественные выставки, очень любил кино и классическую музыку, бывал в музеях, внимательно следил за международной политикой и почти ежедневно общался со своими знакомыми из числа левых французов или русских парижан, всегда кого-то опекая, кому-то помогая...

Владимир Александрович скончался 29 мая 1963 г. в возрасте почти восьмидесяти лет, оставив после себя три с лишним десятка общих тетрадей, исписанных четким убористым почерком, без помарок, с дневниками (повседневные записи часто перемежаются в них воспоминаниями), которые не только по-человечески трогают своей исповедальной искренностью, но и отражают драматическую историю яркой судьбы благородного и мужественного человека, большого ученого и бескорыстного патриота своей неблагодарной родины в трагические и переломные годы минувшего XX века. После кончины профессора его дневники, в которых упоминаются встречи с Лениным, посольство СССР во Франции отправило в Москву, где ныне они хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории – бывшем Центральном партийном архиве при ЦК КПСС.

С учетом значительного объема тетрадей (порядка 8 тыс. страниц),[88] не позволяющего опубликовать их полностью, в настоящем издании представлены неоконченная автобиография, доведенная до 1922 г., воспоминания о событиях 1918–1921 и 1940–1948 гг.,[89] а также часть дневниковых записей за 1950–1963 гг. (некоторые приводятся не целиком), главным образом мемуарного характера или связанных с судьбами русских эмигрантов в послевоенной Франции. Текст воспоминаний и дневниковых записей печатается с некоторыми сокращениями, отмеченными многоточиями в угловых скобках.

В. Л. Генис

Автобиография

28 мая 1883 г. Родился 28 мая 1883 года в городе Ефремове Тульской губернии, где мой отец, Александр Васильевич Костицын, преподавал в местной гимназии[90] историю, русский и немецкий языки. Он был потомком пугачевца Ивана Костицына, который проник в Оренбург,

чтобы убить губернатора Клингенберга[91] и «поднять чернь», но был захвачен. Мать Ольга Васильевна, урожденная Раевская, происходила из рода Раевских, к которому принадлежал известный генерал Раевский, прославившийся в 1812 году под Смоленском и Бородино.

Переезд в Смоленск. В 1886 году отец был переведен в город Смоленск преподавать в реальном училище русский язык и историю. В Смоленске семья оставалась до 1912 года; там же родились две сестры и брат. Я поступил в смоленскую гимназию в 1894 году – с большой неохотой, так как мне были противны древние языки, и меня гораздо больше привлекало реальное училище.[92]

Последние годы 19-го века были, как известно, чрезвычайно бурными. Об обысках, арестах, забастовках все узнавали немедленно, и я помню, начиная с 1894 года, обсуждения всего происходившего. Родители мои не были чужды общественным интересам. Лето мы проводили в деревне, и родители на наглядных примерах показывали вопиющее бесправие и безграмотность населения.

От матери я узнал о родственниках-декабристах[93] (в ответ на мои вопросы, что сделал мой двоюродный брат-студент, высланный в Сибирь, кажется, в 1894 году). О марксизме я услышал в те же годы, когда ученик моего отца Клестов, впоследствии – коммунист Ангарский, вернулся из Ясной Поляны: он ходил туда «искать правду», был разочарован и нашел ее окончательно в марксизме. Коронация Николая II с Ходынской потрясла многих, равно как и его речь о «бессмысленных мечтаниях».[94]

Начиная с 1898 года, в гимназии появились кружки для чтения и обсуждения, быстро подпавшие под влияние марксистов. Для меня первым учителем был известный социал-демократ Янсон, высланный в Смоленск, живший частными уроками и умело руководивший молодежью. Я помню чтение известной книги Михайлова «Пролетариат во Франции»,[95] которая давала представление об истории революционных движений 19 века и растущей роли четвертого сословия. Мы читали «Историю революции 1848 года» Блоса, не в переработке Степанова и Скворцова,[96] появившейся впоследствии, а в рукописном переводе Янсона. Мы ознакомились с «Коммунистическим манифестом» и с речами Лассаля: руководитель призывал нас не поддаваться трескучей фразеологии последнего. Манифест 1-го съезда[97] дошел до нас только в 1899 году, и я помню огромное впечатление, которое он произвел на нас, и первые строки с упоминанием о живительной буре 1848 года.[98]

Чтения в кружке дополнялись чтением романов, которые ныне забыты, устарели, наивны, но в те годы будили мысль и поднимали настроения. Я имею в виду «Загадочные натуры» и «Сомкнутыми рядами» Шпильгагена,[99] «Отверженные» Гюго и т. д. Наоборот, «Что делать?» Чернышевского не произвело большого впечатления, и наш руководитель очень хорошо объяснил нам утопичность этих построений.

Помимо кружков в гимназии образовалась секретная библиотека, которая содержала значительное количество нелегальной литературы, а также легальные книги, бывшие под запретом, например, книги по космологии и естествознанию. Сейчас это может показаться диким, но я несколько раз был наказан за чтение Дарвина, «Физиологии» Ферворна[100] и т. д. Эта библиотека была весьма основательно засекречена. В нее допускали, лишь начиная с седьмого класса, далеко не всех, а руководили ею ученики восьмого класса. Таким образом и я в течение года занимал этот почетный пост.

Янсон покинул Смоленск около 1900 года. Его преемником, очень неудачным, был высланный студент Синявский. Тем не менее ему мы обязаны знакомством с экономической литературой и книгой Бельтова-Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».[101]

Наши кружки играли и подсобную роль: 1) через наших отцов и родственников мы узнавали,

иногда вовремя, о готовящихся обысках и арестах, 2) собирали деньги, 3) прятали. Например, у нас дома, с согласия родителей, год хранился шрифт местной нелегальной типографии. Наилучший из моих гимназических друзей – Петр Иванович Барсов (умер в 1910 г. в Бутырской тюрьме на каторге[102]) – «переработал» все свое традиционное семейство, и две из его сестер, как и он, принадлежали к партии.

Поступление в университет. В 1902 году я кончил гимназию и поступил в университет на физико-математический факультет на математическое отделение. Предшествующий год в Московском университете был ознаменован большими волнениями и высылками виновных, и я помню, как мы, гимназисты 8-го класса, горевали, что не нам выпала эта счастливая доля – участвовать в борьбе. Наоборот, 1902–1903 учебный год оказался очень спокойным, и я по голову погрузился в науку, которая меня всегда привлекала.

О наших профессорах того времени я храню самое благодарное воспоминание. На факультете не было недостатка в крупных ученых. На кафедре физики – Лебедев и Умов, механики – Жуковский и на следующий год Чаплыгин, математики – Бугаев, Андреев, Лахтин, Егоров, Млодзеевский. Все бегали слушать курс русской истории Ключевского и физиологию растений Тимирязева. Среди приват-доцентов было много талантливых и живых людей, которые впоследствии оказались крупными деятелями.

На юридическом факультете привлекал общее внимание профессор финансового права И. Х. Озеров; это был человек с подмоченной политической репутацией,[103] но живой и умный. Он читал два курса; один из них был посвящен развитию американского капитализма и империализма; путем дискуссии, графиков, формул, тенденций развития Озеров доказывал, что «Америка идет на Европу» (так называлась одна из его книг) и что в сущности наш континент уже наполовину завоеван.

Другой курс – о русском финансовом хозяйстве – являлся неприкрытой пропагандой: чрезвычайно остроумно, давая бесчисленные примеры из русской экономической жизни, Озеров доказывал, что царский режим находится в вопиющем противоречии с развитием производства и производительных сил, с ростом нашей культуры; все это – с абсолютной логикой и ясностью, но не называя вещей их именами; иногда, впрочем, он позволял себе и это. В те годы все гадали, к какой левой партии принадлежит Озеров; увы, он оказался октябристом, и в этом есть своя логика: он отождествлял будущее России с приходом к власти буржуазии. Ночью же все кошки серы.

Самый воздух, которым мы дышали в университете, казался особенным, несмотря на постоянное присутствие внутренней полиции – инспектора, субинспекторов и педелей.[104] Ректором университета был зоолог Тихомиров, не без научных заслуг, но карьерный антидарвинист. Попечителем округа был математик Некрасов, прославившийся применением математики к доказательству неизбежной необходимости царского режима и охранного отделения; это последнее учреждение он в своей схеме именовал «социально-метеорологической обсерваторией», а тюрьмы и карцеры – «изоляторами свободы»,[105] поскольку сидящие там изолированы от влияния зловерных пропагандистов.

Режим в университете был совершенно полицейским и часто невыносимым. Запрещались всякие формы коллективной жизни, даже научные кружки. Год спустя, с особыми гарантиями, было разрешено студенческое историко-филологическое общество. Что касается до нас, математиков, то нам было отказано, и тогда Московское математическое общество[106] обошло запрет, устраивая для слушателей неочередные заседания со студенческими докладами. Первым секретарем этих заседаний был П. А. Флоренский, известный впоследствии богослов и электрик, а его преемниками – Н. Н. Лузин и я.[107] Председательствовал, очень мило, проф. Жуковский.

Помимо этих легальных форм самодеятельности были нелегальные кружки – марксистские,

народнические и либеральные. Я вместе с П. И. Барсовым был участником марксистского кружка для подготовки к пропаганде, но интереса ради побывал несколько раз на либеральном кружке, возглавлявшемся неким М. И. Квасниковым. Кружок состоял из солидных молодых людей буржуазного круга и в нем занимались чтением и критикой марксистской литературы. Не знаю, занимались ли они также опровержением народничества.

В начале 1904 года университет зашевелился по мелкому поводу, но – довольно характерному. Один юрист-«белоподкладочник», из лицеистов, особенно ненавистная для нас категория, соблазнил швейку и покинул ее, [оставив] с ребенком без всяких средств. На всех факультетах и на всех курсах под председательством профессоров были созданы сходки, где единогласно прошло требование исключить этого студента. Требование было удовлетворено. Я не представляю себе волнений по такому поводу, например, в Парижском университете: насколько же наши мальчишки были хорошими.

Русско-японская война и рост революционных настроений.

С началом этой войны, в которой все шло не так и где осуществлялись самые пессимистические предвидения, относительный покой кончился. Все почувствовали, что близится революция, даже когда еще шли в городах патриотические манифестации. И я тоже вдруг почувствовал, что задыхаюсь в университете. Я продолжал ходить на лекции, прорабатывать материал, читать нужную для этого литературу, но хотелось другого, живой жизни, действия. Такие настроения были не у меня одного. Одни «ждали», другие «оказывали содействие», третьи вступали в партии. Я и мои друзья еще находились во второй стадии.

Вернувшись осенью 1904 года в Москву, мы нашли обстановку изменившейся. Газеты усилили тон. В «Русских ведомостях»[108] появлялись будоражащие статьи любимого нами К. А. Тимирязева. В аудиториях и коридорах университета часто собирались кучки для быстрого обсуждения событий, и сейчас же подбегали субинспектора. В частных домах, иногда в учреждениях собирались нелегально довольно обширные собрания. В организацию всего этого мы начали отдавать все большую и большую часть нашего времени.

К началу декабря общее волнение стало сильным, и социалисты-революционеры назначили на 5–6 декабря манифестации перед домом генерал-губернатора – великого князя Сергея, называемого Ходынским как главного виновника катастрофы 1896 года. Вечером 4 декабря наша группа собралась, чтобы обсудить вопрос о нашем участии в манифестациях, в Большом купеческом обществе на Щипке, где работала Серафима Ивановна Надеина, член нашего кружка. Собравшиеся, почти единогласно, находили манифестацию несвоевременной, но считали, что мы, социал-демократы, не можем воздержаться от участия в ней. Очень поздно нам было сообщено решение социал-демократических организаций об участии, и мы разошлись, уговорившись встретиться завтра, перед манифестацией, в университете.

Утром 5 декабря мы нашли в университете большое волнение: «Русские ведомости» напечатали великолепную статью Тимирязева,[109] и студенчество решило перед манифестацией приветствовать Климента Аркадьевича. Расстояние было невелико, но группа порядочно порастаяла. Тимирязев вышел и произнес несколько слов, призывая к исполнению гражданского долга словами Некрасова: «Ученым можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».[110]

На Страстной площади, куда мы затем прошли, были полицейские заграждения, не пропускавшие на Тверскую. Стояли всюду группы, очень молчаливые; иногда раздавался «возглас», но все это слабо. С Тверской через заграждения было пропущено несколько извозчиков с ранеными. Что же это? Неужели мы пришли к шапочному разбору? Не найдя прохода на Тверскую через заграждения, мы решили пробраться через переулки, и это

удалось. Переулки не охранялись: полицейская техника не была на высоте. Мы прошли мимо дома генерал-губернатора, дошли до Моховой. Всюду была полиция, и ничего не происходило. Вечером 5 декабря мы опять собрались у С. И. Надеиной и узнали, что настоящая манифестация будет происходить на следующий день.

Утром 6 декабря я отправился на Страстную площадь один, никуда не заходя. Я нашел на площади значительную толпу, стоявшую спокойно. Напротив, к входу на Тверскую, находились полиция и казаки. Появился какой-то крупный полицейский чин в серой барашковой шапке, и, когда послышалась довольно нестройная «Марсельеза», по его команде полиция и казаки бросились на толпу. Толпа побежала. По здравому смыслу я должен был бы сделать то же самое, и впоследствии я этому научился, но в тот момент здравого смысла у меня не было. Я не бежал.

Я очнулся через несколько минут в довольно поврежденном состоянии. Меня окружали шестеро полицейских. Площадь была пуста, за исключением групп полиции и одиночных арестованных, как я. «Ага, на ногах? Ну, идем», – и полицейские повели меня по проезду Страстного бульвара. Я несколько преувеличил свое болезненное состояние, и они перестали мною заниматься, а я усиленно смотрел по сторонам. Вот как будто подходящие ворота. Живо! И я, с силой толкнув ближайшего полицейского, бросился во всю прыть в эти ворота. И о чудо! Едва я очутился на дворе, железные ворота закрылись перед носом полицейских.

Тут был пост революционного Красного Креста. Предварительно перевязав мои раны, меня быстро вывели через квартиры в Настасьинский переулок; я сел на извозчика и поехал в больницу на Щипок. С. И. Надеиной еще не было, но ее сослуживцы провели меня к врачу; это был доктор Трушковский, впоследствии – директор этой больницы. Голова у меня оказалась пробитой шашкой в двух местах, причем в одном месте – с повреждением черепа; указательный палец на левой руке был раздроблен, на теле – несколько легких ран.

К вечеру вернулась С. И. Надеина: на ее глазах были арестованы на Тверском бульваре наши друзья В. И. и О. И. Станкевичи. Нужно было немедленно, до прибытия полиции, побывать у них на квартире и произвести чистку. Мы поехали и успели все сделать вполне благополучно. После этого я вернулся к себе в общежитие в довольно бредовом состоянии.

В университетской хирургической клинике, куда я поехал на следующее утро, профессор Р. О. Венгловский долго колебался, как ему быть с моим пальцем: рентгенография показала семь кусков фаланги. В конце концов он решил не ампутировать: «Я надеюсь, что у вас подживет очень хорошо». Раны на голове не были опасны, на теле – тоже. Записали меня под чужим именем, так как уже было распоряжение полиции сообщить о всех раненых, поступивших в эти дни. Являться [в клинику] я должен был каждый день. Недели через две Венгловский нашел, что все подживает очень хорошо, дал предписания для дальнейшего лечения и разрешил мне уехать в Смоленск.

В Смоленске родители встретили меня с перепугом и с гордостью. Я пробыл там до Нового года и дальше, но после 9 января 1905 года решил ехать в Москву и уехал.

1905 г. Формально занятия в университете возобновились, но на деле их не было. Шло брожение, курсовые совещания. Я принял в этом движении участие.

В один из январских дней была созвана в физической аудитории огромная сходка. Речи, которые там раздавались, еще два месяца тому назад показались бы немыслимыми: учредительное собрание, всеобщее избирательное право («четырёххвостка»[111]), всякие виды свобод. Атмосфера была накалена. Единогласно приняли резолюцию, а для дальнейшего руководства движением было решено избрать, тайно, на каждом курсе, по представителю в центральный университетский орган. Тайное избрание означало, что

избранника должен знать только председатель курсовой сходки. На нашем курсе председателем был я, и в теории только я знал о своем избрании; на самом деле, конечно, все догадывались.

Так началось для меня конспиративное существование. Я принял близкое участие в работе центрального университетского органа, но долго мне оставаться в Москве было невозможно. Университет был закрыт на неопределенное время, жить мне было нечем, и я снова уехал в Смоленск. Там я вошел в местную социал-демократическую организацию, в «актив».

Смоленск был городом без промышленности и без пролетариата, но ремесленников и студенчества – очень много. Обыватели были настроены оппозиционно. Готовились выборы в городскую думу, цензовую: голосовать могли только домовладельцы. Тем не менее мы взяли на себя подготовку к выборам и провели ее настолько успешно, что в думе оказалось прогрессивное большинство и даже социал-демократическая фракция. Мой отец тоже прошел в думу и примкнул к этой фракции. Состав ее был очень курьезен: наряду с интеллигентами и «третьим элементом» в нее входил крупнейший купец П. Ф. Ланин, меценат, «благодетель» и самодур, и его сыновья, – ночью все кошки были серы. Вышел он из этой фракции лишь год спустя, когда думская комиссия труда под председательством моего отца приняла новый статут труда для торговых служащих.

Около Пасхи возникли слухи о готовящемся еврейском погроме. Левые партии образовали дружины обороны, и я вошел в эти дружины. Несколько раз мы дежурили в угрожаемых кварталах. Погрома не было: вероятно, благодаря преувеличенным слухам о мощи дружин.

Много усилий нам стоила организация первомайского праздника, и он прошел блестяще. За городом, между Ковалевкой и Александровским, в лесу была приготовлена эстрада для президиума и ораторов. Сошлось несколько сот человек. Говорились речи: от нас – старый социал-демократ доктор Иван Петрович Борисов (муж одной из сестер Барсова), от социалистов-революционеров – Сбитников.[112] После речей пели и с пением разошлись. Я уже был дома, когда по улице прошла рота солдат, и ее командир – капитан Протопопов – зашел к нам, чтобы выпить стакан воды. На вопрос отца, куда он идет со своей ротой, последовал ответ: «А вот изволите видеть, черт бы их побрал, где-то мальчишки поют про 1-ое мая. Ну и пусть поют, а нас вот с утра гоняют по окрестностям: посмотрите на солдат – мученики; а посмотрите на мои сапоги».

Для более детального изучения теории был образован философский кружок под руководством старого меньшевика Пилецкого. Было очень курьезно: Пилецкий, будучи философски ортодоксален, противопоставлял Энгельса и Плеханова новым веяниям – Богданову, Маху, Авенариусу. Это было бы хорошо, но он вносил фракционный дух, утверждая, что махизм и эмпириомонизм – большевистская философия. Это было неверно, но книга Ленина появилась несколькими годами позже,[113] а в эти годы эмпириомонизм и статьи Богданова в левых легальных журналах[114] встречали большое сочувствие среди молодежи. Таким образом марксизм Пилецкого толкал молодежь к Богданову.

В «активе» мы прорабатывали резолюции 3-го съезда и меньшевистской конференции.[115] Организация и актив были общими. Представитель комитета был послан на съезд, а попал на конференцию. После его возвращения (я не помню, кто это был) состоялся ряд бурных заседаний и произошло разделение на две организации. Я в этой стадии не участвовал, так как уехал в деревню, и в течение лета мне пришлось много разъезжать (г. Духовщина Смоленской губернии, Москва, Кострома, снова Москва, снова Духовщина). Всюду я находил страну в состоянии кипения.

Осень 1905 г. Вернувшись в Москву, я поселился вместе с моим товарищем по университету Николаем Николаевичем Лузиным, ныне – академиком. Нам обоим очень хотелось продолжать научную работу, но это оказалось невозможно. Открытый формально,

университет фактически бездействовал. Меня вдобавок влекло к политической деятельности, и для меня сейчас же началась партийная жизнь.

Формально я как пропагандист был причислен к одному из районов, но на деле занялся организацией студенческой фракции партии. Численно фракция не превышала сотни человек, но она пользовалась большим влиянием среди студенчества. Был избран комитет, в который я вошел вместе со многими другими – Овсянниковым, Кривцовым, Зачинщиковым, Чижевским, Савковым и т. д. Мы распределили между собой функции, и мне было поручено, совместно с Зачинщиковым, ведать боевыми делами.

В те дни либеральная буржуазия охотно давала деньги на вооружение. В университете на митингах и сходках производились сборы. Нам удавалось закупать оружие, и из студентов стали формироваться вооруженные отряды. Командование было возложено на Зачинщикова как прапорщика запаса и на меня по боевому темпераменту. Боевая суeta вокруг меня крайне стесняла моего сожителя. Мы разъехались, и он вскоре уехал на год в Париж.

Я не буду описывать последующие месяцы – до января 1906 года. В одном из советских сборников, посвященных истории этой эпохи, были опубликованы мои воспоминания.[116] Издательство «Молодая гвардия» выпустило их впоследствии отдельной книжкой.[117] Скажу вкратце, что мы приняли участие во всех событиях того времени: митинги, охрана против черной сотни, «университетская осада»,[118] похороны Баумана, подготовка к вооруженному восстанию и декабрьское восстание.

Я был в октябре делегирован в совещание по подготовке восстания, при Московском Комитете партии, под председательством «т. Евгения» (Кудрявцева). Там я был избран в «тройку» вместе с «Иосифом Георгиевичем» (Урысоном) и рыжим старшим братом известного философа Ильина (кличку забыл).[119] Оттуда я неоднократно делегировался на межпартийные совещания по боевым и военным вопросам.

Я присутствовал на конференции Московской организации партии, которая решила начать вооруженное восстание.[120] Это было как раз в годовщину моего ранения. И, пройдя весь декабрьский путь, я к концу восстания с остатками дружины очутился на Пресне, при попытке пройти через Горбатый мост был арестован и спасся от расстрела чудом: мне помог неизвестный семеновский солдат и моя собственная решительность.

1906 г. Относительно событий 1906 года Музей революции в Москве устроил ряд вечеров воспоминаний, в которых я участвовал и выступал. В принципе все было стенографировано и должно было послужить основой для опубликования исторических сборников. Я не знаю, последовало ли какое-нибудь исполнение этих решений и обещаний.

Относительно Конференции военных и боевых организаций,[121] куда я был делегирован Московским комитетом вместе с тов. Ярославским, я в свое время, по просьбе Ярославского, написал обширные воспоминания, судьба которых мне неизвестна. В 1928 году перед моим отъездом за границу я участвовал в вечере воспоминаний в Музее революции вместе с товарищами Ярославским, Трилиссером, Кадомцевым, Бустремом, Грожаном и многими другими. Это не помешало год спустя Институту Ленина обратиться ко мне с рядом вопросов об этой конференции – вопросов, на которые уже имелись исчерпывающие ответы в печати и рукописных материалах. Ввиду этого я считаю необходимым вкратце рассказать о деятельности боевой организации в 1906 году.

Вернувшись в Москву в середине января, я получил приглашение на совещание по восстановлению боевой организации. Московский комитет поручил руководство этим делом т. Доссеру («Леший» – после 1905 года, «Семен Петрович» – до 1906 года), с которым я уже встречался раньше. Последняя наша встреча была на Пресне. «Леший» собрал всех, кого он считал годными для этой цели. На совещании было выработано положение об организации и

распределены функции. В каждый из районов партией должен быть направлен боевик на правах члена комитета района. Его задачи: 1) боевая пропаганда, 2) организация боевых кружков с тем, чтобы провести через них весь партийный актив, 3) организация вооруженных отрядов и обучение их, 4) разведка, 5) техническая подготовка к восстанию.

Другие, принятые нами, решения относились к подсобным организациям: техническое бюро, финансовая группа и т. д. Встал вопрос и относительно «начальника штаба». На эту должность решено было пригласить Михаила Николаевича Покровского, который только что в сборнике о декабрьском восстании опубликовал статью, которая нам всем очень понравилась.[122] «Леший» выразил некоторое сомнение: «Какой он марксист, какой он социал-демократ? Еще недавно он был “освобожденцем”[123]». Ему резонно возразили, что уже два года, как Покровский принадлежит к лекторской и литераторской группе. Меня попросили побывать у него и передать ему приглашение.

Затем были распределены обязанности: в три «центральных» района (центральный городской, типографский и городских предприятий) – тов. Заломов, тот самый, «Павел» из романа Горького «Мать». Я с ним встречался уже в течение двух месяцев подготовки к восстанию: сначала он ведал одним из районов, а потом был направлен в бомбистскую технику. «Евгений», представляя нам его, упомянул, что он носит историческое имя, на что Заломов чрезвычайно рассердился. Чтобы не возвращаться к нему, скажу, что в это время он был уже очень утомлен жизнью, имел больные нервы, был чрезвычайно подозрителен. Каждого нового товарища он подозревал в провокации. Этой участи подвергся мой помощник – тов. Егор, с честью проработавший в партии до конца жизни, и в этом случае Заломов признал свою ошибку. Но был другой случай: Заломов обвинил в провокации секретаря МК тов. «Виктора», и несколько лет спустя дело разбиралось в Париже в межпартийном суде, и «Виктор» был оправдан. В нашей среде Заломов пробыл недолго: через несколько недель он заявил об уходе по причине здоровья и семейных затруднений.[124] Своего преемника он выбрал чрезвычайно хорошо: это был студент-путеец Фельдман.

В Бутырский район под кличкой «Петр Васильевич» был направлен литовец Долгис, очень хороший работник. В Рогожский район был послан мой бывший, до-декабрьский, помощник; ни фамилии, ни клички я не помню. Меня направили в два Замоскворецких района (в то время их было два, но довольно скоро они были объединены) и прибавили еще Лефортовский район. На мои протесты «Леший» ответил: «Что вам нужно? Ночевка и питание? При этих условиях – я вас знаю – вы справитесь». Кличка моя стала «Семен Петрович», и «Леший» сказал, что это очень хорошо, принимая во внимание колоссальную разницу в нашей внешности: полиция запутается. После этого мы приступили к работе.

Покровского я уже знал: несколько раз по поручению университетской фракции мне приходилось с ним сговариваться относительно его публичных выступлений. Он выслушал меня с большим вниманием и удивлением, но согласился и попросил придумать для него кличку. Поскольку у нас уже был «Леший», я дал ему кличку «Домовой», которая в форме «Домов» так за ним и осталась. На своем посту он обнаружил изумительную бездеятельность. Эта фикция прекратилась после объединительного съезда партии.

Замоскворечье было поделено на два района линией Полянка – Шаболовка. Правый район, если идти из «города», возглавлялся тов. Бобровским, членом известной революционной семьи,[125] левый район – тов. Савковым, братом Савкова, входившего в университетскую фракцию. У меня сразу создалось впечатление, что левый район – настоящий, а правый – так себе. Очень скоро произошло их объединение под руководством Савкова. В качестве подрайонных организаторов работали тов. Цявловский (впоследствии – известный пушкинист), тов. «Дядя», тов. «Шлем», тов. «Артем» (тот самый, по имени которого назван Артемовск).

Ответственным пропагандистом был сначала тов. Блюм, а потом – тов. «Николай» (Н. М.

Лукин, историк, впоследствии – академик). Военным организатором (для казарм) был Борис Федорович Добрынин, впоследствии – профессор географии Московского университета. В числе пропагандистов – братья Удальцовы (один из них стал впоследствии профессором Московского университета), С. И. Надеина, о которой я уже говорил, и В. В. Чебуркин. На некоторое время Савков был заменен тов. «Алексеем Ивановичем», который впоследствии с успехом работал в медико-биологических институтах Наркомздрава.

Первое дело, которым мне пришлось заняться, – это розыски оружия, которое рабочие Симоновского подрайона запрятали в Тюфелевой роще. Организация была бедна, а для обучения оружейной технике необходимо оружие, которое поручили [хранить] одному из наиболее активных участников додекабрьской работы. Он долго отлынивал, отказывался, находил разные предлоги, – наконец, повел к месту хранения. Это была яма, выкопанная в Тюфелевой роще. Ее разрыли, обнаружили, что раньше в яме что-то было, но в данный момент в ней не нашли решительно ничего.

«Хранитель» сделал вид, что очень поражен, заговорил о социалистах-революционерах, об анархистах, но товарищи ему сказали: «Не дури, сознавайся», – и он сознался. Я торопился и вернулся в Симоново с несколькими рабочими; остальные заканчивали разговор с «хранителем». Через несколько дней я узнал, что его закопали в той же самой яме. На мой вопрос, почему об этом мне не сказали сразу, был ответ: «А мы не знали, как вы посмотрите на это и как отнесется партия, а оставлять его в живых было бы опасно».[126]

Я стал посещать кружки и заводские собрания – знакомиться и подбирать людей в боевые кружки. Это пошло успешно. Разработанная нами программа занятий – наполовину политическая, наполовину техническая – живо интересовала рабочих. Из рабочих, успешно прошедших через кружки, формировались «пятки»; четыре «пятка» составляли «отряд», а четыре «отряда» – «командо». Вскоре в районе было одно «командо» и близилось к завершению другое. Это была своего рода рабочая милиция с некоторой дисциплиной. Был выработан и «план мобилизации», позволявший довольно быстро производить сбор.

В апреле началась подготовка к Объединительному съезду,[127] и на одном из собраний районного комитета появился неизвестный нам докладчик. Это был Ленин. Большинство из нас видело его в первый раз. После доклада по текущему моменту очень внимательно он выслушивал возражения. Артем произнес обширную речь, которую Ленин слушал терпеливо, но с некоторой усмешкой.

Одним из поставленных вопросов было наше отношение к советам рабочих депутатов и к «широким формам» рабочего движения. После всем известных опытов 1905 года с Хрустальевым-Носарем, Гапоном и Троцким и особенно после той демагогии, которую развели некоторые меньшевики (Ю. Ларин), противопоставлявшие партии эти «широкие формы», отношение к ним в большевистских кругах было критическое, и это отразилось в наших выступлениях. Ленин выслушал нас очень внимательно и сказал, что вопрос серьезный и в нем нужно детально разобраться, но сколько-нибудь определенно не высказался.

К этому же времени относится провал конференции военных организаций в Москве. Провал произошел перед Пасхой при очень странных условиях. Среди его участников были Любич-Саммер и Павлович, впоследствии – профессор Военной академии. Арестованные были помещены в Сущевский полицейский дом. У Надеиной собрались товарищи – Добрынин, я, некоторые другие, чтобы обсудить вопрос о побеге. Бегство удалось в полной мере: полицейских перепоили и сделали в стене пролом, через который вышли все арестованные, кроме Любича и еще кого-то, кому толщина помешала в него пролезть.[128]

После Объединительного съезда во все ячейки влились меньшевики. В нашем районе их было гораздо меньше, чем нас. Среди новых членов районного комитета упомяну тов. «Георгия» (Цейтлина), очень умного, хорошо знакомого с литературой, ловкого диалектика,

который часто ставил нас в затруднение и вынуждал несколько подковыкаться перед выступлениями. Кроме него был еще один – очень красноречивый, агрессивный и поспешный; это, если память мне не изменяет, был Вышинский.

В центр боевой организации вошли два меньшевика: тов. «Василий» (Вановский), бывший офицер-сапер, с большой, но далеко не всегда удачной инициативой; он стал начальником штаба взамен Покровского; другим был тов. «Захар» (Савинов), обинтеллигентившийся рабочий, с большим вкусом к широкой рабочей организации по Ю. Ларину; он заменил меня, наконец, в Лефортовском районе, в котором было много меньшевиков. Они оба скоро перешли в большевистскую фракцию. «Леший» относился к «Василию» критически, считая его беспочвенным болтуном и фантазером (не вполне справедливо) и предсказывая ему буржуазное будущее. Можно ли называть так профессуру по теософии в Токийском университете в Японии, не берусь решать.

Провалы происходили как будто естественным порядком. После ареста Фельдмана в июне 1906 года я перешел в три городских района. Уйти из Замоскворечья мне было необходимо: с некоторого времени за мной шла определенная охота. Один раз я был арестован, но меня освободил по пути в участок околоточный надзиратель, принадлежавший к организации.

Предел развитию нашей организации был положен в начале августа знаменитым провалом, происшедшим от невероятной неосторожности секретаря МК «Захара»[129] и его жены «Ирины», которые хранили при себе сотни адресов в незашифрованном виде. Были арестованы сотни товарищей, в том числе Доссер и Долгис. В течение одного дня я удачно выскочил из трех мышеловок. Мне удалось собрать остатки организации, и я был избран ответственным боевым организатором.

Время наступало очень трудное. В пылу работы мы не отдавали себе отчета, в какой мере менялось общественное настроение. После многочисленных летних восстаний, после разгона 1-й Думы слой за слоем отрывался от единого фронта. Замещать арестованных товарищей становилось все труднее и труднее. Ночевки, квартиры для явок и собраний становились все реже. Внутри организации появились новые и беспокоящие элементы. Некоторые странности не находили нормального объяснения.

Один пример: некий художник, уезжая, оставил ключ от своей квартиры нашему секретарю – для наших собраний. Мы являемся в назначенный день: как будто все в порядке, но у входа во двор дежурят какие-то люди в штатском. Пускаем вперед секретаря: ничего, он проходит; один за другим с интервалами проходят и остальные. Мы сидим часа три, разговариваем, и один из нас отправляется за продовольствием. Вернувшись с хлебом, маслом, колбасой и сыром, он говорит, что зеваки у ворот стоят. Мы продолжаем наше совещание, часа через два расходимся.

Через несколько дней на нашу явку прибегает растерянный художник: вернувшись, он узнал, что накануне нашего собрания у него на квартире был обыск и что сыщики дежурили для наблюдения именно за этой квартирой. Происшествие совершенно невероятное. Мы перебрали все возможные гипотезы и не нашли подходящего объяснения: проверка, как в тот момент, так и впоследствии, не обнаружила в нашей среде ни одного провокатора. Однако прямое наблюдение усилилось, и мало помогал очистительный пункт в Сокольниках.

Нужно сказать, что многие молодые активные рабочие отходили от нас. Они находили, что у нас нет никакого действия, и переходили к максималистам и анархистам. Большой успех имел в Симонове известный анархист Бармаш, – он появился на площади с вооруженным отрядом и, размахивая бомбой, заявил: «Кадеты вам говорят – терпи, эсдеки вам говорят – проси, а мы вам говорим – бери. С этой бомбой я добыю все и призываю вас следовать за мной». То же произошло и у Цинделя.[130] В экспроприации уходили самые боевые элементы, и каждый день мы узнавали, что такой-то пяток ограбил такую-то кассу. Иногда эти

группы выделяли часть добычи для партии, но чаще дело обходилось без этого.

В этих условиях у нашей организации начались разногласия с МК. Я не имею и сейчас моральной возможности точно рассказать, в чем [было] дело: и МК, и нам хотелось вещей, в общем тех же самых, но не осуществимых... Мы не в состоянии были заставить откалывавшиеся группы вернуться на партийный путь. МК, в лице некоторых его представителей, воображал, что мы хитрим. К этому присоединялись прямые интриги «Василия». Так продолжалось до Таммерфорской конференции военных и боевых организаций.

Эта конференция, собранная вопреки меньшевистскому ЦК, имела место в ноябре 1906 года. Ее протоколы были изданы тогда же[131] и много раз переизданы.[132] Московский комитет послал на конференцию делегацию из Ярославского, меня и «Василия», однако «Василий» не прибыл. Помимо мандата от МК я представлял еще Московскую боевую организацию,[133] а тов. «Емельян» (Ярославский) – военную. На конференции, за исключением представителя Южного технического бюро Альбина, все были большевики, однако единогласия не было: расходились два течения по вопросу о том, кто, выражаясь грубо, должен командовать во время острых выступлений: военно-боевые центры или общепролетарские организации. Большинство (и в том числе я) оказалось за партийное решение этого вопроса, и Ленин в своей статье о конференции вполне нас одобрил.[134]

Конференция избрала Временное бюро военных и боевых организаций из пяти человек: «Николай Иванович» (Лалаянц, организатор и председатель конференции), Ярославский, я, представитель Рижской организации «Петр II»[135] и – по рекомендации Любича,[136] который был неофициальным представителем Большевистского центра, – партийный литератор Б. Авилов, приват-доцент Петербургского университета. Среди участников конференции упомяну:

Воронежская военная организация – тов. «Алиев» (псевдоним не раскрыт);

Казанская в[оенная] о[рганизация] – тов. «Кузьма», из казаков;

Кронштадтская в[оенная] о[рганизация] – тов. Бустрем;[137]

Калужская в[оенная] о[рганизация] – тов. «Ольга» (я встречал ее на вечерах воспоминаний);

Либавская в[оенная] о[рганизация] —?;[138]

Московская в[оенная] о[рганизация] – Ярославский;[139]

Нижегородская в[оенная] о[рганизация] – «Гладков»[140] (псевдоним не раскрыт);

Петербургская в[оенная] о[рганизация] – Лалаянц;

Рижская в[оенная] о[рганизация] – «Петр II»;[141]

Севастопольская в[оенная] о[рганизация] – Викторов (может быть – Бустрем;[142] тогда Викторов от Кронштадта);

Финляндская в[оенная] о[рганизация] – Трилиссер;

Московская б[оевая] о[рганизация] – я;

Петербургская б[оевая] о[рганизация] —?;[143]

Саратовская б[оевая] о[рганизация] – Степинский[144] (я сильно подозреваю, что это был В. Р. Менжинский);

Уральская [боевая организация] – «Петр I»[145] (Кадомцев);

Уральская [боевая организация] – Кадомцев младший;[146]

Финляндская рев[олюционная] с[оциал] – д[емократия] – тов. Лаукки;

от Петербургского комитета – тов. Землячка;

докладчики:[147] «Григорий Иванович» (Гиммер), Лядов, «Победов» (Урысон), Волков (я встречал его на вечерах воспоминаний);

гостя – тов. «Ида» из Ревеля.

Вернувшись в Москву, я нашел, что в мое отсутствие была перестроена Боевая организация: на ее месте было образовано Военно-техническое бюро во главе с «Василием». В бюро были введены некоторые члены из старой организации – я, Виноградов (известный инженер, изобретатель и боевик) – и много новых членов. Работа была построена по принципу – делать наоборот тому, что делала старая организация, и, во всяком случае, говорить наоборот, если даже делалось то же самое. У меня не было ни времени, ни охоты, ни возможности заниматься этой полемикой: мои новые обязанности налагали на меня многочисленные поездки на места и особенно в Петербург, где раз в неделю Бюро собиралось.

Нужно сказать, что в своем первом составе Временное бюро не собиралось ни разу. Почти сейчас же после конца конференции произошел колоссальный провал Петербургской военной организации, и мы потеряли «Николая Ивановича». «Петр II»[148] из Риги не отвечал и не появлялся. Для их замещения нам пришлось кооптировать Трилиссера и Урысона. Авиллов попросил его не вызывать на собрания и каждый раз, как нужно, направлять к нему одного (и только одного) члена Временного бюро. Эти функции лежали на Ярославском и на мне.

1907 г. Так прошло время до апреля. На Пасху я поехал на несколько дней в Смоленск к родителям. Долго побыть мне не пришлось: из экстренного письма секретаря организации я узнал, что Ярославский выехал на Лондонский съезд партии[149] и я должен его заместить во время его отсутствия.

Я немедленно выехал в Петербург, где ожидал найти знакомую мне секретаршу Временного бюро Лизу Шнеерсон, но передо мной оказался незнакомый мне человек, довольно молодой, недурной собой, поляк, очень антипатичный. Он сообщил мне, что его фамилия – Подзя-Бродский, что он родом из польской революционной семьи и что тов. Лиза, уезжая и торопясь, передала ему секретарство и все дела. Я спросил, с чьего согласия. Он не знал.

«Видели ли вы тов. “Виктора” (Урысона)?» – «Нет, он не появлялся». – «А “Анатолий” (Трилиссер)?» – «По-прежнему в Финляндии». – «Кто же вас рекомендовал и кто вас знает?» – «Помилуйте, я – давний член Петербургской боевой организации, и меня рекомендовал и хорошо знает тов. Чесский, “Шурка”». Я давно знал Чесского и с хорошей стороны. Спросить о засекреченном Авиллове я не мог и решил пойти наводить справки.

Первый визит был к жене Урысона. Через ее сестру, известную переводчицу Штерн, я узнал, что Урысон неделю уже как арестован и находится в Крестах. «Где же и как [арестован]?» – «Ну, очень просто, вот тут, на этом крыльце, через которое вы проходили». Авиллов ничего и ни о ком не знал и очень давно никого не видел. Мы с ним решили находиться в контакте и расстались. Относительно Чесского я узнал, что он действительно был в большой дружбе с Бродским и сейчас находится в Финляндии. «Анатолий» тоже находился в Финляндии, но где – никто не знал, и адреса его у Бродского не было. Так, в тяжелой обстановке начинался май 1907 года, так он продолжался, так он и закончился.

В столовой Технологического института, куда я прошел затем, я увидел много хорошо знакомых лиц: Землячку, Евгению Бош, Веру Дилевскую – жену Ярославского. Меня свели с представителями Петербургской боевой и Петербургской военной организаций. Во главе первой стоял тов. «Овод» (Вакулин), секретарем второй была тов. «Ирина», которая мне сразу показалась отвратительной, а наиболее активными работниками были тов. «Аксель» и тов. «Максим» – меньшевик. Этот последний сразу мне бросился в глаза своим сходством с Иудой, и тогда, рассердившись на себя, я стал себя усовещать: «Вот что значит давать волю нервам; теперь ты уже придаешь значение случайным сходствам, и все тебе отвратительно».

Я подошел к Вере Дилевской и спросил, знает ли она что-нибудь об отъезде Лизы Шнеерсон. Да, она знала. Лиза спешно должна была уехать и нашла себе заместителя – Бродского. Дал ли «Емельян» свое согласие на эту замену? Нет, он не мог, торопился уезжать, но он уполномочил Лизу найти преемника; очень ей доверял. А кто рекомендовал именно этого преемника? Она возмутилась: «Помилуйте, тов. Бродского знаем мы все: это – тонкая, поэтичная, глубоко чувствующая душа. Известно ли вам, что, когда Чесский был болен тифом, Бродский высидел при нем несколько недель и буквально его спас?» Нет, это мне не было известно.

В начале мая мне пришлось обсуждать с «Акселем», «Максимом» и «Ириной» вопрос о делегации войск Петроградского гарнизона. Эта делегация должна была явиться в социал-демократическую фракцию Государственной думы и передать наказ от солдат гарнизона. Фракция не была предупреждена. На вопрос – почему? – ответ был от «Акселя»: «Потому что эти оппортунисты способны не принять делегацию». В этом оба – и большевик, и меньшевик – были согласны. Я спросил, кто собственно автор наказа. «Конечно, мы», – был ответ. «А кто его голосовал? Солдатские собрания?» – «Что вы, их невозможно сейчас созывать. Наши ячейки». – «А велики ли они?» Ответа не было. Тогда я спросил, почему собственно они называют это наказом от войск гарнизона. Ответ был: «Надо же что-нибудь делать, надо встряхнуть фракцию и, может быть, это встряхнет массы».

Я сказал тогда, что, не имея возможности воспротивиться, обращаюсь к ним с просьбой пересмотреть этот вопрос у себя в организации. Мне дали обещание, но не исполнили: в тот же день делегация побывала во фракции. Совершенно случайно полиция опоздала на несколько минут, иначе уже в тот день (5 мая 1907 года) произошел бы арест думской фракции. Опоздала же полиция потому, что делегация добралась до фракции на десять минут раньше назначенного времени и покончила свое дело раньше, чем рассчитывала. Когда передо мной оказались все эти данные о том, что произошло на следующий день, я был устрешен: мне была ясна рука провокаторов во всем этом деле. Но кто провокаторы?

В столовке Технологического института я снова встретился с «Максимом». Он подошел ко мне самым приветливым образом и в ответ на мои упреки сказал: «Что могли мы поделать? Напор масс! И очень хорошо: смотрите, сколько шума в газетах! А вот что, приходите ко мне вечером ужинать, познакомьтесь с женой. Альвина Альви. Слышали? Знаменитая певица: на ее голосе держался несколько лет бюджет рижской организации». Я принял приглашение. Действительно, у Альвины Альви был чудесный голос, и, действительно, этим голосом она кормила партийные организации.

Однако ничто не шло. Адреса наших местных организаций отсутствовали. «Может быть, тов. “Ярославский” куда-нибудь их спрятал», – ответил мне Бродский. Если приходили известия, это были известия о провалах. От «Анатолия» из Финляндии вестей не было. Понемногу исчезали и люди кругом.

Поражала странная неприкосновенность столовой Технологического института. Там можно было найти всех ответственных работников центральных и петербургских учреждений партии: вот в том углу – сестра Ленина,[150] вот у того окна – член ЦК Негорев-Иорданский,

за тем столом – энергичная меньшевичка Радченко, тут мелькает рыжая борода председателя совета безработных Войтинского, а вот там – его помощник и видный член Петербургского комитета Гомбарг. Все всех знали и всех можно было тут найти. Невероятно. Всё это пахло чудовищной провокацией, но где же провокаторы?

Чем дальше, тем больше Бродский вызывал у меня сомнения. Я решил пройти к нему на квартиру в его отсутствие и произвести обыск. Его хозяйка легко пропустила меня в комнату. Я начал очень быстро всюду копаться. Ничего. Но на его столе под промокашкой я нашел бумажку со всеми моими адресами, кличкой, именем, отчеством и фамилией. Как раз в этот момент он вошел в комнату, и я на него накинулся: «Для кого вы составляете и бережете такие записи? Для охраны?» Он начал оправдываться: Лиза передала ему записку, и он забыл ее уничтожить.

«А это? – спросил я его. – Зачем у вас на стене этот иконостас из газетных вырезок и портретов польских революционеров? Вы что, хотите обратить на себя внимание? Ведь вы же секретарь серьезной организации! У вас не должно быть ничего, что может возбудить подозрение». Он смутился и стал оправдываться польскими традициями, которые отличаются якобы от русских. Я ушел от него с усилившимися подозрениями, но решения у меня быть не могло. В этих делах человек бывает и судьей, и исполнителем, и нужно иметь полную уверенность в своей правоте: ее у меня не было.

Я стал проверять состояние наших боевых ресурсов. Их не оказалось совершенно, как будто кто-то слизнул. Я решил пойти к помощнику Красина – инженеру Грожану, которого видел в ноябре на конференции. Там он издевался над наивными людьми, которые воображают, что могут изготовить взрывчатые вещества лучше, чем у Нобеля. «Поезжайте с деньгами в Финляндию, – говорил он, – и вы купите все это так дешево, как вам и не снилось, и не нужно возиться с химическими веществами, которые вам пачкают безвозвратно ваши лица, и устраивать лаборатории, которые так легко проваливаются». Я пошел к нему узнать, существуют ли эти возможности, – их уже не было. Надзор на границе и провокация усилились необыкновенно.

Я связался случайно с чудесными ребятами-рабочими из Колпина, и мы решили совместными усилиями организовать лабораторию недалеко от следующей станции на железной дороге. Юрьево, как называлась эта станция, было новым дачным местом на опушке огромного леса, идущего до Новгорода. Мы сняли уединенную дачу, нашли рабочего, хорошего техника и химика, который согласился там жить и работать. Бродскому ничего об этом не было известно, но, случайно услышав слово «Юрьево», он стал меня расспрашивать о студенческой жизни в маленьких университетских городах. Я охотно ему сообщил много живописных подробностей, но опять-таки доказательством это еще не было.

Около 25 мая с бесконечными предосторожностями я отправился к Авилову. Оказалось, что он имел вести от «Анатолия», который проживал недалеко от Выборга на одном из бесчисленных островков на финляндских шхерах. Он потерял всякую связь с нами и просил, чтобы кто-нибудь к нему приехал. Найти его адрес можно было через редакцию одной шведской газеты в Выборге. Я решил поехать к нему. Мне было совершенно непонятно, что он делает на этом островке.

Как раз представился случай: стали возвращаться из Лондона делегаты съезда, и в Териоках должна была иметь место конференция Петербургской организации для заслушивания докладов о съезде. Всем уже было известно, что он закончился большевистской победой. Я поехал на конференцию как один из представителей Московского района, где занимался пропагандой. Это было, если не ошибаюсь, 29 мая. Докладчиком был Ленин, и прения по докладу продолжались всю ночь. Одним из оппонентов был депутат Церетели.

Утром, по окончании конференции, я поехал в Выборг, с большим трудом разыскал газету, с

еще большим трудом разыскал шведскую барышню, которая имела адрес «Анатолия», сел на пароход и [всю дорогу] напряженно вслушивался в названия остановок. Все выкликивалось на языках, которых я не понимал. Вот и остров, – прелестный островок, но как найти «Анатолия»? Мне пришлось обойти все дома прежде, чем я добрался до него. Он жил на маленькой дачке в лесу с матерью и братом. Все они сидели без денег. Выехать никуда он не мог.

Мы с ним поговорили обо всем, уговорились встретиться в Гельсингфорсе через несколько дней. Я дал ему денег, и мы немедленно выехали в Выборг. После небольшой задержки и ночевки я получил наказ от войск выборгского гарнизона для передачи туда же – в Государственную думу, сел в петербургский поезд, он – в гельсингфорский, и мы расстались, чтобы снова встретиться в 1928 году на вечере воспоминаний в Музее революции.

В поезде я сразу почувствовал – что-то неблагополучно. Я прошел в уборную и освободился от всех бумажек, которые при мне были, кроме... наказа. Я считал, что все-таки должен его доставить по назначению, и я запрятал его между кальсонами и носком.

1 июня 1907 г., арест. На Финляндском вокзале я был сейчас же по выходе арестован. Путь в «Кресты» оказался сложным: жандармское вокзальное отделение, ближайший полицейский участок, охранное отделение. Пока я ждал своей участи, через комнату прошел какой-то субъект в темных очках и с рекламными плакатами под мышкой, прошел в кабинет, и я услышал фразу: «четыре дня ездил за ним по Финляндии». Очевидно, речь шла обо мне, но преувеличение было явное.

В «Крестах» я попал во второй корпус в камеру 627. В течение первых дней моего заключения тюрьма была «отбитой», т. е. разрешалось сидеть на окнах и разговаривать. На третий день мне прокричали «627, под вами – новый товарищ; спросите, кто он». Я спросил: оказалось – член Думы Кириенко. Дума была разогнана, фракция арестована, избирательный закон изменен.

В этот же вечер было устроено «общее собрание»; каждый оставался, конечно, на своем окне. Речь шла о том, что Столыпин вызвал к себе начальника тюрьмы Иванова и сказал ему: «Думы нет, и можно не стесняться. Стреляйте, если нужно». Таким образом, предвиделись репрессии и «забитость» тюрьмы. Было решено не поддаваться ни на какие провокации и вести себя выдержанно и спокойно.

Решение было кстати: на следующее утро тюрьма наполнилась солдатами, и из камер «в наказание за разговоры через окно» на две недели удалили все собственные вещи и спальные принадлежности. Моим соседом был Петров, приговоренный к каторге по делу о покушении на в[еликого] к[нязя] Николая Николаевича. Приговор, конечно, состоялся позже; в это время Петров был еще подсудимым. Хороший мужественный человек, и мне кажется, что это был будущий коммунист Ф. Н. Петров.[151] Через некоторое время меня перевели в камеру 551, и в ней я оставался полтора года – до суда.[152]

Те, кто не сидел по тюрьмам, не знают, какие многочисленные возможности имеются [там] для сношений друг с другом и с волей. Довольно скоро ко мне начали просачиваться разные сведения – что Урысон сидел в первом корпусе и был переведен куда-то, что Ярославский сидит во втором корпусе на той же галерее, но в другом конце «Крестов», что была произведена колоссальная облава в столовой Технологического института и во всех окружающих кафе и кухмистерских, что провокатор – несомненно Бродский.

Значительно позже, уже за границей, я узнал, что «Ирина» и «Максим» тоже были провокаторами. И вдруг я нашел у себя на полу записку от Бродского: он сообщал, что сидит в одной из камер поблизости, и плакался, что товарищи относятся к нему с недоверием.

Конечно, я поторопился уничтожить записку и не ответил. Сидел ли он на самом деле? Не знаю. Думаю, что нет. По крайней мере, надзиратель Гаспарович, свой человек, бывший член наших военных организаций, ничего о таком заключенном не знал.

Через Гаспаровича я вступил в сношения с Ярославским и с волей. Я написал своим родителям, и в начале июля приехал мой отец. Приблизительно в это же время состоялся первый допрос. Вел его подполковник Николаев, употребляя все жандармские приемы – от мягкости, стакана чая, сочувствия до неожиданных повышений голоса. Обвинение – принадлежность к Петербургской боевой организации, к которой я никогда не имел никакого отношения.

Мой отец решил хлопотать обо мне.[153] Он нашел какие-то связи, позволившие ему получить аудиенцию у товарища министра внутренних дел, шефа жандармов Курлова.[154] Этот полицейский генерал решил, по-видимому, пугнуть моего отца: не сводя с него пронзительных глаз, он взял телефон в руки, вызвал прокурора, и спросил обо мне. «Ага, – произнес он вдруг, – хорош мальчик: план Зимнего дворца, план императорской яхты; что еще?» Отец вышел от него ни жив, ни мертв. Когда он, на свидании, воспользовавшись уходом на минуту жандармского офицера, рассказал мне об этом, я расхохотался: у меня никогда не было ничего подобного, и моя квартира не была найдена.

То обстоятельство, что не нашли моей квартиры и у меня не было обыска, меня очень интриговало, и до сих пор я не понимаю, в чем тут дело. Я жил на Большом проспекте Петербургской стороны, на незначительном расстоянии от Бродского. За мной несомненно должно было иметь место наблюдение. Единственное доступное мне объяснение – это близость Бродского. Мы с ним очень часто возвращались вместе, и я доводил его до его квартиры и затем шел дальше, но не к себе: у меня часто бывали деловые вечерние свидания. Весьма возможно, что филеры, видя меня в «надежной» компании, решали, что не стоит больше мной заниматься, и не доводили наблюдения до конца.

Через некоторое время, желая выяснить дело, я потребовал второго допроса. На этот раз меня допрашивал ротмистр Лавренко: подполковник Николаев уже превратился в полковника в одном из провинциальных городов. Этот допрос был для меня очень полезен: в нем фигурировал город Юрьев, фигурировал адрес на Большом проспекте, но не тот, где я действительно жил; мне были показаны карточки, и эта коллекция показала огромный размер провала и руку Бродского. Была карточка Стомонякова, с которым раз я пил кофе в маленьком кафе напротив института, и Бродский видел нас и, по-видимому, решил, что это – один из неизвестных ему членов Временного бюро.

Показывал мне все это Лавренко с большой неохотой и скукой и, наконец, произнес: «Все это совершенно ни к чему». Он был прав. По делу было привлечено свыше ста человек, но очень многих освободили, например – братьев Скроботовых, которые действительно принадлежали к Петербургской боевой организации.

Серафима Ивановна Надеина, которая лечилась в Ялте от последствий жестокого плеврита, полученного на партийной работе, узнав о моем аресте, приехала в Петербург и вместе с моей матерью ходила ко мне на свидания. Долго это не продолжалось. Она вступила в работу в качестве пропагандистки и вскоре оказалась арестована. Была уже зима. В Доме предварительного заключения, куда ее посадили, начались волнения заключенных, стекла были разбиты, и в наказание администрация оставила их на две недели в камерах без стекол. Результат – воспаление легких. Ее выпустили под залог в марте 1908 года,[155] и она принуждена была уехать к матери в деревню.

Март 1908 г. К этому времени неожиданно пришло известие, что за отсутствием улик меня собираются освободить. Прокурор Юревич, наблюдавший за дознанием, сказал это моей матери. Улик, действительно, не было. Я был арестован, не имея при себе ничего

компрометирующего. «Наказ», переданный в Выборге, не был найден ни при одном из трех обысков, и я уничтожил его в тюрьме. Меня не знали петербургские боевики, не знали и те из них, которые (как Ликумс) давали откровенные показания. Но... Бродский? Для суда он не мог быть свидетелем, но благодаря ему полицейские органы слишком хорошо знали, какова была моя действительная роль.

Была весна, и мне очень хотелось на волю, но поверить в эту возможность я не мог, и оказался прав. Через две недели после первого свидания Юревич заявил моей матери: «У нас есть новый материал, и ваш сын сидит прочно». Действительно, состоялся заключительный допрос, где мне было объявлено о передаче дела в Военно-окружной суд. В деле появилось письмо, якобы мое по заключению жандармской экспертизы, найденное у одного из боевиков, и в моем блокноте оказались записи о партизанских выступлениях. Подделка была ясная, но это еще нужно было доказать.

Моя мать обратилась в военную прокуратуру с просьбой освободить меня под залог. С нас потребовали 150 000 рублей, сумму для моих родителей непосильную. Когда она вернулась на Пасху в Смоленск, к ней пришли представители еврейской общины и предложили собрать эту сумму в благодарность за мое участие в защите против погромов. Мать выехала в Петроград, чтобы посоветоваться со мной, и мы решили категорически отказаться.

Я не помню, начиная с какого времени нас стали привозить в Военно-окружной суд для ознакомления с материалами, по которым был составлен обвинительный акт. Нас привозили всех вместе – 25 человек – в автомобильном фургоне, и для большинства из нас, в том числе и для меня, это было первое знакомство с автомобилем и между собой. Из моих сопроцессников я знал только Губельмана («Ярославского»), Веру Дилевскую, Вакулина («Овода») и его жену, Бустрема. Все остальные были мне совершенно неизвестны. В большинстве это были балтийцы – латыши и эстонцы, принадлежавшие к боевым организациям на Балтике и в Петербурге.

Ноябрь 1908 г. Суд имел место в ноябре 1908 г..[156] Экспертиза единогласно подтвердила, что приписываемые мне документы писаны не мной, и при полном отсутствии улик я бы оправдан, равно как редактор одной из петербургских газет Ванаг и пожилой ремесленник Озоль, неизвестно почему попавший в это дело.

Относительно Ярославского прокурор выразился так: «Все мы здесь были поражены достоинством, с каким держал себя подсудимый Губельман. Он отвечал прямо, не пытался сваливать свою вину на других. Без всякого преувеличения он привлек к себе все симпатии. Но, когда я подумаю, какое впечатление его качества должны были производить на солдат, я надеюсь, что он не ускользнет от заслуженного наказания». Ярославский, как Бустрем и Вакулин, был приговорен к шести годам каторги, Вера Дилевская – к двум годам ссылки на поселение.[157]

Немедленно после моего освобождения обнаружилось, что Охранное отделение совершенно не согласно с этим приговором. Я поехал в Москву, встретился там с С. И. Надеиной, и мы решили уехать за границу.

1909 г., Вена. В начале 1909 года мы оказались в Вене. Мы вступили там в группу содействия партии (все заграничные группы партийцев назывались «группами содействия»). Секретарем Венской группы был очень хороший товарищ «Лева», «Владимиров» (Шейнфинкель), впоследствии – народный комиссар финансов. В Вене между нами и им и его женой Анютой завязалась неразрывная дружба.

Я начал посещать Венский университет, работать в библиотеке, стараясь вернуться к научной работе, от которой я несколько лет был совершенно оторван. В группе содействия обсуждались текущие вопросы партийной жизни, которые были для нас совершенно новы:

отзовизм, богоискательство, богостроительство, рост оппозиции политике Ленина среди большевиков. Здесь я ознакомился с только что вышедшей книгой Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Как математик я с большим уважением относился к Henri Poincaré, к Pearson; я с большим интересом прочитал в свое время «Механику» и «Теорию тепла» Маха.[158]

Я уже упоминал, что и среди друзей, и среди врагов философия Богданова считалась большевистской разновидностью марксизма. Недаром в одном из «Дневников социал-демократа»[159] Плеханов писал по поводу газеты «Новая жизнь»: «Ленин тонет, как муха в молоке, среди махистов, декадентов и вырожденцев».[160] Первое впечатление от книги Ленина – ее невероятная резкость, и при том казалось странным, каким образом не физико-математик может критиковать вещи ему незнакомые. Второе впечатление было, что Ленин несомненно прав, обнаружил гениальную интуицию и правильно разобрался в чуждых ему вещах.

Вместе с «Левой» мы занимались пересылкой в Россию партийной литературы. Делалось это так: на рынке были куплены конверты и рекламы разных прогоревших фирм. В один из рекламных листков помещался номер партийного журнала, отпечатанный на папиросной бумаге, и вкладывалось предупреждение: «Мы нашли ваш адрес в адрес-календаре и посылаем вам наше издание, надеясь, что оно вас заинтересует». Надписывался адрес, наклеивалась марка, и пакет помещался на два дня под пресс, чтобы папиросная бумага плотно слежалась и не шуршала.

Пакеты посылались лицам, относительно которых была надежда, что они будут передавать номер на прочтение другим, но не всегда это бывало так. Доктор И. П. Борисов, о котором я уже говорил и который к тому времени совершенно отошел от партии, говорил мне несколько лет спустя в Москве: «Знаете, что я ценю в партии? Это то, что она помнит о старых заслугах. Представьте себе, я регулярно получал партийные издания». – «А что же вы с ними делали? Распространяли?» Он засмеялся: «Конечно, нет, по моему положению это было невозможно».

В Вене в то время проживал Троцкий. Он держался в стороне, не был любим в колонии и от времени до времени выступал публично. В одном из его выступлений меня поразило его грубо-вульгарный марксизм. Это было именно проявление того «исторического фатализма», который нам приписывался нашими противниками.

Летом 1909 года «Лева» переехал в Париж, оставив мне пресс и секретарство в группе содействия, и в августе мы с Серафимой Ивановной тоже перебрались в Париж.

Осень 1909 г., Париж. По сравнению с Веной Париж 1909 года был во всех отношениях большой столицей. В нем находились центральные учреждения партии. Группа содействия была гораздо более обширной и влиятельной. Мы сразу нашли большое количество знакомых лиц и попали в самый центр начинавшейся склоки. Она проникла и в нашу семейную жизнь. Я был ленинцем, а моя жена – впередовой.[161] Расхождения этого рода были очень серьезным препятствием для семейного мира в нашей среде, и нам они испортили немало крови, но мы остались вместе до конца.

На каждом собрании группы содействия остро подымали острые вопросы. Я помню, как на одном из обсуждений известного «лбовского дела»[162] Ленин говорил тоном, каким только он умел говорить: «Думать надо, товарищ Покровский, головой надо думать».

Нам всем был дан совет не оставаться вне европейского рабочего движения, и мы вступили во Французскую социалистическую партию и некоторое время с любопытством посещали ее собрания, митинги, манифестации. Все было не так, как у нас, и решительно все нам не нравилось. Легальное существование для активной политической организации казалось нам

очень вредным. Так оно мне кажется и сейчас, и я не знаю, как можно совместить активность партийного аппарата с тем мертвым грузом, которым неизбежно обрастает легальная партия.

Я, конечно, возобновил мою научную работу.[163] Сорбонна в то время переживала один из самых блестящих периодов. В Париж приезжало много крупных иностранных ученых, и в течение ряда лет я смог повидать и послушать крупнейших представителей мировой науки.[164]

1910 г. В начале 1910 года мы поселились вместе с тов. Землячкой. Ее достоинства хорошо известны, ее невозможный характер также. Недаром на Таммерфорсской конференции Лядов как-то сказал: «Мне ночью снился нос Землячки; значит, будет склока». Так оно и случилось. И в нашем совместном существовании так бы оно и случилось, если бы мы не избегали всяких поводов к столкновению.

Посещение манифестаций было очень поучительно. 18 марта 1910 года мы с женой и Землячкой пошли на Монпарнасское кладбище, где происходила очень малолюдная и спокойная манифестация в память Коммуны. После речей и заключительных возгласов «Vive la Commune» все спокойно стали расходиться. Мы вышли через малые ворота совершенно благополучно, а Землячка отправилась через главные. Каково же было наше изумление несколько минут спустя, когда мы нашли ее дома в постели в избитом, почти изувеченном виде.

Оказалось, что у главных ворот полиция избивала – так, походя, без всякого повода – всех выходящих. И Землячка твердила: «Это невероятно! Я прошла невредимой через столько манифестаций и выступлений в нашей стране и была избита здесь, в цивилизованной Франции». Пока она выздоравливала, Ленин и Надежда Константиновна приходили каждый день ее навещать.

Приближалось 1 мая, в специфических политических условиях. Перед этим имела место весьма дружная железнодорожная и почтово-телеграфная забастовка, которую правительство Briand сломало незаконной мобилизацией рабочих и служащих. Предполагалась большая манифестация, и нам, приехавшим недавно, было интересно сравнить Париж с той колоссальной первомайской манифестацией, в которой за год до этого мы участвовали в Вене.

Манифестация должна была происходить на Больших бульварах, и накануне мы уговорились с Лениным и Надеждой Константиновной встретиться на перекрестке Bonne-Nouvelle – Strasbourg. Землячка осторожно сказала Ленину: «Не думаете ли вы, Владимир Ильич, что при вашей роли в партии вы могли бы себя побересть?» Он засмеялся и ответил: «Наоборот, именно поэтому я должен пройти через все, что проходят другие».

В назначенный час мы с ними встретились и медленно прошли пешком весь путь до Madeleine. Всюду располагались полицейские и солдаты, но манифестантов не было. На широких тротуарах было много публики, больше чем обычно; вероятно, многие, как мы, пришли и, как мы, увидели, что делать собственно нечего. От Madeleine через Concorde мы прошли в Tuileries. Всюду и все было спокойно. Манифестация не состоялась.

Именно в ту весну в русской колонии было много волнения по поводу межпартийного суда: обвинялся в провокации и других неблагоприятных поступках тов. «Виктор», бывший секретарь Московского комитета. Обыкновенно это дело изображается как результат межфракционной склоки. Это неверно. Среди обвинителей «Виктора» было много впередовцев и меньшевиков, но были и чистые ленинцы, как та же Землячка. Председательствовал в суде Богомолец, кажется – социалист-революционер; представителем большевиков был тов. «Марк» (Алексей Иванович Любимов), бывший секретарь Московского комитета. Я был вызван как свидетель.

Перед тем, как идти в Caf? Closerie des Lilas, где происходил суд, Землячка в течение часа старалась убедить меня в провокации «Виктора» и заодно напоминала, сколько неприятностей лично мне доставил этот человек в августе, сентябре и октябре 1906 года. Я внимательно выслушал ее, еще внимательнее продумал весь материал и отправился. Я увидел «Виктора», того самого неприятного «Виктора», сидевшего за отдельным столиком в очень подавленном состоянии. При моем появлении он восторженно встретился и попросил разрешения задать мне несколько вопросов. Вот эти вопросы и мои ответы:

«Виктор»: Скажите, Семен Петрович, часто ли мы встречались в 1906 году?

Я: Очень часто.

«Виктор»: Каковы были наши отношения?

Я: Чрезвычайно скверные.

«Виктор»: Часто ли мы ругались на собраниях комитета и общегородской конференции?

Я: Каждый раз.

«Виктор»: Заметили ли вы, что я лукавил с вами или же я бил прямо и сильно?

Я: Вы били прямо и сильно, и я отвечал вам тем же.

«Виктор»: Считаете ли вы, что я исходил из каких-то посторонних закулисных соображений или из пользы дела, которую я понимал иначе, чем вы?

Я: Несомненно, последнее, но ваше понимание дела я и сейчас отрицаю.

После этого начался допрос. Мне задавали вопросы по поводу всех провалов, свидетелем которых я был. Я отвечал все, что знал. Среди этих провалов не имелось ни одного, который можно было бы приписать «Виктору». После этого мне задали ряд вопросов о Заломове. Я рассказал все, что знал, и «Виктору», уходя, твердо сказал: «До свидания, товарищ».[165] На следующий день я выдержал баталию с Землячкой, которая уже откуда-то знала, что мои показания были для «Виктора» в общем благоприятны. Как известно, судом «Виктор» был оправдан.

К той же эпохе относится мое знакомство с Владимиром Львовичем Бурцевым. В 1909 году он разоблачил Азефа и нескольких других провокаторов, главным образом, у социалистов-революционеров, но было несколько указаний и на социал-демократов. Однако калибр эсеровских и наших провокаторов совершенно различный: там – основатели партии, члены ЦК, а у нас – разная мелочь: секретари и дамы из финансовых комиссий.

Для справок по этим делам наша группа содействия послала меня к Бурцеву, и я сразу наткнулся на прелюбопытную сцену. В его приемной, разделенной занавеской на две половины, Бурцев разговаривал с молодой дамой. Он меня усадил, попросил подождать и ушел с дамой за занавеску. Разговор их был слышан и поразил меня чрезвычайно:

Дама: Вот что вы наделали вашими разоблачениями, Владимир Львович. Мы жили с мужем и девочкой тихо и благополучно; муж получал от департамента полиции свои триста франков; это было скромно, но достаточно. А теперь он в бегах, может быть, его убьют, субсидии кончились, – а что же будет с нами?

Бурцев: В самом деле, положение ужасное, надо будет найти для вас какую-нибудь работу. Я подумаю.

Дама ушла, и я не мог не выразить Бурцеву мое изумление, что он берет на себя заботу о

провокаторских женах, когда столько честных революционеров голодают без работы. «В частности, – сказал я ему, – неужели вы не заметили, какая специально гнусная психология у этой женщины?» Он сконфузился и ответил, что ему больно видеть всякое страдание.

Если не ошибаюсь, именно в это лето в Париже появился Бродский. После того, как его разоблачили, он нигде не чувствовал себя в безопасности. Везде находился кто-нибудь, кто его узнавал или распознавал. Он нашел гуманную идеалистку, которая решила его спасти (есть такой тип женщин), но потребовала от него, чтобы он явился к Бурцеву и без утайки все рассказал. Была образована межпартийная комиссия, куда меня послала наша группа содействия. От с[оциалистов] – р[еволюционеров] присутствовал старый революционер Герман Лопатин, с которым я имел удовольствие познакомиться по этому случаю. Бурцев обязывал меня и других членов комиссии уходить через полчаса после ухода Бродского.

Бродский действительно рассказал все, что мог. Его показания были опубликованы и послужили поводом для бурных прений в Государственной думе.[166] И тут мы узнали, что и «Максим», и «Ирина»[167] были провокаторами. В это время «Максим» находился в Париже, и жена его с большим успехом выступала в больших концертах. После разоблачения они немедленно исчезли. Но что же сказать о сходстве с Иудой?

Лето 1910 г. Перед летним разездом на каникулы в нашей секции Французской социалистической партии мы узнали, что на берегу моря, в Pornic недалеко от Nantes, в полной Вандее (до сих пор самая реакционная область Франции) организуется летняя колония на очень льготных основаниях. Мы решили поехать туда, и к нам примкнула тов. «Савушка», большевичка-впередовка. Нам было очень интересно посмотреть, как путем наглядного показа нового быта французские социалисты будут бороться против вандейских предрассудков.

Приехав, мы встретились с неожиданными вещами: неприязнью к иностранцам у членов и особенно администрации колонии и недобросовестностью в исполнении обещаний: нам троим были обещаны две комнаты, что совершенно естественно, в самой колонии у пляжа, а нас поместили в одной комнате в городе, в трех километрах от колонии, что означало – при трех приемах пищи в день – несколько принудительных прогулок. Вдобавок мы нашли Надежду Константиновну и ее мать («бабушку», как ее звали) забитыми в маленькое проходное помещение при сарае, причем днем члены колонии, не церемонясь, пользовались этой комнатой как раздевальней. Владимира Ильича не было. Он должен был приехать позже. Записаны они были как Ульяновы, а этой фамилии в то время никто не знал.

Я пошел объясняться с дирекцией, получил в ответ грубые издевательства, ответил резкостью и был исключен из колонии вместе с женой, а заодно исключили и «Савушку», которая вообще не произнесла ни звука. Мы убедили сейчас же Надежду Константиновну покинуть колонию, пошли в город и сняли очень хорошие помещения. Дамы взяли на себя заботу о кухне, на меня и на Владимира Ильича, который приехал позже, был возложен рынок и хождение за водой. Водопровода в городе не было, и нужно было с большим каменным сосудом путешествовать к одному из водоразборных кранов. От этих путешествий я всегда старался Ленина избавить. Было решено для сохранения мира и добрых отношений на политические острые темы не разговаривать.

Об этом времени, проведенном в Порнике, Надежда Константиновна рассказала в своей книге «Моя жизнь с Лениным», [168] допустив одну странную ошибку: она меня назвала впередовцем, а между тем перед их отездом из Парижа в Краков она пришла к нам предложить мне от имени Ленина войти в Центральный Комитет. Я отказался, потому что различные причины, в том числе и материальные, не позволяли мне покинуть Париж. Мне бы хотелось многое рассказать об этих двух месяцах, проведенных с Лениным и его семьей, но здесь для этого не место. Точно так же мне приходится отказаться и от даже краткого рассказа о последующих годах.

1912 г. В 1912 году кончился мой подготовительный период, и я приступил к самостоятельной научной работе. Именно в этом году появились мои первые публикации в «Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris»[169] и в московском «Математическом сборнике».[170]

В жизни моей семьи в этом же году произошла большая перемена. Попечитель Московского учебного округа П. А. Некрасов, о котором я уже говорил, грубо уволил в отставку моего отца.[171] Дело в том, что из-за грубости и напористости нового директора реального училища среди учеников вспыхнуло волнение, и один из них дал директору пощечину.[172] Когда в педагогическом совете обсуждался вопрос о виновных, мой отец категорически высказался против их исключения и настаивал на рассмотрении тех причин, которые ее вызвали. Отсюда – решение попечителя.

В этот тяжелый момент на помощь отцу пришли те самые торговые служащие, которыми он занимался как председатель думской комиссии. Их стараниями в Смоленске были учреждены Коммерческие курсы в ведении Министерства финансов, превратившиеся затем в нормальное коммерческое училище. Моему отцу было предложено место преподавателя русского языка, и он его очень охотно принял. Министерство финансов в пику Министерству народного просвещения отца утвердило. Так война между ведомствами бывала часто полезна.

Лето 1914 г. Тем, которые не переживали той эпохи, трудно себе представить накаленность атмосферы в течение месяцев, предшествовавших войне. Перед началом войны 1939 года атмосфера была очень накалена, и то, что мы переживаем сейчас, очень напоминает 1914 и 1939 годы, но есть одна существенная разница. В 1914 году никто не знал, что из себя будет представлять война, сколько времени будет длиться, какие политические и социальные перемены она произведет. Все произошло вслепую. Сейчас многие глаза должны были бы открыться и открылись. Тем не менее, вероятно, глупость правящих лиц и правящих классов так велика, что и сейчас слышатся те же речи и повторяются те же ошибки.

Во-первых, никто не понимал тогда, как многие не понимают и теперь, каким мощным фактором на пути к войне является масса вооружений. Вооружения устаревают очень быстро, и, если они не использованы вовремя, обладающее ими государство рискует оказаться в скверном положении по сравнению с соседями; в течение двух мировых войн мы видели, что победителями оказались именно те, кто были слабее вооружены вначале; правда, для этого было необходимо, чтобы кто-то другой принял на себя и выдержал первые и самые мощные удары противника. Почему-то забыта фраза, сказанная Гитлером одному французскому дипломату: «Мы затратили 90 миллиардов марок на вооружения, и я не могу медлить». История может повториться в третий раз под звуки все той же латинской мудрости: *si vis pacem, para bellum*.[173]

Во-вторых, тогда особенно сильно было доверие к миролюбивым заявлениям и к слову вообще. На Пасхе 1914 года я присутствовал на Международном конгрессе математической философии,[174] и при открытии его немец, итальянец, француз и англичанин, находившиеся в президиуме, взялись за руки и заявили: «Вот она наилучшая гарантия международного мира», – и все почувствовали волнение, я – тоже. А 2-й Интернационал, Базельский конгресс и базельские колокола?[175] А вера в силу и мужество немецкой социал-демократии?

С какой легкостью милитаристы преодолели эти преграды. И какая ярость вспыхнула, когда немцы великолепно мобилизовались и отправились воевать. Я сам ее испытал. И это было начало социал-патриотизмов всюду. В оборонческий лагерь попало очень много социалистов. Напомню, что на этой позиции некоторое время находился Луначарский; Менжинский – очень долго; Плеханов, А. И. Любимов, я сам. Волонтерами во французскую армию пошли очень многие ленинцы, члены группы содействия [РСДРП], например – Бритман.

Отложить расчеты с правительством до конца войны? Ответ был [такой]: если будет победа,

с победившим милитаризмом вы не справитесь. На это следовало: ну, а если победивший милитаризм будет чужой? Обратили ли вы внимание на немецкие цели войны? И еще аргумент – от нутра: если от этой войны страдают все мужики и рабочие, так уж нужно быть со своими мужиками и рабочими. А немецкие жестокости? Ответ Троцкого был, и совершенно неправильный, что немцы ведут себя не хуже других.

Я помню разговор с Михаилом Николаевичем Покровским, который был пораженцем. Он именно стал с нежностью защищать культурную Германию против несправедливых обвинений. Я ему тогда ответил: «Я понимаю логически точку зрения Ленина, который решительно за борьбу против всех империализмов в надежде, что конец войны будет означать их поражение. Я понимаю и людей, которые не разделяют этой надежды и особенно боятся немецкого империализма, потому что империализм этот особенный. Но я не понимаю вас с вашей защитой именно этого империализма».

И на этот счет мое мнение не изменилось: уже во время той войны обнаружились те особенности немецкой военщины, которые ярко проявились в этой войне. Моей несомненной ошибкой было чрезмерное доверие к союзническим целям войны, особенно – к английским. Я, например, не задумывался над вопросом, почему Англия не торопилась объявить, что вступит в войну, и что было бы, если бы она это заявила вовремя. Была ли тут английская медлительность или что-то другое? Как бы там ни было, я стал оборонцем и оставался им до конца; жена моя – тоже.

1915 г. В 1915 году на нас свалилось несчастье. Как я уже говорил, легкие моей жены чрезвычайно пострадали во время скитаний по партийным делам и в тюрьме. У нее открылся скоротечный туберкулез, и в ноябре она скончалась. Это был очень большой удар. Он совпал с очень тяжелым материальным положением.

1916 г. В августе 1916 года я был мобилизован и решил ехать в Россию. У меня была возможность поступить во французскую армию, но после истории с расстрелом русских и других иностранных волонтеров, жаловавшихся на крайне недостойное отношение [к ним] французского командования, я этого не хотел. В русском консульстве мне выдали все необходимые документы, и секретарь Ден сказал: «Вы, конечно, имеете ваши основания быть фанатиком, но в этом разберемся потом. Поезжайте».

Я поехал через Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию. Путешествие продолжалось две недели. После краткого пребывания в запасном авиационном батальоне в Гатчине я был переведен на Офицерские теоретические курсы авиации в Лесном, при Политехническом институте. Мне было 33 года. Моими товарищами были молодые люди от 20 до 24 лет, но я старался ни в чем от них не отставать. Вопросами авиации я много занимался еще в Париже вместе с инженером М. П. Виноградовым, моим старым товарищем по декабрьскому (1905 г.) восстанию и боевой организации.

Мои впечатления от жизни в России и армии резко отличались от того, чего я ожидал. Я сразу увидел то, чему отказывался верить, – что армия совершенно небоеспособна и в стране кризис, во всех отношениях, все более и более сильный. Старые полковники открыто говорили, что «Николашку надо повесить». Дезертирство, легальное и нелегальное, процветало всюду. Продажность администрации, гражданской и военной, особенно военной, была совершенно невероятной, и, главное, все делалось совершенно открыто. В таком состоянии Россия не была в 1908 году, перед моим отъездом.

В Гатчине при аэродроме наделали мелких будок «для хранения материала»: в качестве «хранителей» сидели солдаты, весьма толстопузые, и платили открыто мзду. В Москве поступление на Химический завод Второва стоило кое-что, и нигде не было такого количества богатых людей, как тут, но они все-таки работали. Гигиены труда не было, и через короткое время они гибли от туберкулеза или рака. Хороший способ укрываться от войны! Но те, кто не

могли платить, могли все это наблюдать, наблюдали и мотали на ус.

Я побывал у Николая Ивановича Иорданского, редактора «Современного мира», и мы, оба – оборонцы, долго и в общем безнадежно обсуждали положение. Оборонять – что? Как оборонять то, что валится? Революция в воюющей стране? На это мы оба смотрели идеалистически. Мы считали, что падение царского режима подымет дух у масс, и армия поймет: у нее есть за что воевать. За недели, проведенные в Гатчине, я наблюдал рост революционного настроения, но его не замечалось здесь, среди привилегированной молодежи: среди нас были три «правоведа», [176] один барон, один князь, сын товарища министра, несколько богатых купчиков. Другое дело были студенты Политехнического института, с которыми мы встречались в столовой и аудиториях. Эта молодежь кипела.

1917 г. В марте 1917 года наше обучение должно было закончиться. В начале февраля значительную часть выпуска отправили в Англию для изучения высшего пилотажа. В двадцатых числах февраля начались экзамены, и вдруг остановка: ни экзаменаторов, ни начальства, никого и ничего.

Уезжая в Петроград, курсовой офицер оставил меня за старшего на курсах. Первым моим делом было узнать, что происходит, и я быстро узнал, что в городе началась революция. Нужно было произвести ее и тут. Я вышел к воротам, где стояла огромная толпа солдат и студентов, и обратился к ним с предложением немедленно образовать комитет для управления территорией Лесного. Мне в помощь было избрано несколько студентов, и мы приступили к делу настолько удачно, что к вечеру организованная нами милиция уже занимала ряд постов в районе. Появились, неизвестно откуда, два десятка бесхозных лошадей. Я кликнул клич, нашел 20 кавалеристов, и образовалась конная милиция.

На следующее утро я снесся по телефону с Таврическим дворцом, получил инвеституру [177] и поехал на мотоциклете объезжать воинские части, расположенные в районе. Их было довольно много, по большей части мелких, и всюду беспрекословно принимали новый режим. В одном месте вышла неудача: из самокатного батальона нас обстреляли. По телефону мы вызвали из города пушечный броневик, и после перестрелки батальон сдался.

Впрочем, выражение это неправильно: солдаты были обезоружены своими офицерами и заперты в казарме, и стреляли из пулеметов офицеры. После сдачи, когда их вели в институт среди возбужденной толпы, двое из офицеров, и в том числе командир батальона, были убиты. Меня при этом не было, и все, что я мог сделать, это арестовать виновных. Затем я поехал с докладом в Таврический дворец и вернулся с бумажкой, назначавшей меня временным командующим войсками в Лесном и районе, примыкающем в финляндской границе.

На следующий день вернулись все начальствующие лица и с большим недоумением увидели меня в роли командующего войсками с солдатскими погонами. Косясь на них, один старый генерал довольно добродушно произнес: «А не находите ли вы, что ваша должность вам немного не по чину?» Я ответил ему в тон: «Конечно, нахожу, но кто виноват, что в эти дни вас тут не было?» С возвращением начальства вернулись и экзаменаторы, и я, при общем любопытстве, додерживал оставшиеся экзамены. Я ни в коем случае не претендовал долго оставаться в своей «должности», но некоторое – довольно короткое, впрочем, – время пришлось заняться упорядочением района и города.

Из дел этой эпохи упомяну два. Первое из них относится к сожжению тела Распутина. В начале марта вечером милиционеры, дежурившие около леса, отметили появление саней с грузом. Застрявшие в лесу сани были задержаны, а сидевшие в них лица доставлены в институт. Один из них дал свою фамилию – Купчинский, журналист, – и представил мандат от Временного правительства, коим ему поручалось сжечь труп Распутина, а все начальствующие лица были обязаны оказать ему содействие. Справка по телефону

подтвердила его слова. Труп был сожжен в два приема: сначала – в лесу на костре, облитом бензином, и, когда выяснилось, что сгорело далеко не все, оставшееся было уложено в ящик и сожжено в топке Политехнического института.

Другое дело – обыск у знаменитого Бадмаева, доктора тибетской медицины, друга Распутина и ловкого дельца, владевшего огромными концессиями в Азии. У Бадмаева на его участке оказались очень странные и мощные электрические установки, цели которых не могли понять очень компетентные электромеханики.

Выдержав экзамены, я поехал в отдел личного состава воздушного флота – узнавать, какое мне будет дано назначение. Очень любезный полковник Поляков в ответ на мое желание быть назначенным в эскадрилью ответил: «Вам – тридцать три года, а мы знаем, что после 26 лет рефлексy уже не те, и у нас это – законный предел. Мой милый Фауст, если бы я был Мефистофель, вернул бы вам хоть десять лет жизни, но я – только полковник Поляков. Летать вам не придется, и вы будете очень ценны нам как преподаватель теории на курсах, которые только что кончили. Поверьте, что так будет лучше и для вас, и для дела». Несмотря на мои протесты, так оно и было сделано.[178]

Кроме того, мне пришлось участвовать в испытаниях военно-авиационного материала, приходящего из-за границы. Последнее было крайне необходимо, потому что союзники посылали нам дрянь, и я помню, как лопнул образцовый винт нового типа, присланный известной фирмой Curtis.[179]

В первые же дни после революции я повидал Иорданского, и мы с ним решили дать телеграмму Плеханову, прося его приехать и учредить, вернее – перенести в Россию, социал-демократическую организацию «Единство», уже существовавшую в Париже. Он, я, депутат Бурьянов, литератор Чернышев и кто-то пятый подписали воззвание.[180] Целью организации была борьба на фронте и в тылу за новую революционную Россию.

Я не помню точной даты приезда Плеханова. Мне кажется, что это произошло за две недели до приезда Ленина.[181] Оркестр, который играл на встрече и того и другого, был оркестр самокатного батальона, присланный нами из Лесного. Я никогда раньше не встречал Плеханова, и мне было очень любопытно посмотреть и определить, какого типа и веса этот человек. Я знал его как блестящего писателя и полемиста, знал его огромную эрудицию. Но мы всегда подсмеивались над его поучениями, расточаемыми задним числом в «Дневнике социал-демократа», а в данной обстановке нужно было смотреть вперед, нужно было двигаться и двигать других.

Я был довольно быстро разочарован. Человек имел много достоинств, но характера у него не было. Он любил себя слушать, чего у Ленина не было. Он любовался собой, когда хорошо говорил, – законная слабость, но у Ленина ее не было. Он был очень чувствителен к восхищению других, и первый попавшийся льстец мог повлиять на него и заставить его изменить и мнение, и решение. У Ленина этого не было.

В «Единстве» нас было несколько большевиков, в том числе Любимов, я и примыкавший к нам Иорданский. Но главную массу составляли меньшевики: Дневницкий-Цедербаум, Чернышев, Браиловский и др. Были иконостасные фигуры: Дейч, Вера Засулич. Плеханов настоял на приеме Алексинского, что было неудачно во всех отношениях. Были еще старые деятели рабочего движения 90-х годов – доктор Ярцев-Катин, доктор Васильев, бывший секретарь швейцарских профсоюзов. Был «потемкинец» Фельдман, введенный Плехановым. Было очень много почтенных людей, но... влияния на массы не было никакого с самого начала и до самого конца.

Заседания Центрального Комитета[182] происходили у хворавшего Плеханова в Царском селе. Возражать ему было нельзя: он сейчас же выходил из себя и переходил на личности:

«С тех пор, как у нас завелись большевики-экспроприаторы...», – говорил он, глядя на меня. Или по какому-нибудь мелкому поводу грозил выходом из организации. Мнения его менялись каждые четверть часа.

Вот пример: после июльских манифестаций он задал мне вопрос, что происходит в армии. Я ответил, что не участвует в каком-либо заговоре лишь один на десять офицеров. «Но... в каком же заговоре, большевистском?» – «Нет, – ответил я, – в реакционном». – «Вы слышите, – обратился он к присутствующим, – нужно непременно написать об этом статью, предостеречь демократию от этой опасности». После моего ухода на него наперли, и статья никогда не появилась.

Другой пример: в ту же эпоху он просматривает газеты с грубейшими нападками на Ленина и говорит: «Посмотрите, что пишут. Это возмутительно, этот поток грязи и грубейшей клеветы: ведь все это не так, ведь вы его тоже знали, тов. Костицын, тов. Любимов. Нет, так нельзя, надо об этом написать». На него наседают после нашего ухода, никакой статьи не появляется, и... он идет в следственную комиссию давать свои показания.

В августе 1917 года Н. И. Иорданский был назначен комиссаром Юго-Западного фронта, а я – его помощником. Мы оба еще верили в революционную войну, а действительность оказывалась иная. Наступила для нас и особенно для меня (так как благодаря частым пребываниям Иорданского в Петрограде я исполнял почти все обязанности комиссара) тяжелая и трудная эпоха. Высшее командование в лице главнокомандующего ген. Деникина встретило нас прямым саботажем, и первое мое свидание с ним было очень бурное и закончилось почти разрывом.

В конце августа произошло выступление ген. Корнилова, к которому присоединился Деникин. Я арестовал ген[ералов] Деникина, Маркова и других;^[183] по армиям были арестованы все командующие и их начальники штабов; авторитет командования был совершенно разрушен, и, начиная с этого момента, фронт не существовал. В одном из секретных докладов Керенскому я писал, что так продолжаться не может, что нужно учесть создавшееся положение, демобилизовать значительную часть армии и... поговорить с союзниками.^[184] В то же время за арест генералов нас травил реакционная пресса в Петрограде, и милюковская «Речь»^[185] писала, что нашей деятельности могут позавидовать самые взыскательные большевики. Встревоженный Плеханов посылал нам грозные письма, требуя объяснений.

После октябрьского переворота Иорданский уехал в Петроград и затем в Финляндию, а я поселился в Петрограде.^[186] Плеханов, как известно, имел неожиданный визит Савинкова и резко порвал с ним; этот визит вызвал обыск, после которого Плеханов переехал в санаторию в Финляндии. В «Единстве» от времени до времени происходили собрания остатков ЦК.

Сведения, поступавшие от Плеханова, были противоречивы, однако было ясно, что точка зрения его меняется. Он полагал, что до октября существовало два демократических фронта, но теперь существуют только фронт большевистский и фронт реакционный, и левые, которые присоединятся к последнему, неизбежно будут поглощены им. Поэтому вывод его был, что члены «Единства» ни в коем случае не должны идти с реакцией: «чего не делать вам...». Для меня было ясно, что этот совет ни в коем случае не будет принят теми, которые еще бывали в «Единстве», и я покинул эту организацию, решив при первой возможности войти в советскую работу.

1918 г. Этот случай представился, когда я узнал о присутствии в Ленинграде моего давнего друга по Вене и Парижу М. К. Владимирова. Я повидался с ним, и после переговоров с разными лицами и учреждениями он сказал, что моя просьба уважена и что я буду работать с ним в Москве. Я не помню точно даты, когда он был назначен чрезвычайным уполномоченным по эвакуации «с диктаторскими полномочиями».

Эвакуацию приходилось производить всюду, где угрожала опасность немецко-украинского наступления. Для выполнения этой задачи была образована особая чрезвычайная комиссия по эвакуации – ВСЕРОКОМ[187] – из представителей ведомств: Н[ародного] К[омиссариата] путей сообщения, Н[ародного] К[омиссариата по] Воен[ным делам], В[ысшего] С[овета] Н[ародного] Х[озяйства], [Наркомата] Госконтроля. Я был назначен управляющим делами этой комиссии.[188] Кроме того, Владимиров часто давал мне задания, не относившиеся к ее работе. Я помню три задания, по которым составил докладные записки: 1) о переносе столицы в Нижний Новгород, 2) об Ухтинской нефти[189] и 3) о железной дороге Обь – Сорока. Я совершенно не знаю, для каких учреждений предназначались эти записки и каков был дальнейший ход этих дел.

Проживая в Москве у Кудринской площади, я стал посещать библиотеку Астрономической обсерватории Московского университета, готовя материалы для моих работ по строению звездных систем. Первая из них была напечатана в Париже еще в 1916 году;[190] последующие появились в советских научных журналах.

С началом гражданской войны ВСЕРОКОМ должна была переменить всю систему эвакуации: до этого момента поток направлялся с юго-запада на восток, а теперь пришлось везти все к центру. В теории предполагалось внести в эвакуацию некоторое плановое начало, направляя промышленные предприятия туда, где они легче могут привиться. Специально для этой цели во ВСЕРОКОМ существовали отдел эвакуации промышленности и информационно-статистический подотдел. Однако по ходу военных действий все планы постоянно нарушались. В качестве инспекторов мы имели чрезвычайно энергичных людей, как, например, широко известного тов. Ройзенмана. В общем, наскоро созданный аппарат делал все, что мог, в чрезвычайно трудных условиях.

К нашему общему огорчению, наш чрезвычайный уполномоченный все более и более отходил от этой работы, оставляя ее на ответственности тройки – молодой Громан, я и представитель НКПути П. Ф. Бондарев, наилучший движенец в стране. Дело в том, что Владимиров состоял еще и членом коллегии НКПрода, а к осени 1918 года был назначен членом Реввоенсовета Южного фронта и проводил почти все время на фронте.

1919 г. В начале 1919 года ВСЕРОКОМ реформировали: она превратилась в Транспортно-материальное управление ВСНХ (Трамот) под начальством молодого Громана; я был оставлен в качестве управляющего делами. В это же время меня назначили членом коллегии Научно-технического отдела ВСНХ; эта работа привлекала меня гораздо больше, но из Трамота меня не отпускали.

Вместе с тем я предпринял ряд шагов, чтобы окончательно вернуться на научную работу: моя кандидатура была поставлена на должность преподавателя (доцента) математического анализа на физико-математическом факультете Московского университета; она прошла через совет факультета, и в мае 1919 года я был утвержден Наркомпросом и немедленно приступил к чтению лекций.[191] Однако из Трамота меня все еще не отпускали.

Этим же летом я получил ряд новых назначений: сделался членом Государственного ученого совета (ГУС),[192] членом коллегии научно-популярного отдела Госиздата и, с осени 1919 года, профессором математики в Коммунистическом университете имени Свердлова. Из Трамота меня, наконец, отпустили.

В августе 1919 года я женился на Юлии Ивановне, которая в течение 30 лет была затем моим верным другом и товарищем в очень трудных условиях и которую я имел несчастье потерять в начале 1950 года.

С ноября 1919 года я принял участие в организации двух советских учреждений – формировавшегося в Москве Туркестанского университета, где я был избран профессором

чистой математики, и Астрофизического института.

Работа по Туркестанскому университету была значительной: на месте – в Ташкенте, где он должен был развернуться, не было ничего: ни зданий, ни оборудования. Нужно было добывать в Москве все, что могло понадобиться, в частности, для математиков – библиотеку, вычислительные приспособления, геометрические модели. Кроме того, нужно было выработать учебные планы, которые были бы приспособлены к местным нуждам и не являлись простой копией петроградских и московских. На следующий год только университет тронулся с места. Можно смело сказать, что ни одна капля труда, потраченная на его организацию, не пропала даром.

Астрофизический институт сначала проектировался в виде большой астрофизической обсерватории с сетью подсобных учреждений и совершенно новым оборудованием. Мысль была утопичная, принимая во внимание тяжелое положение в стране, но можно ли нам ставить в вину наши преувеличенные надежды, тем более, что достигнутые результаты оказались весьма значительными. Организационный комитет состоял из проф. В. В. Стратонова (председатель) и четырех членов: проф. Блажко, меня, проф. Михельсона (крупного физика), проф. А. К. Тимирязева.

Для выбора места для обсерватории были организованы экспедиции – в окрестности Одессы, на Кавказ. В Москве, в ожидании лучших времен, собиралась библиотека, закупались легкие инструменты и организовывалась теоретическая научная работа. Через некоторое время выяснилось, что рассчитывать в ближайшее время на постройку новой обсерватории не приходится, и Комитет превратился в Астрофизический институт, существующий и ныне под именем Астрономического института имени П. К. Штернберга. Директором его долгие годы был академик Фесенков.

Я заведовал теоретическим отделом. В институте работали такие крупные ученые, как С. В. Орлов, А. А. Михайлов. В институте получили научную подготовку многочисленные аспиранты, которые в настоящее время занимают руководящее положение в советской науке, – Всехсвятский, Воронцов-Вельяминов, Огородников, Дубошин, Моисеев и многие другие: большинство из них являются моими учениками.

1920 г. В начале 1920 года я был назначен членом коллегии и заместителем директора Книжного центра. Этот центр являлся по существу научным отделом Госиздата, но, кроме того, в нем сосредоточивалась научная литература для снабжения библиотек высших учебных заведений. Директором его и организатором был проф. Магеровский, который, будучи назначен народным комиссаром юстиции Украинской ССР, не хотел терять из вида созданное им учреждение. Коллегия состояла из будущих академиков Н. М. Лукина и В. П. Волгина и М. Н. Покровского, замнаркома. Михаил Николаевич ни разу не пожаловал в коллегию и морщился, когда я ему угрожал приходом коллегии в его кабинет.

Книжный центр обладал ценным имуществом в виде многочисленных рукописей научных книг для издания, прекрасно подобранной библиотеки для авторов и экспертов, большого книжного склада и экспертных комиссий по всем научным дисциплинам, но ничего печатать было нельзя. Я постоянно надоедал Вацлаву Вацлавовичу Воровскому, который заведовал Госиздатом. Я требовал, чтобы за нами закрепили хотя бы маленькую специализированную типографию; я указывал, что высшие учебные заведения не имеют учебников, а научные труды не издаются, и это обескураживает ученых. Он отвечал шутливыми цитатами из итальянских и русских классиков и уговаривал меня потерпеть еще немного. Дать нам типографию было нельзя, потому что это нарушало прерогативы – чьи, я уже не помню.

Нам приходилось ограничиваться заготовкой впрок рукописей. Эта работа, равно как и формирование научных библиотек для вузов и научных учреждений, шла хорошо, пока во главе Госиздата оставался Воровский. После его перехода на дипломатическую работу

заведующим Госиздата сделался Закс, бывший народный комиссар недолговечной Баварской советской республики. Это был тип объединителя, который не допускал ни параллелизма, ни автономии. Он принялся уничтожать все, что не подходило под его гребенку. Он сломал себе шею на попытке закрыть «Всемирную литературу», во главе которой стоял Горький.[193]

Но за неделю до этого события в Книжный центр явились подводы и увезли рукописи в Госиздат, библиотеку и книжный склад – на какие-то склады Госиздата, и было объявлено, что Книжный центр ликвидирован. Все это было проделано без предупреждения, без обсуждения. Значительное количество разумного человеческого труда пропало даром. Многие рукописи затерялись в Госиздате. Год спустя проф. Изгарышев, после ряда требований о возврате своей рукописи, пошел сам искать ее и нашел в какой-то маленькой кладовой в складе продуктов.

И удивительнее всего, что М. Н. Покровский, член нашей коллегии и член коллегии Госиздата, как оказалось, присутствовал на заседании Госиздата, где Закс проводил свою программу, и не обмолвился ни одним словом. Когда Волгин, Лукин и я пришли к нему ругаться, он развел руками и сказал: «А ведь при вашем содействии многие вузы обзавелись хорошими библиотеками». – «А вы находите, что это плохо?» – ответили мы ему. Ответа не было, но в виде компенсации нас назначили членами коллегий соответствующих отделов Госиздата, и Научно-технический отдел ВСНХ назначил меня заведующим Научно-техническим издательством.[194] Но долгое время при мысли о Заксе у Лукина, Волгина и меня сжимались кулаки.

В начале 1920 года в Петрограде состоялся Всероссийский астрономический съезд,[195] на котором я выступал в качестве докладчика по научным и организационным вопросам. С большим интересом и почтением я побывал в Пулковско и посмотрел самоотверженную работу астрономов. Мы, прочие, совместительствовали, но они совместительствовать не могли, бедствовали, голодали, копали свои огороды и делали свое дело. В эту же осень 1920 года в Москве имел место Всероссийский съезд физиков. На нем я тоже выступал с научными докладами.

В один из хороших осенних дней за мной заехали М. Н. Покровский и В. Т. Тер-Оганесов (в то время заведующий научным отделом Наркомпроса) и повезли меня осматривать Аэродинамический институт, построенный в Кучине Д. П. Рябушинским. В этом институте мне пришлось побывать осенью 1906 года по поручению боевой организации вместе с инженером М. П. Виноградовым. Заведовал в 1906 году институтом мой товарищ по университету Б. М. Бубекин, очень талантливый механик и конструктор, впоследствии – приват-доцент. Он погиб во время первой мировой войны на испытании первого бомбомета его конструкции. Все путное, что было сделано в этом институте, было сделано им. Мне было очень интересно посмотреть этот институт через 14 лет.

Когда после революции институт был захвачен анархистами, а потом – какой-то колонией и подвергнулся расхищению, Д. П. Рябушинский явился в Наркомпрос и попросил о национализации. Его желание было удовлетворено, но, будучи назначен директором института, он должен был примириться с присутствием коллегии, состоявшей из проф. Чаплыгина (председатель), С. Л. Бастамова и В. И. Пришлецова. Он испросил заграничную командировку, получил ее, уехал и не вернулся. Его преемником был С. Л. Бастамов.

В институте началась склока, поднятая В. И. Виткевичем. Было расследование, Виткевича удалили, и теперь Покровский и Тер-Оганесов ехали, чтобы посмотреть, наступило ли успокоение умов. Успокоение как будто наступило, но нормальной работы еще не было. Нам пытались было показать работы, выполненные еще при Рябушинском. В магнитном павильоне наскоро расставили неработающие приборы. Все это производило тяжелое впечатление.

Правда, многого требовать было нельзя: руководящий персонал состоял из преподавателей московских вузов, в Москве трамваи не ходили, автобусов не было. На обратном пути зашел разговор о том, чтобы назначить меня членом коллегии института. Через несколько месяцев это назначение состоялось.

С возобновлением занятий в университете на первом же заседании совета факультета были произведены выборы деканата. Выбранными оказались: декан – проф. Стратонов, заместитель – я, секретарь – доцент физик Карчагин.[196] Таким образом я оказался перегружен свыше головы, но у меня было много энергии и жажды созидательной работы.

Я забыл упомянуть, что еще летом 1919 года начал математическую работу для комиссии по Курской магнитной аномалии, а летом 1920 года стал членом этой комиссии, и с осени 1920 года мне пришлось отдавать ей очень много труда и времени. История этой комиссии вместе с достигнутыми ею результатами была рассказана мной в книжке «Курская магнитная аномалия», опубликованной Госиздатом в 1923 году, и в статьях, напечатанных в журнале «Печать и революция».[197]

Здесь я только скажу вкратце, что профессор геофизики Московского университета Э. Е. Лейст, посвятивший ряд лет на изучение этой академии, уехал в 1918 году в Германию лечиться, там умер, а его рукопись попала в руки немецких дельцов. Отсюда – появление в Москве немецких капиталистов с предложением взять в концессию область аномалии и образование советской комиссии для спешного изучения этой области. Отсюда – путями, которые для меня, по крайней мере, остались до сих пор совершенно неясными, возникновение всяких препятствий нормальной работе комиссии.

В комиссию входили И. М. Губкин (в будущем – академик), акад. П. П. Лазарев, А. Д. Архангельский (в будущем – академик), я, инженер Гиммельфарб и многие другие. Я заведовал магнитным отделом комиссии и вычислил точку, где надлежало производить бурение, и глубину, на которой будут найдены магнитные массы.[198] Вычисления были подтверждены бурением. Замечу при этом, что аналогичные попытки Лейста в свое время не удались из-за крайне примитивных методов, которыми он пользовался. За свою работу комиссия получила орден Красного Знамени, и всем нам был присвоен титул героев труда.[199]

Будучи вполне согласен с Климентом Аркадьевичем Тимирязевым, что наши высшие учебные заведения, даже университеты, не дают достаточных возможностей для научной работы и что, с другой стороны, способность к научному творчеству далеко не всегда совпадает со способностью к преподаванию, я был сторонником развития широкой сети научно-исследовательских институтов как при вузах, так и независимо от них. С большим трудом мне удалось в 1920 году уговорить моих коллег математиков возбудить вопрос об организации Математического института.

Я составил докладную записку, которая после бесчисленных обсуждений и переделок была подана в Государственный ученый совет и получила одобрение. За институтом было закреплено помещение на Высших женских курсах (2-й Университет[200]) вместе с библиотекой и геометрическим кабинетом, но тяжелые бытовые условия, отсутствие сообщений, отопления не дали возможности развиваться этому институту.[201]

1921 г. Приблизительно в ту же эпоху, быть может в начале 1921 года, Мария Натановна Фалькнер-Смит вместе с Аркадием Климентьевичем Тимирязевым предложила мне принять участие в организации Института научной методологии. Задачей этого института был пересмотр методов научного исследования с точки зрения диалектического материализма. Предполагалось участие в этой работе крупнейших партийных теоретиков и наилучших ученых-специалистов. Нам удалось было привлечь действительно крупные научные силы, но другая сторона не явилась на свидание.

Директором института был Анатолий Васильевич Луначарский, а его заместителями последовательно побывали М. Н. Смит, доктор Зандер (впоследствии – полпред в Литве), Шатуновский (коммунист, доктор математики Страсбургского университета), я, А. К. Тимирязев. Добраться до Луначарского не было никакой возможности. У института не было никакого помещения, и секции и пленумы собирались в случайно свободных аудиториях в вузах и даже на частных квартирах. Все-таки удалось выполнить часть программы, относившуюся к статистическому методу, и на эту тему был опубликован очень интересный сборник.[202] При одном из очередных пересмотров сети учреждений Наркомпроса институт был передан Социалистической академии.

В эту же эпоху я был действительным членом Института научной философии при Государственном Московском университете. История возникновения этого института связана с пересмотром профессуры, выполненным после Октябрьской революции. На факультет общественных наук, который возник из соединения юридического и историко-филологического факультетов, не было допущено значительное число профессоров. Исходя из мысли, что лучше как-нибудь их использовать, чем подвергнуть голодной смерти, Наркомпрос учредил ряд научно-исследовательских институтов, в том числе и Институт научной философии. В его действительные члены попали, с одной стороны, философы-идеалисты, с другой – ученые по разным дисциплинам – марксисты. В качестве такового попал туда и я. Кроме того, в институт было введено значительное число молодых марксистов в надежде, что они здесь, в прениях с идеалистами, отшлифуются.

Результат оказался чрезвычайно курьезным. В числе действительных членов оказался проф. Г. И. Челпанов, психолог-идеалист, создатель психологической лаборатории при МГУ, блестящий оратор, обладающий прекрасной памятью, огромной эрудицией и быстротой соображения. Когда его уволили как идеалиста из профессоров, ему рекомендовали ознакомиться с марксизмом. Он уселся за книги, за старые журналы, даже за газеты; перечитал все, что написали Маркс, Энгельс, их переписку, Плеханова, Ленина, ознакомился с авторами меньшего калибра и стал участвовать в прениях в Институте научной философии. И вот разговор, при котором я присутствовал в кабинете у М. Н. Покровского:

Делегация молодых: Тов. Покровский, уберите из института Челпанова.

Покровский: Почему? Он ведет себя нелояльно?

Делегация: Не в этом дело, он не дает нам раскрыть рта.

Покровский: Как так? Разве он председательствует?

Делегация: Конечно, нет, но как только кто-либо из нас выскажется, он вытаскивает карточки и говорит: «Зародыш вашей мысли уже существовал у Дюринга, и вот возражение Энгельса Дюрингу и вам». Или: «Вы – очень хороший дицгенист, но ведь вы знаете, что книги Дицгена – это поэзия, а не марксизм; ни один настоящий марксист не относился к ним серьезно».

Покровский: Ах, вот что. Знаете, товарищи, если вас послали в этот институт, так это для работы. Беритесь и вы за книги; ручаюсь, что скоро вы будете бить Челпанова.

Делегация: Тов. Покровский, войдите и в наше положение: ведь Челпанову больше делать нечего, а мы постоянно в бегах по разным спешным кампаниям.

Материальное положение населения было чрезвычайно тяжелым. В нашем нетопленном помещении и в нетопленных лабораториях и аудиториях моя жена получила злейший суставный ревматизм, испортивший ей сердце и закончившийся ее недавней преждевременной смертью. Академический паек, который выдавался ученым, подвергался сокращениям, изменениям, что вызывало недовольство и жалобы. В Петрограде мясо было заменено селедками, сахар тоже, масло тоже, и так как нельзя выдавать слишком много

селенок, то вес был убавлен. Вдобавок эта рыба выдавалась в червивом виде («прыгунки», как их называли приказчики), и однажды, получив главным образом «прыгунков», я послал по порции М. Н. Покровскому и Н. А. Семашко.

В начале апреля 1921 года меня вызывает М. Н. Покровский и сообщает мне, что я еду в Петроград как представитель Наркомпроса в междуведомственной комиссии, которая должна изучить на месте действительно вопиющее положение в Петрограде. При этом он прибавляет: «Вы понимаете, конечно, чего мы хотим, посылая вас; для достижения обратного результата мы послали бы кое-кого другого. А вы еще нас обвиняете, что мы мало заботимся об ученых». Я немедленно выехал.

В вагоне я оказался с представителями Наркомпрода Вундерлихом и Траубенбергом. Я думал, что мне придется их убеждать, но они сами были преисполнены наилучших намерений. В Петрограде мы отправились в Дом ученых, и к нам немедленно пришли Максим Горький и академик Ферсман. Заседание президиума Петросовета с нашим участием состоялось на следующий день. От президиума давал объяснения некий Авдеев, который выразил сомнение в необходимости кормить ученых и затем прибавил: «Ну что ж, раз на этом настаивают, мы молодых покормим, а старых нам не надо». Это был довольно молодой человек. Я на него насел так, что другие уже больше им не занимались, и президиум решил восстановить академические пайки в нормальном виде, но потребовал, чтобы наша комиссия вместе с Горьким, Ферсманом и представителем президиума пересмотрела списки получающих паек. Это нас задержало еще на два дня.

Кроме того, мы произвели быструю ревизию Дома ученых, которым под надзором Горького управлял знаменитый Родэ, и шутники называли этот дом «родэвспомогательным учреждением». Злоупотреблений мы не обнаружили или же они были очень хорошо запрятаны. На крыльце Дома ученых меня встретила группа лиц, во главе которых находились профессора Тамаркин и Безикович, вскоре перешедшие через границу и устроившиеся в англосаксонских странах. Они заявили мне: «Мы прочли в газетах о вашем приезде и торопимся заявить вам, что мы не верим ни вам, ни тем, кто вас послал; нам не нужны пайки, нам не нужен ваш Дом ученых, нам не нужно ничего из того, что от вас исходит». Вернувшись в Москву, я представил коллегии Наркомпроса очень обширный доклад о мерах по улучшению быта ученых. Судьба его мне неизвестна.

Здесь нужно настойчиво подчеркнуть, что с началом НЭПа положение ученых и вузов чрезвычайно ухудшилось. Были введены червонцы, твердая валюта, и стали появляться магазины, где цены исчислялись в твердой валюте. Многие стороны хозяйственной жизни страны стали переходить на хозяйственный расчет, тоже в твердой валюте, но жалованье нам выплачивалось в падающих рублях, и бюджет вузов и научных учреждений отпускался в них же. Для покупки самых обыкновенных вещей, например – пачки спичек, нужно было испрашивать разрешение Наркомпроса, визу хозяйственного отдела Наркомпроса, разрешение соответствующего органа ВСНХ и указание, в каком магазине и на какой день назначена явка за товаром. Эти хождения занимали целый рабочий день, и учреждения должны были содержать специальных «толкачей» для беготни по данным делам.

Как раз в эту зиму 1921 года мы строили в Кучине сейсмическую станцию. Она была нужна до зарезу, но кредитов на нее не дали, потому что государственный Комитет государственных сооружений, возглавляемый Павловичем, запретил до выработки плана всякое строительство. Наше сооружение было очень маленькое, и его можно было свободно разрешить, но разрешения мы не добились. Коллегия института решила отдавать на постройку жалованье, полагавшееся членам коллегии, и из месяца в месяц мы расписывались в ведомостях и оставляли деньги у кассира. Когда бывала нехватка, я шел в Академический центр, и там новый начальник Главнауки Иван Иванович Гливенко изыскивал способы дать нам [возможность] довести дело до конца. Оно было доведено до конца и на новом павильоне красовалась цифра: «1921». Она была очень красноречива.

Положение в университете было тяжело и морально и материально. После Октябрьской революции М. Н. Покровский опубликовал декрет о допусшении в вузы и без экзамена всех молодых людей старше 16 лет, какова бы ни была их подготовка. Аудитории и лаборатории были переполнены молодежью, которая хотела учиться, но не располагала для этого необходимыми данными, а мы не располагали никакими возможностями придти ей на помощь: у нас не было ни материалов, ни кредитов, ни помещений. Учтя это, М. Н. Покровский учредил рабочие факультеты, своего рода подготовительные курсы для рабочих, и посадил их в переполненном университете, не произведя никакого распределения помещений и предоставив рабочему факультету возможность в явочном порядке занимать любые помещения. Получились бессмысленные и бесчисленные конфликты, которых легко можно было бы избежать.

Несколько раз в качестве заместителя декана физико-математического факультета я приходил к М. Н. Покровскому и говорил ему: «Ни я и никто не понимает, чего вы хотите. В конце концов, скажите, считаете ли вы, что университет – советское учреждение, что я в качестве замдекана принадлежу к советской администрации, что работа, которая ведется у нас на факультете, – советская не менее, чем всякая другая. Возьмите в руки план зданий университета и скажите твердо: это – тем, а это – этим. Все пожмутся, и конфликты прекратятся, а то ведь каждый день во время лекций наших студентов и профессоров выгоняют из аудиторий». Он хмурился и отвечал: «Хорошо, я все скажу тов. Звегинцеву». И все оставалось по-прежнему.

В М. Н. Покровском, как это ни странно, были несомненно элементы спецеедства и даже профессоредства, хотя сам он принадлежал к ученой касте. В одной из наших парижских партийных газет в междуреволюционные годы он поместил статью о русских университетских профессорах, где обвинял их в том, что, защитив «списанные у немцев» диссертации, они больше ничего не делают до конца жизни. Статья не была подписана, но принадлежала ему; я это знаю, потому что основательно с ним на этот счет поругался. Я думаю, что сейчас на этот счет спорить не приходится: русская наука существовала. Он же был очень удивлен, когда молодые профессора на общих перевыборах выбрали почти всех старых. «Я не думал, что в молодежи так сильно рабское чувство», – сказал он. Я ответил ему тогда, что это не рабство, а добросовестность.

Недостатком его было рабство перед молодежью. Он боялся быть обвиненным в устарелости, в отсталости и соглашался на самые нелепые предложения. У него была хорошая черта – отсутствие злопамятности и мстительности. Я сужу по себе: вряд ли был еще другой человек, который говорил ему столько неприятных вещей, как я, и, однако, больших неприятностей я от него не имел.

Положение в университете и других вузах становилось катастрофично из-за состояния неотопливаемых и просыревших помещений. Все разрушалось, потолки проваливались. В одной из клиник эконома провалился из второго этажа в первый, и в Наркомпросе кто-то сказал, что провалился тот, кому следовало. Это было неверно. Эконом, как и директор клиники, не располагал никакими кредитами и никакими возможностями ремонта. В лабораториях не было реактивов, животных для диссекций, [203] инструментов и т. д. Университетский персонал старался всеми способами добыть недостающее: давали свои деньги, отправлялись в далекие поездки; это была капля в море.

Положение студенчества было ужасное: ни жилищ, ни питания, ни учебников. Один пример из тысячи: мой племянник, юный студент Межевого института, заболел в нетопленном общежитии и четыре дня ждал вызванного врача института. Врач не явился: мальчик дотащился до меня, и я поместил его в Госпитальную терапевтическую клинику, где он через два дня умер. В комнате для приезжающих профессоров в одном из зданий Наркомпроса не было стекол. Астроном Неуймин заболел там тифом; к счастью для него, М. Н. Смит-Фалькнер поместила его в больницу, и он выздоровел. Профессор Николай

Митрофанович Крылов, будущий академик, заболел там же воспалением легких; я перевез его к себе, и он выздоровел.

Один раз я встретил на Мясницкой профессора Власова (математика), который тащил на плечах мешок. На мой вопрос, что он тащит, он ответил: «Смерть мою тащу: в Институте путей сообщения выдали картошку, и я тащу ее к себе в Замоскворечье; а вы ведь знаете, в каком состоянии мое сердце». Через полгода мы хоронили его. По этому поводу М. Н. Покровский сказал: «Нас обвиняют в новом способе убийства – путем раздачи продовольствия». Фраза недостойная: речь шла о гораздо более серьезных вещах, о будущем нашей страны, о будущем нашей культуры и о бережном отношении к ценнейшему человеческому материалу.

С НЭПом оживилась издательская деятельность. Проф. Архангельский, акад. Лазарев и я, сблизившиеся нашей общей работой по Курской магнитной аномалии, решили под нашей общей редакцией, с присоединением к нам проф. Л. А. Тарасевича и проф. Н. К. Кольцова, в будущем академика, издавать две серии книг – «Современные проблемы естествознания» и «Классики естествознания». Одно частное издательство – «Архимед» – предложило нам свои услуги. Тогда Отто Юльевич Шмидт, ставший к этому времени заведующим Госиздата, заявил, что он не допустит этого, и мы пятеро стали редакторами этих двух серий в Госиздате. Самотеклом на нас же легло и редактирование всей научной литературы, выпускавшейся Госиздатом. Мы выпустили значительное количество чрезвычайно полезных книжек.

Другим заданием, которое нам пришлось выполнить, был пересмотр сети научных журналов. Это задание исходило от Госиздата и Академического центра Наркомпроса. Нужно было обеспечить возможность для наших ученых печатать их научные работы. Напомню, что, начиная с 1917 года, эта возможность перестала существовать. Воскрешать автоматически все журналы, которые существовали до 1917 года, было бы бессмысленно и невозможно. Нужно было принять во внимание огромный сдвиг, новые вузы и научные учреждения, местные нужды, иными словами – ввести плановое начало. Вместе с тем нужно было опереться на наличные силы, на здоровые традиции. Задача была очень сложная, и данное нами решение далеко не было безошибочным, но оно оказалось жизненным и здоровым, и ныне существующая сеть научных журналов является здоровым развитием нашей [работы].

И к этой же эпохе относится создание научно-исследовательских институтов при физико-математическом факультете московского университета. Мы разработали проект этой сети осенью 1921 года, и с начала 1922 года институты и их Ассоциация приступили к работе.[204] В частности, Институт математики и механики, особенно мне дорогой и близкий, выполнил колоссальную работу, результаты которой видны теперь. Достаточно сказать, что академики Лаврентьев, Келдыш, Колмогоров, Петровский и очень много профессоров вузов являются питомцами этого института. Это будущее увидели мы тогда, в 1921 году, расхаживая по Москве по бесчисленным заседаниям, составляя докладные записки, настаивая, убеждая, наблюдая, чтобы сократительные операции не повредили нашим детищам.

После поездки в Петроград на юбилей великого математика П. Л. Чебышева я провел лето в Кучине, где происходило реформирование Аэродинамического института в Геофизический. В самом деле, для выполнения аэродинамических исследований оборудование института не годилось, особенно в сравнении с колоссальным ЦАГИ, но его можно было использовать для выполнения метеорологических исследований, изучения аппаратуры и т. д. Кроме того, в институте уже возникли новые отделения – магнитное, сейсмическое, ветряковое (совместно с ЦАГИ), гидродинамическое; предвиделось изучение атмосферного электричества. Было совершенно естественно перестроить всю работу института в новых направлениях.

При возобновлении занятий в университете проф. Стратонов и я были переизбраны

соответственно деканом и помощником декана. Для факультета сразу же обнаружилась невозможность продолжать работу нормальным образом. Все обращения к Наркомпросу оказывались бесполезными. М. Н. Покровский иронически отвечал: «Да, конечно, мы очень обидели профессуру», – как будто дело было в обидах профессуры.

К Анатолию Васильевичу Луначарскому было невозможно попасть. Я помню, как с директором Пулковской обсерватории А. А. Ивановым мы, по срочному делу, три часа ждали приема у А. В. Луначарского, и перед нами был немедленно впущен только что пришедший чтец-декламатор Сережников, который должен был исполнить перед Анатолием Васильевичем его поэмы, а после Сережникова Луначарский немедленно уехал. Между тем А. А. Иванов приехал специально из Петрограда, чтобы разрешить несколько важных дел, где именно нужен был нарком, а не его заместитель.[205]

Нам могли сказать (и говорили), что страна в тяжелом положении, что голод на Волге – колоссальное бедствие, требующее колоссальных усилий; это было верно, но ведь нашего мнения никогда по этим вопросам не спрашивали, и нас к работе в этом направлении никогда не призывали и не допускали; у нас был свой участок работы, где положение было катастрофическое. Мы должны были кричать, и мы кричали. К нашему крику никто не отнесся со вниманием, и в Совнаркоме при мне и других представителях профессуры Луначарский оправдывался тем, что, зная тяжелое положение государства, он не рисковал поднимать вопрос о вузах. На это он получил правильный ответ: «Ваше дело было представить нам все ваши нужды, как они есть, не урезая их, а наше дело в Совнаркоме было бы урезать, если необходимо». Эта была правильная государственная точка зрения, то, чего не хватало тогдашнему Наркомпросу.[206]

В России

(1918–1921)

Мой французский язык не удовлетворяет меня: страничка на каждый день едва достаточна для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье, моя дорогая и верная спутница трудных дней; мы с тобой сумели пронести сквозь тридцать лет совместной жизни нашу любовь нетронутой и незапятнанной.

К тебе обращаются все мои мысли, с тобой и о тебе мне хотелось бы говорить, как мы уже говорили в последние недели твоей жизни, во время ночных бдений, когда ты боялась засыпать, а я боялся оставить тебя одну. Были ночи, когда воспоминания наши шли с момента первой встречи, а в другие ночи мы говорили о настоящем, о счастье, которое остро чувствовали, о счастье быть еще вместе и о будущем, так как и ты, и я еще надеялись на будущее. И в ночь на злосчастное 13 января ты говорила: «О, как бы мне хотелось еще побыть с тобой, еще почувствовать твою любовь, и чтобы ты чувствовал, как я люблю тебя, как хочу остаться с тобой; если бы это оказалось возможно...»

И теперь я хочу собрать все мои воспоминания о тебе. Говорить мне не с кем. Детали, которые мне близки и дороги, в других вызовут только скуку, а в других, даже в хороших друзьях, – недоброжелательство, так как человеческая натура сложна и противоречий в ней много.

Вернуться нужно к маю 1918 года, хотя я в это время еще не знал тебя. Я приехал из Петрограда в Москву, в город, с которым в предыдущие годы был сильно связан и который очень любил. И вот, я почувствовал себя чужим. Старых друзей не оставалось; город

встречал меня хмуро и чуждо. И вечером, после дня хождений, я почувствовал себя грустно. Наполовину в шутку, наполовину серьезно решил погадать, как гадают бабы. Только оракула Мартына Задека у меня не было, и я взял план Москвы, взял хлебный шарик и сказал себе: «С той улицы, на которую упадет шарик, придет ко мне счастье». И шарик упал, к моему удивлению, на Архангельский переулок, в котором у меня никого не было и где я никогда не бывал.[207]

Где и когда я встретил тебя впервые? Твоего отца я встретил раньше, чем тебя. Это было в конце лета 1918 года. Мои давние знакомцы по университету, братья Малкины (Абарбанель) оказались моими сослуживцами по Всерокому и даже подчиненными.[208] Кроме них и меня были еще Иван Григорьевич[209] и доктор Трушковский, который когда-то, после демонстрации в декабре 1904 года, перевязал мои раны в больнице на Щипке. Таким образом очень далекое прошлое встретилось с будущим. Иван Григорьевич мне очень понравился, и на мои вопросы о нем хозяева разъяснили, что он потерял недавно жену, очень хорошую и очень красивую женщину, что у него – четверо детей: две взрослые дочери, из коих одна умна и имеет вдумчивый и спокойный характер, а другая красива и взбалмошна, затем – девочка 13 лет и мальчик 16 лет.[210] Этот разговор был моей первой заочной встречей с тобой.

Прошло недели две. Как-то, вылезая из автомобиля во дворе Всерокома, я был остановлен компанией: старший Малкин, еще кто-то и неизвестная мне барышня, с которой меня сейчас же познакомили, и это была ты. Еще через неделю ты пришла ко мне в кабинет – просить о переводе из Экономического отдела в Управление делами, на что я согласился, и здесь, взглянув тебе в глаза, я почувствовал, что это – ты и что ты это знаешь. Однако, по моим тогдашним настроениям, еще не вполне внутренне оправившись от всего пережитого в предыдущие годы, я был очень далек от каких-либо поползновений в сторону романтики, хотя очень ценил хорошую женскую дружбу.

Поэтому шли дни, я часто встречал тебя в деловых помещениях, смутно чувствовал, что во мне зреет что-то, и мне казалось, что есть ток обратной симпатии, но никакой инициативы не проявлял. Так продолжалось до октябрьской годовщины. Это был день 9 ноября, который приходился между памятными и горькими для меня датами 8 и 10 ноября. Был праздник и концерт и бал во Всерокоме, и я должен был играть роль хозяина. Как это со мной часто бывает на общественных празднествах, мое горькое настроение шло, углубляясь, стало невыносимо, и я ушел в свой полуосвященный кабинет, сел в кресло и отдался своим думам и воспоминаниям.

И вдруг я почувствовал, что не один: ты сидела рядом. Ты посмотрела мне в глаза и тихо сказала: «Вы страдаете? Почему?» – и на этот прямо поставленный вопрос я, с неохотой, но вдруг почувствовав доверие к тебе, все рассказал. Ты выслушала молча, положив твою маленькую родную ручку на мою, и молча сидела около меня. Потом ты ушла танцевать, и я помню вальс, который играли; затем ты ушла домой. Я еще не знал, что это был день твоего рождения.[211]

Через несколько дней после этого я получил через Александра Львовича приглашение к вам на обед; спросил адрес и узнал, что это – Архангельский переулок. Я помню тот обед, как будто он был вчера. Хозяйкой дома являлась твоя неприятная тетушка Марья Григорьевна – жена не менее неприятного Александра Александровича [Гейлига], которого я знал по Всерокому с весьма плохой стороны. Оба были сахар и любезность, которые никоим образом я не мог относить на собственный счет. Сережа, учредитель комсомола, смотрел на меня с любопытством, зная мое революционное прошлое и высокое положение во Всерокоме; его очень разочаровало, что я – не коммунист. Елена Ивановна была в отъезде на юге. Катя хворала и оставалась в постели, и я сделал ей специальный визит. Был Александр Львович. Ты сидела против меня и была очень и по-дружески внимательна.

Монументальность столовой, гостиной и кабинета меня удивили, равно как и продуманный «европейский» комфорт. Иван Григорьевич был очень мил и ласков, совершенно не по образцу своей сестры и шурина. Обед оказался очень хорош и не соответствовал осени 1918 года. Александр Львович предложил странный тост за всеаромовских невест и за первую из них – Юлечку, тост, который заставил меня насторожиться. Через несколько дней я рискнул тебя проводить, и мы с тобой погуляли «кругом», то есть кругом обширного квартала, ограниченного Кривоколенным и Архангельским переулками.

Через неделю после обеда я, как полагается, сделал *visite de digestion*, [212] но был очень сухо встречен теткой, а между тем для того, чтобы иметь возможность говорить с тобой, прогулка «кругом» не представлялась особенно уютным решением. Я предложил мой кабинет, имевший отдельный вход, и ты согласилась. Ни я, ни ты не имели никакого желания использовать это положение «ненадлежащим» образом: нам хотелось ближе, по-человечески, узнать друг друга, подойти друг к другу. И мне и тебе наша начинавшаяся близость была дорога именно своими человеческими сторонами; мне и в голову не приходило использовать твою «неосторожность»; наоборот, твое доверие мне было дорого.

Но не таково оказалось мнение Александра Львовича, который с явным раздражением смотрел на наше сближение. Мне кажется, что он смотрел на тебя как на «*chasse gardée*». [213] И моя конкуренция сначала его удивила (ибо на пожирателя сердец я ни с какой стороны не похож), а потом напугала. Он стал за нами следить и без труда открыл тайну моего кабинета, которую мы и не скрывали особенно. В результате получился донос Ивану Григорьевичу, который поставил тебе прямые вопросы, получил таковые же ответы, хотел было запретить всякие сношения со мной, натолкнулся на решительный, хотя и в мягкой форме, отпор и, видя свое бессилие, сказал: «Ну ладно, пусть от времени до времени он сюда приходит; только чтобы не сидел долго».

Таким образом я стал приходить, сначала редко, потом чаще; потом мы стали выходить вместе в театры и концерты, и тут к концу декабря или началу января 1919 года произошло нечто, отразившееся на всем нашем существовании и вызвавшее нашу теперешнюю разлуку. Ты заболела ревматизмом в самой тяжелой форме. Нужно ли говорить, кто был в этом виноват? Каким образом получилось, что ваш дом плохо отапливался, ясно: это был 1918 год. Но вот каким образом получилось, что тетка со своим семейством имела дополнительное отопление, что комната Ивана Григорьевича отапливалась, но дети мерзли в своих комнатах, – на этот счет мы никогда не были согласны.

Ты, с твоей мягкостью и снисходительностью к отцу, указывала на очень многие обстоятельства, которые вывели его из равновесия и превратили в существо слабое и утратившее способность рассуждать и действовать: [214] во-первых, смерть жены, очень недавняя; во-вторых, конфискация имущества после революции; в-третьих, арест и пребывание в Бутырках в крайне тяжелых условиях; в-четвертых, полная неопределенность и неустойчивость положения, заставлявшие цепляться за каждую возможность продержаться; в-пятых, полное отсутствие привычки к настоящей семейной жизни, так как при его занятости все заботы о семье он передал жене, а Густава Сергеевна передоверила их гувернанткам и экономке.

Может быть. Во всяком случае, я помню, как прибежала озябшая Катя и тревожно ставила вопрос: эгоист ли папа или не эгоист? И я помню, что, когда ты заболела, а болезнь твоя была очень серьезная, ни Иван Григорьевич, ни его сестрица не занимались тобой и были очень рады, что я прихожу после службы, сижу с тобой, кормлю тебя, играю с тобой в карты, разговариваю. Говорили мы с тобой очень много и узнавали друг друга все больше и больше. И все больше и больше я удивлялся, каким образом на такой неподходящей почве мог расцвести такой чудесный цветок. [215]

Однако если наше сближение шло быстро, если между нами почти сразу установилось

полное доверие, то мои отношения с твоей семьей или, наоборот, отношение твоей семьи ко мне имело довольно странный характер. Марья Григорьевна выказывала мне явную враждебность, принимавшую иногда забавные формы: никогда меня не звали ни к чаю, ни к обеду; когда ты бывала в состоянии двигаться, то принимала необходимые меры, но когда лежала, чай подавался только для тебя. Я часто приносил провизию, но лишь один раз меня позвали есть гуся, которого я достал для тебя. Иван Григорьевич не занимался этими вещами, и не ему я приписываю инициативу, но он выказывал мне холодное равнодушие. Обо всем этом не стоило бы говорить, если бы, немного погодя, не образовало на несколько лет фон нашего существования. Так оно продолжалось до весны, и здесь перед нами стал вопрос, как же быть дальше.

Я не помню точно, когда именно возник вопрос о браке и кто из нас поставил его. Мне кажется, что это произошло в конце февраля 1919 года во время разговора о будущем и перспективах. Мы обсудили этот вопрос, и каждый из нас говорил о своих недостатках: ты – о своей избалованности, непривычке к труду и требовательности, я – о нашей разнице возрастов (13–14 лет), о своем характере, о том, как мало я подхожу в роли мужа к блестящей светской барышне, спортивной, танцующей, любящей одеваться, развлекаться. Странно (и это результат очень неправильного воспитания), но я всегда считал себя некрасивым, неспособным нравиться, слишком старым или старомодным, потому что все это внушалось с детства моим отцом, который желал истребить во мне «самоуверенность»; результат получился весьма вредный для меня. Нельзя сказать, чтобы я не видел твоих недостатков, а ты не видела моих, но как только возникла мысль об объединении наших существований, мы оба приняли ее сразу, без всякого сопротивления.

И тут возникла задача – подготовить к этой мысли Ивана Григорьевича: он уже получил с юга письмо от другой дочери с извещением о ее выходе замуж и даже с возмущением показал его мне: «Вот дочери выходят замуж, даже не спросившись родителей, даже не посоветовавшись с ними». И затем, обратившись к тебе, сказал: «Надеюсь, что ты-то будешь немножко разумнее». Как было убедить его, что то, что мы собираемся делать, именно и есть самая разумная вещь в мире? Для того, чтобы сломить его сопротивление, понадобились три недели. Я написал ему письмо и ждал твоего звонка по телефону. Хотя все уже было уговорено, но я сидел в своем кабинете и волновался. И вот твой веселый родной голос: «Идите, вас ждут».

Разговор мой с Иваном Григорьевичем был довольно странным, и оба мы его часто, по разным причинам, вспоминали. Когда я пришел к нему, он сказал: «Ничего не могу поделать. Старался переупрямить Юлечку, но это невозможно. В будущем желаю вам в этом отношении лучших успехов. А впрочем, кто знает? Может быть, это и не будет так плохо. Надеюсь, что вы сделаете мою дочь счастливой». Я ответил: «Благодарю вас за согласие. Гарантировать счастье не могу, хотя постараюсь все сделать для этого». Он взглянул на меня неодобрительно: «Только не надейтесь, чтобы мы могли скоро сыграть свадьбу. Обстоятельства сейчас слишком неблагоприятны. Подождем до начала будущего года». Я рассердился: «Не вижу, какой смысл в этом ожидании. И на какие изменения обстоятельств вы надеетесь? По-моему, чем скорее, тем лучше». – «Ну что же, – сказал он, – тогда давайте перед Рождеством». Я пожал плечами: «Ладно, там увидим». Он говорил впоследствии, что никогда не видел таких сухих и черствых людей, как я.[216]

Прежде чем излагать нашу историю дальше, нужно остановиться на некоторых существенных вопросах и прежде всего на нашем положении. Оба мы работали в Трамоте (Транспортно-материальном отделе ВСНХ) – преемнике Всерокома, и для обоих нас это не было идеалом ни с какой точки зрения. Я занимал там высокое положение, но для меня оно было совершенно временным выходом, навязанным ходом вещей, начиная с моего призыва в 1916 году на военную службу, оторвавшей меня надолго от научной работы. У меня было много возможностей «окопаться» и продолжать спокойно заниматься своим делом, но я не считал это морально допустимым.

Вернувшись в Москву, я старался вернуться в университет. С осени 1918 года я регулярно работал на обсерватории, собирая материал для моей работы о звездных скоплениях, и поставил вопрос перед моими университетскими друзьями об открытии мной курса лекций. Д. Ф. Егоров и С. А. Чаплыгин отнеслись к этому сочувственно, и благодаря им мое желание увенчалось в конце концов успехом.

Неожиданное сопротивление я встретил со стороны Николая Николаевича Лузина. Когда я заговорил с ним об этом, он ответил мне: «Да, конечно, очень хорошо было бы, если вы смогли бы возобновить вашу научную работу. Ведь сам наш народный комиссар Луначарский приглашает интеллигенцию на помощь в борьбе с мраком невежества. Святые слова!..» Я ответил, что можно только радоваться, если призыв будет услышан, и со своей стороны, как наследственный просвещенец, о том только и мечтаю, чтобы отдать все мои силы на помощь власти в этом направлении. И тут вдруг лицо его исказилось яростью, и он заговорил в другом духе: «Как можете вы, бывший офицер, человек, умеющий владеть оружием и обладающий боевым темпераментом, добиваться спокойного места в университете, когда на юге идет борьба за счастье России против безбожников, убийц и обманщиков».

Я весьма холодно сказал ему: «Если таковы ваши политические симпатии, никто не мешает вам сделать то, что вы советуете мне. Тем более, что и во время войны патриотом были вы, а на фронте был я». Сказав это, я повернулся и ушел, не прощаясь. Впоследствии я узнал, что он вел против меня кампанию среди профессоров, говоря правым: «Вот смотрите, ведь это человек, который много лет участвовал в революционной борьбе. Для науки нужны чистые руки, а у него они – в крови». И левым он говорил: «Офицер в царской армии; человек, любящий науку, не лезет в эти дела». Все это не помешало ему, несколькими месяцами позже, когда я был избран факультетом, меня поздравить. Его двойственность, а иногда и тройственность я знал хорошо, но наивно полагал, что наши добрые отношения (с 1902 года!) помешают ему так проявляться по моему адресу.

Итак, к моменту нашего обручения я делал все возможное, чтобы вернуться в университет уже в качестве преподавателя и покинуть ненавистную мне административную работу. Твое положение было аналогично. По окончании гимназии ты хотела заниматься биологией, но твоя семья воспротивилась этому, и согласие было дано лишь на поступление в Коммерческий институт на экономический факультет с тем, чтобы по окончании делать деловую карьеру под руководством родителей.[217] К тому времени, как мы познакомились, ты уже закончила свой институт.

Передо мной лежат твои отметки на экзаменах за четыре года, очень хорошие отметки и по очень интересным предметам. Но никогда и ни в чем не было видно, что ты занималась ими четыре года, в то время как все, касающееся биологии, усваивалось тобой сразу и оставалось в твоём интеллектуальном фонде для повседневного употребления. Очевидно, с твоей экономикой произошло то же, что с моим классическим образованием: древние языки были до того ненавистны мне в гимназии, что после окончания ее вылетели у меня сразу, и я никогда не имел повода об этом жалеть. Итак, в наших разговорах о будущем было твердо решено, что при первой возможности ты займешься своей биологической подготовкой и начнешь научную работу. Эта надежда осуществилась, но далеко не сразу и не скоро.[218]

Нужно вернуться к твоим ревматизмам. Я прочел как раз сегодня в последнем номере «Lettres fran?aises»[219] (№ 304 от 23 марта 1950 г., стр. 5) статью д-ра Baissette об остром суставном ревматизме, которая меня поразила. Она совершенно соответствует тому, что происходило с тобой тридцать один год тому назад. Ревматизму предшествовала ангина, затронув сердце, как это было сразу отмечено доктором Плетневым. И вот оказывается, что ревматизм не есть источник сердечной болезни, а, наоборот, болезнь сердца имеет в качестве внешних проявлений ревматические боли, опухания суставов и т. д. И именно в тот момент нужно было лечить сердце, чтобы не дать образоваться перерождениям, которые уже не поддаются исцелению.

Какое же лечение могло помочь в тот момент? Очень простое, я бы сказал – банальное: массивные дозы натриевого салицилата, который, будучи вовремя принят, являлся бы специфическим средством против перерождения сердца, и затем – покой и строгое наблюдение за состоянием. Вовремя захваченная, болезнь излечима. Нечего и говорить, что твое лечение не шло этим путем. Салицилат принимался, но только пока были ревматические явления; за сердцем никто не наблюдал, и его плохое состояние обнаружилось значительно позже, когда все уже было непоправимо. Что же касается полного покоя, о нем лучше не говорить. Ни обстоятельства, ни твой характер не давали никакой возможности удерживать тебя неподвижно в постели. Да, действительно, то, что произошло, имело свои корни там.[220]

Как ни странно, ты, не находившая впоследствии интереса в приключенческой литературе, во время той болезни слушала с удовольствием «Первых людей на Луне», «Машину времени», «Борьбу миров» и «Когда Спящий проснется» Уэллса и «Затерянный мир» Конан Дойля: профессор Челленджер весьма нравился тебе, и ты даже находила в нем общие черты со мной. Слова «Куруппури, дух дремучих лесов» в моем картавом произношении очень забавляли тебя, и ты заставляла меня повторять их по нескольку раз. Мы читали и Гамсуна, который еще не был гитлеровцем,[221] и «Пан», «Виктория», «Голод», «Загадки и тайны» были нашими друзьями.

Мы прочитали чрезвычайно нежно и тонко написанные повести Лауридса Брууна из индонезийской жизни,[222] и до сих пор я не знаю, какой он был национальности и что еще написал: ни один словарь не дал мне о нем сведений. Мы прочитали несколько романов Райдера Хаггарда, и если ты одобрила «Копи царя Соломона» и «Деву Солнца», то мистическая фантазмагория «Она» («She») с продолжениями оставила тебя совершенно равнодушной. Мотивы вечной разлуки, героических страданий, частые у него, казались тебе натянутыми, неестественными (увы, как естественно приходится мне сейчас все это переживать). Подбор литературы получился, в общем, случайно: все это имелось в комбинированной библиотеке у вас в квартире наряду с очень многими другими книгами, которые мы оба уже читали раньше.

Мы ходили в театры, особенно – в Художественный и его студии, а их было четыре.[223] Я еще буду иметь случай говорить о них, так что сейчас отмечу только то, что мы видели в конце 1918 и начале 1919 годов: Ибсена «Росмерсхольм»,[224] Сологуба «Венок из роз» (так кажется),[225] Рабиндраната Тагора «Король темного покоя»[226] (чрезвычайно неудачная вещь), Метерлинка «Синяя птица»[227] (специально для Кати), Островского «Горячее сердце»,[228] Сен-Жоржа де Буэлье «Король без короны»[229] и т. д. С удовольствием смотрели в Большом театре балеты «Тщетная предосторожность»[230] и «Норвежские танцы» (на музыку Грига)[231] и без всякого удовольствия – оперы «Царь Салтан» и «Золото Рейна»[232] (с этого «золота» даже сбежали). На концертах мы бывали очень часто, и было, на чем бывать.

Для меня после тяжелых последних лет пребывания в Париже и годов, проведенных на войне, все это было внове: никогда раньше мне не приходилось получать театральные и музыкальные впечатления в таком количестве; раньше я ходил в театры редко, только когда был уверен, что действительно получу удовольствие. Я и сейчас считаю, что при такой системе имеешь больше удовольствия, и надолго запоминается, но мне кажется, что в то время пересмотреть много вещей было для меня чрезвычайно полезно.

Нужно сказать, что приходилось мне выходить и с другими лицами. Ты часто дразнила меня, даже очень недавно, моей тогдашней секретаршей Зинаидой Исаевной [Розовской] (Зиночкой, как все ее звали), а в то время у тебя по отношению к ней была некоторая враждебность – и зря. Зиночка была хорошее чистое существо, веселое, живое, смешливое, и она имела несчастье любить меня и не быть любимой. У меня к ней было очень теплое и хорошее чувство, и есть сейчас, но не то, какого ей хотелось. И я считал бы себя последним

человеком, если бы как-нибудь злоупотребил положением. Пока тебя не было, она еще была спокойна и надеялась. Но когда ты появилась, она забеспокоилась и становилась все несчастнее и несчастнее. Александру Львовичу очень хотелось направить меня в эту сторону, и он все время мне толковал: «Ах, какой вы слепой человек; неужели вы не замечаете эту прелестную тургеневскую девушку; это настоящее сокровище, и как она вас любит» И он, приглашая меня иногда в театр, приглашал и Зиночку.

Так мы побывали около Рождества 1919 года на «Похищении из сераля».[233] Был очень холодный зимний день, театр не топлён: артисты мерзли, публика тоже; я сидел нетерпеливо и думал о тебе. После спектакля мы поехали к Амитиным ужинать и согреться (Александр Львович хотел, полагая, что я ищу богатых невест, подсунуть мне и эту, действительно, богатую). В другой раз такая же штука была проделана со сборным концертом в Благородном собрании, где в первый раз я увидел ряд московских знаменитостей: балетного танцора Жукова, декламатора-певца Борисова, комика Кригера и других. А вот с тобой в том же Благородном собрании мы слушали под управлением Купера «Поэму экстаза» Скрябина и Девятую симфонию Бетховена. Последнюю ты не любила, а первая тебе не понравилась; это было одним из наших разногласий.

Вот чего мы не повидали, это – «Осенние скрипки», кажется, Сургучева, в одной из студий Художественного театра.[234] Ты очень хотела пойти; мне не удалось достать билеты, а потом пьеса исчезла из репертуара, и меня долго мучило, что я не смог удовлетворить твоё желание. И еще не нужно забывать «Сверчка на печи» – чудесный диккенсовский спектакль, так хорошо, так уютно и сердечно поставленный Художественным театром.[235] А затем там же «Дочь мадам Анго»[236] с польскими исполнителями: революционная эпоха и клочки Парижа, которого ты еще не знала, а во мне они возбуждали ностальгию. И Камерный театр с «Жирофле-Жирофля»,[237] с Алисой Коонен (прекрасной, но безголосой актрисой), с забавными отклонениями от реализма Художественного театра. И Малый театр со «Старым Гейдельбергом», старой и довольно банальной пьесой, но так хорошо сыгранной и поставленной.[238] Все-таки сколькими радостями мы обязаны нашим театрам![239]

Здесь нужно поместить несколько эпизодов, прежде всего – обыск у вас и арест Ивана Григорьевича. Я уже был женихом, когда это случилось. На улице лежал еще снег и было холодно. Это значит, что дело происходило в марте месяце, не раньше и не позже. Иван Григорьевич и его друзья, такие же старые деловые люди, как и он, развлекались и утешались, собираясь поочередно друг у друга для игры в карты. Игра была тихая, «коммерческая».[240] Ставился самовар, заготавливались бутерброды и, если удавалось достать, сладкое, и, чтобы не бродить по ночам, играли до рассвета тихо, мирно и безобидно. В вашей квартире это происходило в столовой, а мы с тобой в этот день сидели в кабинете Ивана Григорьевича и читали. И вот, часов около десяти вечера, звонок, на который я не обратил внимания, но ты сейчас же насторожилась и сказала, что происходит что-то необычное.

Мы вышли в коридор и увидели, что он полон вооруженными людьми. Человек небольшого роста в штатском, назвавшийся комиссаром чека Бладисом, предъявил приказ об обыске. Обыскали всю квартиру (а в ней было 10 комнат, не считая кухни и служб[241]): открывали все шкафы и сундуки (а их было много), и комиссар говорил солдатам: «Вот посмотрите, как живет буржуазия – сколько серебра, посуды, одежды, белья, и какое белье, и какая посуда, и какая мебель. Имели ли вы об этом понятие раньше? Вот смотрите». В столовой он увидел карты и деньги на столе: «А вот посмотрите, чем они занимаются в наше напряженное время: там, на фронте, – борьба, здесь – холод и голод везде, но не у них. Ваши документы, граждане, да не все, а только те, что тут играли».

Из документов вытекало, что все присутствующие – ответственные советские работники. «Ну, уж это из рук вон, – сказал он с возмущением. – Что за маскарад? Да и не все они тут. Где же еще один, который был в начале обыска?» А этим пропавшим был Александр Александрович

Г[ейлиг], который со свойственной ему «гибкостью» сразу приспособился помогать комиссару при обыске, и после четырех часов совместной работы комиссар уже стал принимать его за члена своего отряда. Обнаружив пропавшего, комиссар покачал головой и сказал: «Ну, теперь игроки – все тут. Одевайтесь, я арестовываю вас». В этот момент раздалось несколько последовательных выпусков газа, что немного нарушило торжественность момента. Их увели.

Я остался до утра, чтобы всех успокаивать, и, как только забрезжил рассвет, стал телефонировать по всем моим влиятельным друзьям. Результат определился довольно скоро: к 10 часам утра все были освобождены, но все начальства получили предписания объявить выговор преступным игрокам. Наш Сергей Владимирович [Громан] объявил выговор Ивану Григорьевичу и Александру Александровичу в такой форме: «Очень жалею, что не участвовал в игре и не присутствовал при обыске». После этого он регулярно приглашался на все последующие «заседания». Все кончилось хорошо, но за ту ночь ты и твое семейство переволновались порядком.

Второй эпизод – встреча с твоим крестным. Это было в конце марта, когда солнце стало согревать так, что на главных улицах снег быстро исчез. Мы с тобой, а тебе к этому времени стало легче, пошли на Кузнецкий мост за покупками, и там встретили Сергея Алексеевича Р[аппепорт], которому ты представила меня как своего жениха. Он взглянул на меня критически и оценивающе и затем сказал: «А я о вас уже слышал. Так это вас Юлечка выбрала? Понимаете ли вы, какой вы счастливец?»

Я взглянул на тебя, на твое милое, весеннее, оживленное личико, и вдруг понял навсегда, что твоя избалованность, требовательность, все, чем тебя наградило воспитание в богатой семье, все это – преходящая труха, что ты – счастье, пришедшее ко мне неожиданно и незаслуженно, и что я должен тебя беречь, чтобы из-за меня твои глаза никогда не плакали, чтобы по моей вине к тебе не приходило самое маленькое огорчение и чтобы во все моменты, счастливые или тяжелые, нашей жизни я всегда был около тебя. Я слишком хорошо знал, насколько все преходяще и что нужно стараться именно в этой жизни дать своим близким максимум радости. И в тот момент я понял, что и ты, может быть, не совсем в этой форме, думаешь так же, как и я.[242]

К апрелю 1919 года стали выясняться мои университетские дела. Совет факультета избрал меня преподавателем по кафедре чистой математики, но, прежде чем приступить к чтению лекций, нужно было еще утверждение в должности Народным комиссариатом просвещения. Пришло и это утверждение. Я не медлил и с начала мая стал читать мой первый университетский курс по теории специальных функций. Слушателей у меня было немного, но они были толковые и постоянные, в числе их – и С. С. Ковнер. Я помню, с каким чувством присутствовал в первый раз на факультетском собрании и с каким уважением смотрел на моих коллег, и нужно сказать, что они заслуживали уважение.

С тех пор я перевидал много научных учреждений и научных деятелей в России и за границей. До моего вступления в преподавательский состав университета у меня бывало много раз критическое отношение к русской науке и русским ученым. В русских газетах и журналах часто утверждали, что русские диссертации списаны с немецких учебников, что профессора, достигнув положения, перестают вести научную работу, что многое делается в угоду власти. Этим согрешил и Михаил Николаевич Покровский в статье о русских университетах в одном из заграничных социал-демократических изданий. Мои грехи зависели, главным образом, от того, что я учился в Сорбонне в самое блестящее время, слушал лекции Poincaré, Picard, Darboux, ученых с мировой репутацией; слушал и многих иностранных гостей, приезжавших в Париж и никогда не доезжавших до Москвы: Lorentz, Arrhenius, Volterra, Mittag-Leffler и т. д. Это ослепляло, и Москва, конечно, была более «провинциальна».

Но со времени моего возвращения в Россию я знакомился с русской наукой и с русскими учеными, сравнивал, и у меня получалась совершенно иная картина. Я убеждался, что, например, наши механики Жуковский и Чаплыгин намного выше их парижских коллег, что работы Ляпунова глубже и точнее работ Poincaré на те же темы, что московская школа по теории функций с Егоровым, Лузиным, Приваловым и Хинчиным не ниже парижской и, во всяком случае, живее и активнее, что наши астрономы и в Пулковско, и в Москве и даже в Ташкенте делают гораздо больше интересной работы, чем все вместе взятые обсерватории некоторых стран Западной Европы. Поэтому, очутившись рядом с геологом Павловым, сравнительным анатомом Мензбиром, зоологом Северцовым, астрономом Стратоновым и моими дорогими математическими учителями-друзьями, я чувствовал, что в моей жизни наступает перелом.

Я помню, как после моей первой лекции отправился к тебе, а ты ждала меня с лаской, с любовью и с чаем; помню, как ты меня спрашивала о мельчайших деталях. Пришел и Иван Григорьевич, и разговор перешел к заграничным поездкам, к Ницце, к Promenade des Anglais.[243] Он вспоминал, как каждое Рождество отряхивался от всех московских дел, брал паспорт, садился в прямой поезд и через два дня видел теплое море, пальмы, прятал шубу и отправлялся гулять в пиджаке. У него все время была надежда (увы, не оправдавшаяся), что еще раз такая поездка окажется возможной. Так мы втроем долго и дружески беседовали.

Погода стояла теплая, и нам казалось, что твое здоровье окончательно поправилось. Боли прекратились, экссудаты[244] рассосались, ты стала выходить, и я тебя сопровождал, когда только это оказывалось возможным. Мы ходили на Сухаревку для хозяйственных закупок по поручениям Марьи Григорьевны. Для меня это было совершенно платоническое занятие, потому что меня по-прежнему не приглашали, но было радостью облегчать тебе эти согу?es.[245] Однако улучшение продолжалось недолго.

В середине первой половины мая Иван Григорьевич повел нас – тебя, меня, Катю и Сережу – в Большой театр на балет. Шел «Щелкунчик».[246] Это был утренник, день – теплый, но в нетопленном и пустом театре было холодно, как в погребе, а ты пошла в легком платье и, конечно, продрогла. И все было неудачно в этот день. После спектакля Иван Григорьевич повел нас в какую-то из влачивших жалкое существование кондитерских – выпить кофе с пирожными. Кофе было бескофейное, безмолочное, безсахарное и холодное, пирожные – не сладкие и отвратительные, и бедный Иван Григорьевич был очень смущен этой неудачей. А к вечеру у тебя были боли, экссудаты, температура и полный возврат болезни в ухудшенном виде.[247]

Снова были врачи, снова лекарства, снова надоевшее тебе сидение дома. Между тем, как это часто бывает, мой большой успех потянул за собой кучу более мелких. М. Н. Покровский вызвал меня и сказал: «Теперь, когда вы стали вполне университетским человеком, мы назначаем вас членом Государственного ученого совета. А по линии Госиздата займитесь-ка, с Тимирязевым и Кривцовым, научно-популярной литературой: нам нужно сделать тут большое усилие». Пролеткульт предложил мне преподавать в высшей школе Пролеткульта[248] математику – и именно математический анализ как наиболее «диалектический» ее отдел. Так, в работе в Трамоте, чтении лекций, участии в заседаниях, заботах о тебе проходило время, и мы вступили в июнь.

10 июня ты сделала тронувший меня сюрприз. Я думал, что ты не знаешь, что это – день моего рождения, но, придя вечером к вам из университета, нашел на столе большой «английский» крендель в виде буквы «В», чудесно выпеченный и очень вкусный, совершенно не соответствующий моменту. Иван Григорьевич и дети ждали меня с чаем. В этот день я впервые почувствовал, что вступаю в семью. За чаем Иван Григорьевич с его обычным тактом дал мне понять, что, поскольку он передоверил хозяйство сестре Марье Григорьевне, ему очень трудно вмешиваться, но ее действия он далеко не во всем одобряет.

К этому же времени относится визит, который мы сделали твоему знакомому семейству доктора Доброва на Пречистенке или на Остоженке и который ты совершенно забыла: и визит, и семейство, и твою подругу. Ты мне объяснила, что это семейство – литературное (это оказалось верно), близкое к Леониду Андрееву (тоже оказалось верно), а одна из дочерей, твоя приятельница, очень симпатичная. Когда мы приехали, из старших никого не было. У твоей приятельницы были ее подруги.

Я сидел, молчал и присматривался. Решительно все мне не нравилось: истерия, снобизм, злословие, декадентство. Я совершенно не мог в тот момент понять, на какой базе основывается твоя с ними дружба. Понял потом, когда некоторое время спустя увидел эту девицу у тебя и когда лучше узнал тебя. Я знал, что, пока Иван Григорьевич располагал своим состоянием, ты получала карманные деньги, достаточные, чтобы прокормить целое семейство, но я не знал, как велика твоя доброта, как щедро раздавала ты деньги и, обратная сторона медали, сколько вокруг тебя было льстецов и паразитов. И с вашим разорением, конечно, все это скоро отпало, в том числе и m-lle Dobroff.[249]

В числе событий июня 1919 года, которые определили наше будущее, нужно упомянуть мой официальный визит заместителю декана проф. Всеволоду Викторовичу Стратонову. Визит ректору М. М. Новикову и декану А. Н. Реформатскому носили чисто казенный характер, но со Всеволодом Викторовичем мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Этому весьма способствовало то, что я был одним из немногих русских астрономов, знакомых с его работами.

Дело в том, что профессором университета Стратонов стал очень недавно, и к нему его астрономические коллеги относились незаслуженно критически. Блажко охотно шептал, что Стратонов провалился на магистерском экзамене в Одессе. Это было верно, но вина была не его, а профессора-механика Занчевского (кстати сказать, отъявленного реакционера), который из своего второстепенного для астрономов-наблюдателей предмета сделал серьезное препятствие, намеренно проваливая астрономов. Это, собственно, является его единственным правом на посмертную славу. Так продолжалось несколько лет, пока профессора астрономии не добились пересмотра программ магистерских экзаменов.

Провалившись, Стратонов оставил мечты об академической карьере и превратился в астронома-наблюдателя, а впоследствии – и директора, на новой Ташкентской астрономической обсерватории, принадлежавшей Военному министерству. В Ташкенте он развернул совершенно исключительную, по размаху и энергии, деятельность. Стратонов опубликовал в течение десяти лет большое количество первоклассных мемуаров по вопросам о строении звездной системы, о деятельности Солнца, о строении некоторых звездных куч, о переменных звездах – по собственным наблюдениям. Эти мемуары печатались на французском языке и быстро доставили ему широкую известность за границей.

Военное ведомство проявляло большой либерализм и давало средства щедрее, чем Народное просвещение.[250] Правда, как-то, при посещении обсерватории военным министром Куропаткиным, обратили внимание на французский язык, и министр сказал Стратонову: «В общем, я ничего не имею против, но все-таки, подумайте, если бы какой-нибудь офицер захотел почитать, что такое вы печатаете, он не мог бы этого сделать из-за языка. Печатайте же что-нибудь и по-русски».[251] Не знаю, как вышел бы Стратонов из этого положения; может быть, он, ссылаясь на это, добился бы новых кредитов, но с ним произошла беда: глаза его не выдержали наблюдательной работы, и ему угрожала слепота. Пришлось бросить обсерваторию и научную деятельность и взять место директора отделения Государственного банка в Твери.[252] Там он пробыл несколько лет и, будучи не в силах расстаться с астрономией, выпустил несколько популярных книжек.[253] Кажется, это было признано не соответствующим достоинству директора банка, и он был принужден покинуть Тверь.

В этот момент Стратонов получил предложение Наместника на Кавказе занять должность правителя канцелярии, иначе говоря – «председателя совета министров» при вице-короле, каковым фактически являлся Воронцов-Дашков. Здесь Стратонов проявил широкую деятельность, стремясь увеличить грамотность, благосостояние, расширить дорожную сеть, улучшить хозяйство. Вместе с тем он продолжал писать и печатать астрономические популярные книги и, в частности, выпустил, с невероятной роскошью, огромную монографию о Солнце.[254] Погубили его либерализм и астрономия, и с уходом Воронцова-Дашкова с Кавказа Стратонову пришлось снова стать директором банка – в Ржеве.[255] Там он выпустил менее роскошную, но солидную монографию о звездной вселенной.[256]

Пришла революция, банки закрылись, но для Стратонова открылся доступ в университет: он поставил свою кандидатуру в профессора астрономии, был избран, стал читать курс общей астрономии, а факультет, почувствовав в нем человека с большим административным опытом, избрал его помощником декана. Профессора астрономии на него косились, распространяли о нем сплетни, – он это знал, и потому ему было вдвойне приятно, когда я сообщил, что в Париже говорят о его работах с уважением. Он сейчас же спросил меня, что я думаю о Пулковской астрофизике. Я ответил, что там ряд почтенных людей сделал много интересных работ, но для современной астрофизики Пулково слишком бедно оборудовано и устарело. «Не правда ли?» – с живостью сказал он и сейчас же показал мне свой проект организации на юге, преимущественно в горах, большой астрофизической обсерватории. Узнав, что я – член Государственного ученого совета, он попросил меня оказать содействие при прохождении этого дела в ГУС, что я ему охотно обещал.[257]

В Государственном издательстве мы, трое – Степан Саввич Кривцов (мой старый товарищ по 1905 году), Аркадий Климентьевич Тимирязев (сын знаменитого ботаника) и я – образовали очень дружную коллегию и занялись пересмотром тех книг, которые можно было бы выпустить без хлопот, а также составлением списка заказов. Работа была большая и интересная, и мы делали ее радостно.

Твое здоровье стало улучшаться, но городской воздух был явно вреден, и Иван Григорьевич решил отправить тебя и Катю на дачу к твоей тетушке Анне Сергеевне Ш., сестре матери. Для нас встал вопрос, как же быть. Мы с тобой пошли к тетушке, и она проявила ко мне (и, следовательно, к нам) гораздо больше симпатии и отзывчивости, чем твои тетки по отцу.

Дача находилась в трех вестах от станции Мамонтовка по Ярославской железной дороге. В нижнем этаже жило семейство фон Гиргенсон, верхний этаж занимала Анна Сергеевна с мужем Константином Леопольдовичем и двумя дочерьми – твоими кузинами и ровесницами. Анна Сергеевна уступила одну комнату тебе и Кате, согласилась кормить, но ей действительно некуда было меня поместить, и притом Иван Григорьевич никогда бы не допустил такого неприличия. Для меня нашли меблированную комнату на одной из дач у некоего спекулянта, впоследствии – нэпмана, Стрелливера, жившего там со своей дамой сердца, очень бойкой особой. Мебели у меня не было никакой и приобрести ее было невозможно. Мы нашли матрац, ты достала металлический кувшин, гвозди и стул, – так создавался для меня элементарный «уют».[258]

Местность и дача были прелестные. Дача находилась в огромном парке в одном из углов лужайки, окруженной аллеей лип, с клумбами с прекрасными цветами и, естественно, огромной елью посередине. От лужайки дорожка шла через огород с фруктовыми деревьями к теннисной площадке, очень запущенной и поросшей травой, а оттуда сеть аллей уходила во все стороны в парк и к отдаленному лесу. Дорожка в другую сторону от лужайки вела к реке Клязьме, которая в этом месте предоставляла много удобных мест для купания и ряд весьма живописных обрывов. Через лес можно было с удовольствием выйти к дачной местности Пушкино, где когда-то семилетним мальчиком я гостил с отцом у друзей.

В другие стороны также шли очень приятные дорожки, и мы ходили гулять, или за покупками,

часто с Катей, реже с тетей Асей и твоими кузинами. Константин Леопольдович, о дурном характере которого мне наговорили много у тебя дома, оказался любезнейшим человеком, весьма неглупым, несмотря на буржуазность до мозга костей. Он никак не мог понять, что происходит, и мы с ним часто спорили, оставаясь всегда в пределах корректности. Тетя Ася была очень ласкова с племянницами и со мной.

По будним дням, после всех моих служб и внеслужебных занятий (к счастью, в университете настали каникулы до сентября), в часа четыре вечера я отправлялся на вокзал, чаще всего в автомобиле и с большим количеством пакетов, кое-как влезал в переполненный поезд, и через сорок минут была Мамонтовка. Немного побряхтывая под грузами, я направлялся по знакомой дорожке к даче и очень часто в каком-нибудь месте дороги встречал тебя с Катей, иногда в сопровождении целой компании молодежи. Дни были длинные, и часы были переведены на три часа, так что темнело поздно, и можно было прекрасно использовать конец дня. К ночи я уходил к себе на дачу, всегда провожаемый тобой и Катей, – ложился и спал до пяти часов; вскакивал, наполнял кувшин холодной водой, вешал его на дерево и обдавался; одевшись, бежал к вам на дачу, быстро выпивал кофе и бежал на вокзал, чтобы не пропустить утренний поезд.

И вот, при таком светском образе жизни, особенно перед лицом тщательно одетого Константина Леопольдовича, встал вопрос о костюме, сколько-нибудь приличном, и о бритве. В городе я брился у парикмахера через день, но как быть на даче, когда остаешься на лишний праздничный день? Бриться обыкновенной бритвой я не умел, а безопасной не было. И вот в одно прекрасное утро ты нашла, что мой подбородок непристобен, нашла где-то бритву и заявила решительным тоном, что ты сама меня побреешь. Что это было?! Я никогда, ни раньше, ни позже, не видел такой ободранной физиономии, и ты, бедненькая моя, была чрезвычайно сконфужена таким результатом, хотя я и говорил тебе, что от твоих родных ручек для меня все хорошо. К моему удивлению и конфузу, вернувшись через сутки на дачу, я получил от тебя «свадебный» подарок – безопасную бритву наилучшего качества с большим количеством запасных лезвий. Эта бритва сопровождала нас всюду и была бы и сейчас со мной, если бы ее не украли немцы в 1944 году.

Обновить костюм было гораздо труднее, а внизу брюки особенно износились. Ты достала обмотки, которые придавали нижней части моих ног более спортивный и приличный вид.

Иван Григорьевич приезжал по праздникам. Он был очень недоволен моим воцарением в Мамонтовке, и тете Асе с дядей Костей стоило большого труда убедить его, что ничего страшного нет, что с общественным мнением все в порядке. Поворчав, он уступал, как, впрочем, это всегда с ним бывало, и даже подарил нам золото на обручальные кольца. Золото это, как ты сказала, было счастливое, и ты заказала кольца. Они и сейчас – тут, и я плачу, глядя на них: мое большое и твое маленькое-маленькое; счастье у нас действительно было.

В связи с кольцами мне очень памятно одно маленькое происшествие, однако для меня чрезвычайно важное. У тебя и тогда была привычка, против которой я всегда возражал, снимать кольца и класть их в какой-нибудь кармашек, когда ты начинала что-нибудь делать. Перед каким-то праздником ты с Катей месила тесто для кренделя, полезла за чем-то в кармашек и обнаружила, что обручальное кольцо исчезло. Мы искали долго, везде и не находили, и я сказал полушутливо-полусерьезно: «Что же делать, надо заказывать новое; это утратилось».

Тогда ты вдруг тяжело задышала, села, и твое родное личико стало жалким и расстроенным, а Катя заговорила: «Не волнуйся, не волнуйся, моя прелесть, не слушай его. Он тебя дразнит, жестоко и нехорошо. Не волнуйся, моя милая, добрая, чуткая, всегда внимательная, всегда заботливая, настоящая мать для меня, Сережи и даже для папы. Не волнуйся, Вава тебя дразнит. Он не знает еще тебя и не знает, как тебе вредно волноваться». И тут вдруг я

понял, что действительно не знаю тебя, хотя и люблю; что каждое Катино слово верно. Все мои разрозненные наблюдения сопоставились, и я увидел, какое счастье для меня, что ты вошла в мою жизнь. И я дал себе слово не волновать тебя, заботиться о тебе всегда, всегда. А кольцо мы нашли: оно закаталось в тесто, и я не помню, кто из нас догадался произвести эту проверку.[259]

В течение этих дачных недель я возобновил еще одно знакомство, также имевшее некоторое значение для будущего. Я имею в виду Петра Петровича Лазарева. Первое знакомство у нас состоялось еще в 1904 году на студенческой скамье в университете. Я был третьекурсником, а он, уже врач, был принят на третий курс, чтобы в течение года подготовиться к государственному экзамену. Меня представили как sujet d'élite[260] №1, что ему не очень понравилось, так как всегда и везде он считал себя первым, и наше знакомство далеко не продвинулось. О его дальнейших успехах я читал в газетах: о том, что он – лучший ученик Лебедева, о его уходе из университета в 1911 году вместе с другими физиками после отставки Лебедева,[261] об организации на собранные по подписке средства Физического института, в котором должны были найти приют все ушедшие из университета физики. С большим удивлением я прочитал в «Русском слове» статью Климента Аркадьевича Тимирязева о ловкости рук Лазарева, который сумел остаться в построенном институте единственным хозяином и не дал места для работы ни одному из своих товарищей.[262]

Вернувшись из заграницы в 1916 году, я, по совету Н. Н. Лузина, повидался с Лазаревым для беседы об одном физическом вопросе, который интересовал в разных аспектах и меня и его. Из свидания, конечно, ничего не вышло. И вот теперь, в 1919 году летом, мне пришлось снова побывать у него для беседы по вопросу о Курской магнитной аномалии, которой интересовался Наркомпрос. На этот раз Петр Петрович был любезнее и даже предложил мне участвовать в математической разработке наблюдений, указав, что именно его интересует, но совершенно отказался от разговоров в ведомственном плане, находя, что от Наркомпроса ничего хорошего ждать нельзя. Действительно, Наркомпрос был беден, а на дверях Физического института были вывески: «Н[ародный] К[омиссариат] по военным делам – Высшая школа по военной маскировке», «ВСНХ – Главное управление горной промышленности – Лаборатория», «Н[ародный] К[омиссариат] здравоохранения – Рентгенологический институт» и т. д. и т. д. Во время этого моего визита Петр Петрович охотно показал мне институт – прекрасно построенное здание, но производимой работы я не увидел. По пути он провел меня мимо решетки из деревянных планок, где на каждом перекрестке была прикреплена проволокой картонная трубочка, и на мой вопрос объяснил, что это – модель кристалла и что каждая трубочка означает молекулу. Во время моего следующего визита он водил по институту представителей Наркомздрава, и тут уже решетка с трубочками оказалась моделью нервной ткани, а картонные трубочки изображали нервные клетки.

Когда я рассказал об этом Тимирязеву, он засмеялся и в свою очередь рассказал мне о том, как Лазарев получил от банкира Марка деньги на рентгенологическую лабораторию. У него не было ни приборов, ни работников, ни работы, но он объехал все московские лаборатории и занял все приборы, какие могли ему дать, якобы для выполнения спешного военного задания. Лазарев расставил приборы в одной из пустовавших зал института и к приезду Марка засадил за приборы своих студентов. Затем, проведя Марка по институту, он усадил его в своей личной лаборатории и приступил к «эффектному» опыту: накалил кварцевую пробирку (тогда – большая новость), бросил ее в ледяную воду и сказал: «Видите, она не лопнула». Пораженный Марк с этим согласился. «Так вот, – продолжал Лазарев, – нам для организации всех работ, которые вы видели, нужно 30 000 рублей». И немедленно их получил. На следующий день он вернул приборы владельцам, а еще через несколько дней открыл в институте, с большой pompой и к общему удивлению, настоящую рентгенологическую лабораторию. Так вот, мне с этим гангстером пришлось работать по разным ведомствам в течение нескольких лет, о чем еще буду говорить.[263]

Тимирязев-сын – физик, ученик Лебедева – оказался очень хорошим товарищем по работе в Госиздате и как-то пригласил меня к себе, и тогда я имел счастье встретиться с его отцом, которого уважала вся Россия, а студенты боготворили. Не мне говорить о его научных заслугах; от ботаники в то время мы, математики, были очень далеки, и мне никогда бы не пришло в голову, что впоследствии я стану специалистом по математической биологии. То, что нас привлекало в Тимирязеве, – это благородная смелость в борьбе против несправедливостей и против преступного режима. Тимирязев никогда не молчал, никогда ничего не замалчивал, и голос его раздавался смело и открыто. Его статьи в «Русских ведомостях» – либеральной, но не революционной газете – были шедеврами искусства сказать то, что нужно, не употребляя громких слов. Он много печатал воспоминаний о заграничных поездках, о встречах с крупными учеными, и каждая его статья была гораздо дальше своего непосредственного сюжета. Недаром демонстрации 5 и 6 декабря 1904 года начались дружеской демонстрацией у дома К. А. Тимирязева и его ответной речью.

Супружеская пара, Климент Аркадьевич и его жена, представляла очень трогательное зрелище, какое для постороннего глаза, вероятно, представляли и мы с тобой, а именно – любви и дружбы, бережно хранимой на протяжении десятков лет, и полной солидарности и взаимной поддержки перед внешним миром. Я был принят чрезвычайно ласково, и мы много говорили о текущем моменте, далеко не во всем оказываясь солидарными, но и не очень расходясь. Главная разница была в оценке университетской профессуры, к которой он относился подозрительно, и не без основания, и главное сходство – в совершенно отрицательном отношении к Академии наук и полном недоверии к ее чиновничьей покорности по отношению к советской власти. «Эти штукари, – говорил он, – рады подоить любую коровку; надеюсь, что власть не поддастся на эту удочку». Я был тем более согласен с ним, что незадолго перед этим обедал у П. П. Лазарева с Алексеем Николаевичем Крыловым и его женой и слышал весьма неаппетитные разговоры обоих академиков. Тем более приятным контрастом для меня являлась эта хорошая семья и этот старый, но не угмонившийся борец.[264]

В июле 1919 года я взял отпуск и совсем поселился в Мамонтовке. Мне вспоминается очень многое, но сразу приурочить к определенным датам я не могу. Вот, например, наша поездка с тобой и Катей в Троице-Сергиевское на рынок. Выехали поездом очень рано при чудной погоде. По всем промежуточным станциям подсаживались едущие туда же – покупатели и продавцы со всякими товарами. Особенно много было баб с грибами и ягодами. Очевидно, леса (а их там много) очень богаты грибами, потому что нигде я не видал такого их обилия и притом наилучших белых и красных маленьких ядерных подосиновиков. В Сергиеве все было пестро и живописно: сама старая лавра с ее варварской росписью; огромный рынок, где все можно купить; очень пестрая публика, где все социальные слои были перемешаны; широкий товарообмен, где проходило всё. Нам было дано обширное задание: приволочь провизии на несколько дней, и мы приволокли. Съездили и весело вернулись.

Помню день рождения Ивана Григорьевича, который праздновался в том году в Мамонтовке. Столы выставили наружу, так как стояла чудная погода. Были приглашены все дачные знакомые: и фон Гиргенсоны, и мой Стрелливер; многие приехали из Москвы. На столе был огромный свадебный крендель; тетя Ася накормила всех прекрасным обедом, завершившимся твоим любимым *Saupe anglaise*;^[265] было много вин и водок. Летали стрекозы и ласточки, и я с большим любопытством изучал человеческую фауну. Ты была весела и ласкова, как всегда, со всеми, но Иван Григорьевич смотрел на меня хмуро. По-видимому, он думал, что твоя блажь скоро пройдет; когда же увидел, что дело серьезно и, в особенности, что я, находясь в отпуске, уже провожу целые дни около тебя, начал опрашивать дам – тетю Асю, старую Гиргенсон – и еще более обеспокоился. Не знаю, что ему наговорили, но он, перед отъездом, заявил тебе, что если дело обстоит так (а что означает это «так», мы так и не узнали), то уж, господа хорошие, потрудитесь обвенчаться.

Мы ответили, что только этого и хотим, и я отправился в Москву, чтобы привести в порядок

наши документы и побывать для справок в отделе записи гражданского состояния (загсе). Заведующий этим отделом дал мне список всех необходимых документов, по которому я все подготовил и явился для предварительной записи. Он нервно взглянул и сказал: «А вот у вас нет того-то и того-то». Я показал ему его же список, и он ответил: «Ну что же, произошли перемены; приходите со всеми этими документами и одним свидетелем».

Через несколько дней являюсь с Александром Львовичем. Дзиковский (так, кажется, была фамилия заведующего) смотрит мои документы и победоносно говорит: «А вот еще не хватает того-то». Тут уже я вскипел: «Послушайте, товарищ, потрудитесь сразу говорить все, что нужно. Я вам – не мячик, чтобы бегать сюда по много раз и всегда без толку». Тогда он начал орать: «Убирайтесь вон и больше не приходите. Как вы смеете говорить так со мной, коммунистом и ответственным работником!». Тут из толпы ожидавших раздался спокойный голос: «Товарищ, потише; я – тоже коммунист и ответственный работник и нахожу ваше поведение возмутительным, и это – не первый раз. Потрудитесь сказать оскорбленному вами товарищу, что нужно сделать, чтобы все было окончательно. А вы, – продолжал он, обращаясь ко мне, – подождите меня немножко, пока я кончу свое дело; мы с вами пройдем кой-куда». Действительно, он с нами прошел в канцелярию народного суда, и там я подал жалобу, записав в качестве свидетелей Александра Львовича и Зенченко (фамилия моего неожиданного заступника).

Повестка из народного суда пришла мне, но в ней значилось, что я вызываюсь как потерпевший по моей жалобе и как обвиняемый по жалобе Дзиковского, который обвинил меня в нарушении тишины и порядка. Состоялся суд; народным судьей оказалась твоя подруга по гимназии Вяземской. Мои свидетели явились и дали свои показания, убийственные для Дзиковского, которому так и не удалось найти ни одного свидетеля. Приговор: я оправдан, а Дзиковскому объявлено общественное порицание с доведением приговора до сведения Моссовета и партийной организации. С этого момента в московских деловых кругах говорили уже о нашем браке как о браке скандальном, а не только неравном. После приговора я снова явился к корректному на этот раз Дзиковскому; все оказалось в порядке, и нам был назначен день бракосочетания: среда 27 августа.

Пока все это происходило, кончился июль и начался август; образ нашей жизни был тот же – только приходилось несколько чаще ездить в Москву и иногда обоим, так как требовалось обсудить и подготовить много вещей для предстоящего торжества. Я вполне был готов удовлетвориться гражданским браком в самой скромной обстановке, но не так смотрела на это твоя семья. Иван Григорьевич требовал церковного брака, и, так как я решительно отказался от православной церемонии, было решено повенчать нас в воскресенье 31 августа по реформатскому обряду. После этого должен состояться go?ter[266] (обед стоил бы слишком дорого) с винами, закусками, пирожными, фруктами и т. д., и т. д. и с большим количеством приглашенных.

После торжества мы с тобой должны были еще вернуться в Мамонтовку и там прожить несколько недель до окончательного переезда в Москву. И здесь встал для нас ряд вопросов, которые мы с тобой решили вполне солидарно, хотя ты и не вполне знала все мои мотивы. Первый вопрос – о материальном моем участии в этом торжестве: оно было просто невозможно. Все мои ресурсы поглощались разъездами и пансионом у тети Аси. Ни покупать что-нибудь, ни участвовать в расходах было для меня невозможно. Я даже не мог прилично одеться, и венчаться приходилось в моем повседневном костюме (военном) плюс тех же обмотках. При этих условиях я решил не приглашать на свадьбу никого со своей стороны, и ты поняла меня и одобрила. В тот момент это могло показаться тебе моей излишней черствостью, потому что ты судила по себе и думала, что если я вхожу в семью, то все, а следовательно, и я сам, будут меня рассматривать как члена семьи. Через несколько недель ты вполне поняла правильность моего решения.

Встал еще вопрос о приглашении моих родителей. Я решил их также не приглашать, а просто

написать им после свадьбы, и этого моего решения ты не поняла, а я почему-то не объяснил тебе оснований ни в то время, ни потом; вероятно, ты, со свойственной тебе деликатностью и тактом, обходила этот вопрос, который, однако, чрезвычайно прост. У меня было некоторое недовольство равнодушием моих родителей к моей судьбе (так мне в то время казалось). Виноват в этом был я сам. Как волновались они, когда на Рождество 1904 года я приехал в Смоленск весь в ранах и бинтах – «героических ранах», как любил, с его романтизмом, выражаться папа. Как волновались они во время восстания в Москве в декабре 1905 года, зная, что я команду боевой дружиной и нахожусь все время в огне; папа с первыми же поездами приехал, разыскал меня и увез в Смоленск. Как волновались они в 1906 году, когда я работал в боевой организации, и в 1907-м, когда уехал в Петербург и был там арестован. Как волновались, приезжая по очереди в Петербург во время полутора лет моего сидения, и как волновалась мама на военном суде.

И когда в 1917 году, проделав Февральскую революцию, я оказался на фронте на очень опасном посту, и об этом писали много раз в газетах, они тоже волновались, но не могли ничего поделать, и не писали, чтобы меня не расстраивать и самим не расстраиваться. Я же, получая много писем отовсюду и ничего не получая от них, принимал это за равнодушие. Так вот этим и было продиктовано мое решение, о чем я не рассказал тебе как следует. Ты считала, что у меня – очень плохие отношения с родителями, и была очень удивлена, когда от них, в ответ на мое письмо, было получено радостное и ласковое, где мама писала: «Хочу во что бы то ни стало и поскорее видеть Юлю; приезжайте к нам, как только сможете».

К августу мой трамотовский отпуск кончился, и я снова вел бродячий образ жизни: утром – в Москве, а к вечеру – в Мамонтовке. Тут нужно упомянуть один эпизод, сильно повлиявший на отношение Марьи Григорьевны ко мне и к тебе. Как-то вошел ко мне в кабинет улыбающийся толстый господин и отрекомендовался как представитель государственного контроля Махлин. «Бывший присяжный поверенный», – добавил он. Затем спросил, не из Смоленска ли я, и, узнав, что – да, стал хвалить моего отца как преподавателя, как общественного деятеля и как честного человека, никогда не кривившего душой. «Мы, – сказал Махлин, – всегда восхищались, когда он, в 1912 году, один выступил в педагогическом совете на защиту учеников, выгоняемых за политику. И ведь он пострадал за это, с достоинством ушел из реального училища, и сейчас же ему нашли еще лучшее положение в коммерческом училище». Затем, остро взглянув на меня, прибавил: «И я вижу, что яблочко недалеко падает от яблоньки».

Я с недоумением слушал эти комплименты. Я привык, что папу всегда хвалили все, его знавшие. Но при чем тут я? Он заметил мое недоумение и сейчас же разъяснил: «Я только что ревизовал хозяйственный подотдел, которым ведает родственник вашей невесты – Александр Александрович Г[ейлиг], и нашел ужасающие безобразия. Я решил было передать дело суду, но, увидев вашу фамилию, зашел, чтобы поглядеть, что за человек. И если бы вы не походили на вашего папашу, то дело пошло бы в суд. Ну, а теперь смотрите...» Я посмотрел и ужаснулся. «Ну что же, – сказал я ему, – не имею ни малейшего желания покрывать Александра Александровича; раз заслужил суд – в суд!» Махлин поморщился: «Видите ли, время-то сейчас уж очень суровое; в нормальное время было бы несколько лет тюрьмы, а сейчас будет “стенка”. Давайте лучше его вызовем; вы его распушите и переведите на должность, где нет искушений». Так мы и сделали.

Александр Александрович пришел, расстилал спереди и сзади свой лисий хвост, начал было спорить, но, будучи взят в тиски, замолк, и тогда заговорил я, как редко говорю, ставя ему на вид всю гнусность его поведения. Вышло так, что Иван Григорьевич заскочил тогда на минуту ко мне в кабинет и сейчас же выскочил обратно, а вечером говорил: «Ну и баню вы задали моему шурину, и поделом. А я вот послушал вас на высоких тонах...» – «Ну и что же? Неприятно?» – «Да уж, не очень».

Покончив с делом, Махлин остался поболтать и затем сказал: «Я не знаю, какова ваша

невеста, но тесть у вас – первый сорт». А Зиночка разъяснила: «И невеста – тоже первый сорт». Я упоминаю этот эпизод, во-первых, для объяснения постоянной враждебности к нам со стороны Александра Александровича и его жены, а затем, чтобы показать, как на наш брак смотрело «общественное мнение». Все знали и помнили, какое у Ивана Григорьевича было состояние и положение в деловом мире; все считали, что я – охотник за приданым и вдобавок удачный охотник. Но этого рода комплименты совершенно мне не нравились. Я и ты знали, что никакого приданого Иван Григорьевич дать не в состоянии, что никакого разговора об этом у нас с ним не было и никогда не будет и что собственный труд поможет нам устроить наши дела. Я знал (а ты не знала), что наилучшее сокровище, которое может дать мне Иван Григорьевич, это – ты сама, и ничего другого мне не нужно.

Но все эти пересуды меня все-таки раздражали, и, заранее настроенный враждебно, я готовился предстать 31 августа перед деловой Москвой.[267]

Так время подошло к 27 августа – нашему гражданскому браку. Мы с тобой вдвоем, самым скромным образом, отправились в загс, чтобы «расписаться» у того же товарища Дзиковского в книге. Он был совершенно спокоен и корректен, прочел нам статьи узаконений, спросил, продолжаем ли мы желать венца, и затем сделал соответствующую запись в регистре и выдал нам бумагу – брачное свидетельство. Если не ошибаюсь, загс находился или на Кузнецком или где-то поблизости. Мы пошли в какое-то кафе на Кузнецком, чуть ли не рядом с Вольфом,[268] и там вдвоем, и очень весело, выпили дрянного кофе с таковыми же песочными пирожными. Затем мы направились в Архангельский переулок, где никто нас не поздравил, так как для всех главной церемонией была та – воскресная.

Пришло и это воскресенье. С утра из Трамонта пришла моя курьерша – вороватая и очень хорошая и преданная нам женщина, чтобы помогать в приготовлениях. К 12 часам, часу венчания, стали сходить гости: их было очень много, и из них я не знал никого, кроме твоего крестного и партнеров Ивана Григорьевича. Пришел пастор – почтенный человек, который спросил меня, желаю ли я службу на русском или немецком языке. Я высказался за русский. Все сосредоточилось в большом салоне. Пришла и ты в светлом весеннем платье и с цветами, но без фаты, шлейфа и fleurs d'orange,[269] и стала рядом со мной.

После молитв и чтения пастор обратился к нам с прочувствованным, простым и, в общем, вполне уместным словом. Затем он спросил нас, желаем ли мы стать мужем и женой, сначала меня, а затем тебя, и ты ответила решительно, определенно и как бы с вызовом. И я опять почувствовал, что в мою жизнь вошло большое и прочное счастье, и решил тщательно, во всех отношениях, на всех путях наших, оберегать его от всех внешних натисков, а прежде всего от нас самих и еще, прежде всего, от себя самого. Об этом я думал, стоя рука об руку с тобой и чувствуя то же, что чувствовала и знала ты, что это «всерьез и надолго», а вовсе не на три месяца, как нам предсказывали.

Все стали подходить и поздравлять нас; были свадебные подарки, среди них – и ценные, но совершенно никуда неприменимые. Наилучший подарок был от Александра Львовича: два абонемена на цикл бетховенских симфоний под управлением Кусевицкого. Затем начались закуска и выпивка. Меня познакомили с рядом лиц, но я запомнил немногих: прежде всего – Мирзу Мухетдинова, как будто прилетевшего на грифоне из стран «тысячи и одной ночи», и его сыновей. Он показал мне свои простреленные уши и рассказал, как бежал из Бухары верхом и как за ним гнались всадники, посланные эмиром, чтобы взять его живым или мертвым; уши ему прострелили, но он все-таки ускакал.[270] Мне очень понравились его сыновья: сдержанный и умный Мирза-Исам, тонкий и чуткий Мирза-Амин.

Познакомили меня и с Аршиновым и, конечно, рассказали анекдот о его юбилее, когда друзья поднесли ему золотой аршин в 15 вершков отпускать товар покупателям и серебряный аршин в 17 вершков принимать товар у оптовиков. Мне он понравился: умный и крепкий старик. Понравился и его сын, который вышел не в отца: получил хорошее образование и

преподавал геологию в Коммерческом институте; после октябрьского переворота передал Наркомпросу небольшую астрономическую обсерваторию, выстроенную на отцовские средства. «Видите, – сказал мне старший Аршинов, – мы, современные купцы, предпочитаем этот путь для замаливания грехов». С младшим Аршиновым мы часто встречались впоследствии в разных научных и правительственных учреждениях. Это был пресимпатичнейший идеалист, совершенно лишенный буржуазно-купеческой закваски.

Познакомился я и с твоим давним поклонником Эмилем, которого все происходившее явно огорчало, но Иван Григорьевич очень ласково угощал его и немножко подбодрил. Часов около четырех тетя Ася посмотрела на часы и сказала: «Ну, дети, собирайтесь; поезд ждать не будет». И мы отправились в Мамонтовку, где нас ждал прекрасный обед с домашними пирожными, пирожками и, конечно, «Soupe Anglaise» – огромными порциями. Конечно, нам уже дали комнату на самой даче, и к Стрелливеру (лейка, гвоздь и матрац) я не вернулся.

Кстати, я сейчас припомнил, что именно напугало Ивана Григорьевича и заставило его ускорить нашу свадьбу. Незадолго до его дня рождения я заболел гриппом в тяжелой форме и остался лежать на своем матраце. Ты прибежала, ужаснулась, и вы с Катей принесли мне лекарства, пищу и несколько улучшили мой «комфорт». Болезнь моя длилась недолго, но ты не раз забегала ко мне одна, и дамы донесли об этом Ивану Григорьевичу.

Когда я появился в Трамоте, Сергей Владимирович Г[роман] поздравил меня и упрекнул, что не позвал его. Я ответил, что у меня были две причины: первая – наша дружба, а из своих друзей я не звал никого, а вторая – то, что он является начальством, а по духу советских служебных нравов совершенно не годится звать на свадьбы начальников: дурной вкус, заискивание и некоторое стеснение для тех из приглашенных, кто работает в Трамоте.[271]

Во время нашего краткого послесвадебного пребывания в Мамонтовке нам пришлось обсудить много практических вопросов и принять ряд решений, и, на мой взгляд, все было сделано неправильно. Но в тот момент иначе поступить было нельзя.

Первый вопрос: где мы будем жить? Я хотел, чтобы мы поселились отдельно от твоей семьи – скажем, там, где жил я, то есть [в доме] 13 по Мясницкой улице в квартире Гашкевича, который предлагал мне две хорошие меблированные и отапливаемые комнаты, в общем независимые от его помещения. Тебе же хотелось жить при отце – и вовсе не по соображениям семейного уюта (мы уже знали, какого сорта этот уют), но чтобы предохранять его от многих весьма реальных опасностей, так как мое положение, как ответственного советского работника и вдобавок преподавателя университета, было гораздо прочнее, чем положение Ивана Григорьевича. На это я отвечал, что моего влияния не хватит, чтобы защищать квартиру из десяти комнат, и что самое разумное для Ивана Григорьевича было бы переселиться куда-нибудь в более скромное помещение, где вдобавок ему не будет все портить его положение бывшего домовладельца. Но тут начинались единодушные протесты: во-первых, мотивы сентиментальные, обжитость помещения, память о покойной Густаве Сергеевне, затем мотивы деловые, а вернее – квазиделовые: куда деваться с монументальной мебелью, со всеми вещами, с десятками кресел, диванов и т. д.? Я отвечал: оставить себе необходимое и скромное, а остальное продать; этого уже никто не хотел слушать.

Итак, в конце концов мы поселились в Архангельском переулке, и никто, начиная с Ивана Григорьевича, не поверил в бескорыстность нашего решения, хотя ты приняла его и настаивала на нем из искренней и вполне бескорыстной любви к отцу и семье. Мне до сих пор странно, до какой степени все они не знали тебя и не верили тебе. И сейчас же был поставлен вопрос: собираюсь ли я оплачивать свое питание? Я ответил, что собираюсь оплачивать не только свое, но и твое, и не понимаю такой постановки вопроса. Тогда вмешалась тетя Маня и заявила, что из любви к брату согласна заботиться об Иване Григорьевиче и его семье, но кормить «Юлию и ее мужа» не собирается, и если «Юлия и ее

муж» хотят питаться, то пусть сами заботятся об этом, но двум прислугам, которые у вас были, не позволит нас обслуживать. Это было уже открытое объявление войны, но тут запротестовал Иван Григорьевич, который сказал, что «Юлия и ее муж» – члены его семьи и что он просит об этом помнить.

Вопрос разрешился, но положение получалось странное: мы, так сказать, жертвовали своими интересами, оставаясь в этой квартире, но оказывались там гражданами второго сорта, только терпимыми, но вообще мало желательными. Я помню, как ты, бедненькая, чувствовала себя неловко и старалась убедить себя и меня, что все это только так, временно. Убедить меня было довольно трудно, а сделать так, чтобы я почувствовал себя членом семьи, совершенно невозможно. Так оно и осталось, и усилилось, потому что для усиления было потом еще достаточно причин. Но, чтобы тебя не расстраивать, я ничего не говорил и старался, со своей стороны, не давать поводов для осложнений. В таких условиях приблизительно к середине сентября 1919 года мы переселились из Мамонтовки в Москву, дружески расставшись с гостеприимной тетей Асей и дядей Костей, который всегда называл меня «дядей Володей».

Нам отвели для жительства кабинет Ивана Григорьевича. Это была огромная, но очень уютная и уютно обставленная комната. Пока не начались холода, в ней было очень хорошо, и первый вечер мы чувствовали себя совершенно счастливыми. Нам дали маленький самоварчик, и мы готовились пить чай вдвоем, не выходя в столовую. Ты сказала: «Достань, пожалуйста, чашки из книжного шкафа» (который служил нам буфетом) и прибавила: «Это – очень красивые чашки из старинного японского фарфора. Их было много, но остальные все побились; остались только эти; я очень их люблю». Я пошел за ними с подносом, уставил, понес обратно, и здесь моя нога зацепилась за ковер: я покачнулся, поднос покачнулся, чашки упали на пол и разбились. Со стыдом и смущением ждал, что будет: ведь я все-таки еще мало знал тебя. И не было ничего. Ты была очень огорчена, это было видно, но мне не сказала ни слова и, когда заметила, что я – не в своей тарелке, дружески улыбнулась, положила свою ручку на мою руку и сказала: «Ничего, не смущайся», – и я опять почувствовал, что, действительно, в мою жизнь вошло с тобой настоящее счастье.

В первую очередь мне пришлось заняться моими университетскими делами. В течение лета было произведено объединение всех трех университетов, находившихся в Москве, т. е. в настоящий Московский университет влились Высшие женские курсы и Народный университет Шанявского.[272] Первое же заседание математической предметной комиссии оказалось весьма многолюдным, и тут я познакомился с очень многими интересовавшими меня людьми.[273]

Меня очень интересовал В. П. Шереметевский. Он был, так сказать, моим первым, хотя и заочным, наставником настоящей, то есть высшей, математики. Я был гимназистом шестого класса, и первые три рубля, которые заработал уроками, употребил на покупку «Элементов высшей математики» Лоренца в переводе и с огромными дополнениями Шереметевского.[274] Эта книга, которая охватывает историю математики, ее философию и элементы аналитической геометрии и анализа, была для меня откровением. Впоследствии, уже после смерти Шереметевского, я подготовил ее к новому изданию[275] и видел, конечно, все ее слабые места. Но у меня сохранилась слабость к Шереметевскому, сменившаяся при личном знакомстве большой симпатией. Это был старый идеалист, которых много среди нашей интеллигенции. Конечно, личной научной работы он никогда не вел, но, будучи прекрасным педагогом, превратил довольно скучную книжку знаменитого голландского физика Лоренца в живо написанную энциклопедию математики. Когда я познакомился с ним, он был уже на склоне лет, но обладал еще большой живостью и остроумием.

Через несколько недель Шереметевский внезапно умер, и мне был передан его курс высшей математики для натуралистов, читавшийся в помещении Народного университета Шанявского. Кроме этого курса, я получил еще курс интегральных уравнений и курс

дифференциальных уравнений математической физики. Так постепенно я обрстал занятиями по моей прямой специальности, и мне уже не хватало времени. На заседаниях Государственного ученого совета я познакомился с представителями Научно-технического отдела ВСНХ, и мне было предложено стать там членом коллегии, на что я охотно согласился. Я все еще продолжал работать в Трамоте, как и ты, но для меня все более и более становилась ясна полная несовместимость этой работы с моими научными занятиями, и я решил при первой возможности уйти.[276]

Вернемся к нашей жизни дома. Вот мы сидим за столом в Вашей огромной столовой: Иван Григорьевич, Катя, Сережа, Марья Григорьевна, Александр Александрович, их сын Котя (Константин) и их постоянный спутник Илья Аркадьевич Мильман. Марья Григорьевна священнодействует. Тонкими ломтиками нарезан хлеб и строго поровну распределен. В великолепной фарфоровой миске налита невероятная бурда, называемая супом, и также строго поровну распределяется. Я с некоторым удивлением – после прекрасного питания у тети Аси – беру в рот первую ложку и нахожу, что мое обоняние меня не обмануло.

«Маня, – обращается Александр Александрович, – нельзя ли получить еще ломтик хлеба? Я, по рассеянности, сразу его съел». – «Ни за что, – отвечает Марья Григорьевна. – Ты знаешь свою порцию. Поторопился съесть ее, больше не получишь». Видя растерянный вид Александра Александровича, ты протягиваешь ему свой кусочек. «Не допущу этого безобразия, – говорит Марья Григорьевна. – Если ты, Юлия, будешь вмешиваться в мои распоряжения, я отказываюсь вести дальше хозяйство». Испуганный Иван Григорьевич бросает на тебя умоляющий взгляд, твой кусочек возвращается к тебе. Александр Александрович покорно опускает голову, и все успокаивается.

Следует второе блюдо – пшенная каша, скорее – пшенный жидкий развар на воде без капли масла. «Кто хочет масла, пусть несет свое», – говорит тетка и затем поясняет: «Меня научили очень хорошему способу варить кашу: если сразу налить воды, получается чепуха, а если добавлять понемножку, то все замечательно разваривается и сохраняется великолепный вкус». Александр Александрович, который на минуту вышел, возвращается с кусочком масла на ложке и кладет в свою кашу. «А я и не знала, что у тебя есть настоящее масло», – говорит ему жена. «Да уж, это не Главрасмасло», – отвечает он ей с торжеством. Главрасмасло – это центр по производству растительного масла, где Марья Григорьевна работает. Она не дает мужу своего растительного масла, а он ей – своего коровьего. Обед кончен; подается жиденький чай без сахара; каждый приносит свои кусочки.

Вечером – ужин: те же блюда в том же порядке и с теми же репликами и пререканиями. «И это всегда так?» – спрашиваю я у тебя. «Всегда, – отвечаешь ты, – с той только разницей, что завтра будет гречневая каша, а послезавтра – картошка». – «Я не про это говорю, – возражаю я, – а вот об этих спорах о кусочках, этой неумолимости, этом торжестве, когда один ест то, чего другой не имеет». – «А, это у них в семействе издавна заведенный порядок». – «Но неужели это меню никогда не сдабривается кусочком мяса или рыбы?» – «Нет, никогда». – «Что же, все так-таки довольствуются этим режимом?» – «Трудно сказать. Мне кажется, что тетка с семейством чем-то подкармливается у себя в комнатах». – «А твои, Иван Григорьевич, дети?» – «Папа часто ходит ужинать напротив, к Борису Александровичу: там кормят дорого, но прилично». – «А дети?» Ответа нет, что, собственно, и является ответом. «Ну, по крайней мере, этот режим должен стоить дешево», – говорю я. «Не знаю, – отвечаешь ты, – до сих пор платил папа; я не имела к этому отношения, а в конце месяца увидим».

И мы увидели: счет получился как раз такого порядка, чтобы слизнуть наш месячный заработок. К большому возмущению Марьи Григорьевны, я попросил показать книгу закупок, нашел там и мясо и многое другое, и на мой вопрос о мясе Марья Григорьевна, глядя мне в глаза ясным и твердым взглядом, сказала: «Неужели же вам ни разу не попалось в супе мяса? Так-таки ни кусочка?» Что же можно было ответить? Ты не хотела никаких домашних

историй, боялась расстроить Ивана Григорьевича нашим разрывом с теткой, а я боялся расстроить тебя и промолчал. Но нужно было подумать о дополнительном заработке.[277]

Прежде чем думать о заработке, пришлось думать об отоплении. Температура упорно падала, а восстановления центрального отопления не предвиделось. В сентябре в комнате была «комнатная» температура в 15–16 градусов, но уже к концу сентября она спустилась до 10 градусов, а в октябре неумолимо поползла ниже, и мы стали мерзнуть. Пришлось подумать об электрической грелке. Та, которую я купил, была необычайно эстетична: внутри горели красные лампочки, дававшие теплое впечатление, но температура ползла вниз, и, когда она доползла до 4 градусов, мы решили переместиться в маленькую угловую комнату, твою комнату, надеясь, что там будет легче сохранять тепло. Ошибка: комната оказалась необычайно холодной, и наша грелка и тут была недостаточна. И притом произошло происшествие, лишившее нас всякой возможности греться электричеством. Был опубликован декрет, каравший смертной казнью за электрическое обогревание помещений. Так как у нас иного выхода не было, мы все-таки продолжали греться.

И вот, когда я находился в комнате, а ты была в коридоре, – звонок, необычный, и ты кричишь мне по-французски, чтобы я выключил печку. Я выключил и немедленно спрятал ее за занавеску, но некто, быстро идущий по коридору, заговорил, обращаясь к тебе: «Милая барынька, мне и не нужно понимать по-иностранному, чтобы знать, в чем тут дело. Счетчик уже мне это сказал: и то, что грелась печка, и то, что после вашего крика ее выключили. А вот где она, мы сейчас найдем. Собаку Трефа[278] знаете?» – «Какого Трефа?» – «А полицейского. Так вот, электрический Треф – это я. Вы, вот, спешили по коридору, значит, комната далеко; вот, может, та, крайняя по коридору направо». И с этими словами он вваливается к нам в комнату, а за ним, крайне перепуганная, появляешься и ты. «Ага, – заговорил он снова, – печку-то успели припрятать. Но вряд ли очень далеко. Найдем». И шасть за занавеску: «Ну вот и она, тепленькая; все ясно. Ого, какая красивая! Я еще не видал таких».

Эти слова дали мне надежду. Я сделал тебе знак глазами, чтобы ты оставила нас наедине, и затем сказал: «Ну что же, поговорим?» – «Отчего не поговорить? Мне жалко сдавать такую печку по начальству». – «Так не сдавайте». – «А неприятности мне не сделаете?» – «На основах взаимности». – «Ладно, только вот что: я – честный человек и взятку брать не хочу. Покупаю ее у вас. Согласны?» – «Да, а за сколько?» – «Вот вам три тысячи. Пусть она пока полежит у вас, а вечером, возвращаясь домой, ее возьму. Только чур не болтать». – «Ладно, и вы тоже». Так и сделали. Неприятностей не было, но печки мы лишились.

Тогда, постукиванием по стене, я нащупал вентиляционный ход и весь следующий день долбил камни и кирпичи, чтобы до него добраться. Это удалось. Затем, по случаю, мы приобрели дрянную железную печку маленького размера и поставили ее. Она грела, только пока топилась, брала очень много дров, и тут, к ужасу Ивана Григорьевича, я стал покупать их у вашего швейцара Ивана Семеновича. Ужас Ивана Григорьевича происходил от того, что Иван Семенович снимал и распиливал деревянные полы в подвальном этаже. Дом уже не принадлежал Ивану Григорьевичу, что было окончательно, но этого еще никто не знал, и очень многие надеялись на счастливый для буржуазии исход гражданской войны.

Таким образом, Иван Григорьевич переживал болезненно каждое повреждение своего дома и решительно потребовал от меня, чтобы я не покупал этих дров: «Помилуйте, зять домовладельца покупает у собственного швейцара на отопление распиленные полы своего собственного дома». – «А вы знаете другой дровяной источник?» – «Нет, не знаю». – «Так вот, я не хочу, чтобы дочь домовладельца, моя жена, имела бы снова, и на всю зиму, ревматизмы. Что же касается до собственного швейцара, то с меня уже достаточно собственной тетки». Он засмеялся: «Знаешь, с меня тоже достаточно, но... только чтобы она не услышала». Но печка не помогла. Температура в комнате стояла низкая, по утрам на поверхности воды в кувшине плавал лед, и ревматизмы появились.[279]

Здесь следует несколько остановиться на Трамоте, потому что мы подходим к времени, когда я его покинул. Всероком – Всероссийская эвакуационная комиссия, основанная декретом С[овета] Н[ародных] К[омиссаров] в апреле 1918 года, имела во главе моего давнего и хорошего друга Лева (Мирона Константиновича Шейнфинкеля-Владимирова). С ним мы скоротали бесчисленные часы и дни в Вене в 1908–1909 годах и Париже в последующие годы до 1916-го включительно. Трудно перечислить те услуги, которые мы оказывали друг другу, как и трудно передать глубину доверия и дружбы, которые нас связывали. В качестве заместителей он имел Сергея Владимировича Громана – чудо-ребенка 20 лет, обладавшего огромной инициативой и значительным здравым смыслом при полном отсутствии опыта, и Петра Филипповича Бондарева, старого матерого железнодорожника-движенца, начальника службы движения в НКПС, единственного в своем роде знатока российской железнодорожной организации.

Управляющим делами Всерокома был я, и через управление делами проходили все дела из отделов. Число сотрудников вместе с провинцией было свыше шестисот, иначе говоря – огромное учреждение; вдобавок Лева в качестве чрезвычайного уполномоченного по эвакуации обладал диктаторскими правами, крайне необходимыми для быстроты действия. Вначале речь шла о спасении ценных грузов и промышленных предприятий от немцев, и деятельность Всерокома была направлена на запад. С лета 1918 года, с начала гражданской войны, пришлось также заняться и востоком. К сожалению, в этот решающий момент Лева оказался совместителем; он уже и так в качестве заместителя наркомпрода отдавал нам только четверть своего времени, а с гражданской войной стал членом Реввоенсовета Южного фронта и появлялся у нас раз в три недели. Так мы оказались под командой волевого мальчика двадцати лет и безвольного Петра Филипповича, вдобавок пьяницы и любителя женщин, охотившегося в дебрях Всерокома на всех хорошеньких сотрудниц, а таковых было очень много.

Сергей Владимирович очень любил реформы и в особенности, как очень многие администраторы того времени, – словесные реформы. Вдруг отдавался приказ переименовать отделы в секторы, отделения в секции; не успевала пройти эта реформа, как уже поспевала новая: секции перетасовывались, создавались новые секторы; не успевала еще выясниться полезность этой реформы, как уже производилась новая: создавались три управления, делившиеся на отделы (снова), а отделы – на отделения (снова), и все это опять недели через две шло насмарку. С сотрудниками, особенно – ответственными, за немногими исключениями, Сергей Владимирович обходился чрезвычайно авторитарно, делал необоснованные выговоры и... садился в калошу, потому что первоклассным служащим, подобранным Левой, ничего не стоило разбить аргументацию Сергея Владимировича. И тут он не был игроком fair play:[280] становился к таким людям придиричив и враждебен. Со мной он сталкивался очень часто, но, в общем, относился ко мне с уважением, и мы с ним остались в добрых отношениях и после моего ухода.

К декабрю 1918 года выяснилось, что Лева не может и не желает оставаться во главе Всерокома, а без него Совет народных комиссаров отказывает учреждению в самостоятельном существовании. Начались переговоры с ВСНХ, в результате которых было учреждено Транспортно-материальное управление ВСНХ, сохранившее эвакуационные функции (гражданская война продолжалась), но к этому прибавилось наблюдение за транспортом и хранение всех грузов, проходящих через руки ВСНХ. Этим новым управлением ведал Громан,[281] управляющим делами остался я; значительная часть старых сотрудников перешла в новое управление, но далеко не все, и почти все противники Сергея Владимировича не нашли себе места. В новом управлении продолжались эксперименты Сергея Владимировича и даже в ухудшенном виде, потому что над ним уже не было Левы. Ты в новом учреждении сделалась генеральным секретарем коллегии.

К числу моих достоинств принадлежит то, что я совершенно не переношу хаоса и переливания из пустого в порожнее. Каждые две недели производились перетасовки. Секции,

секторы, отделения, отделы меняли хозяев и меняли помещения. За год моей работы в Трамоте мой кабинет восемь раз переменял место, и за мной следовали мои сотрудники. В конце концов, несмотря на мое искреннее желание принести максимум пользы, у меня совершенно пропал всякий интерес к этому делу, и я несколько раз обращался к Сергею Владимировичу с просьбой отпустить меня. Но он, ссылаясь на декрет Совнаркома о прикреплении ответственных сотрудников к учреждениям, всякий раз мне в этом отказывал. Я решил, наконец, доставлять ему максимум неприятностей путем критики всех его действий на заседаниях коллегии Трамота, и после одного особенно резкого столкновения подал в отставку, которая была принята. Когда я прощался с ним, он сказал: «Не думайте, что я ничего не понимаю, и, несмотря на все ваши старания быть неприятным, я продолжаю любить и ценить вас; давайте сохраним нашу дружбу». Так оно и продолжалось.

Мое освобождение из Трамота произошло в конце 1919 года и произвело волнение у нас дома. Иван Григорьевич не понимал моих аргументов и боялся, что, покинув Трамот, я лишусь всякой материальной базы. Марья Григорьевна и ее муж, увидев, что я перестал быть начальством, совершенно распоясались. Конечно, произошло некоторое уменьшение наших ресурсов, но оно скоро было компенсировано новыми возможностями, которые открывались передо мной.[282]

В конце октября, после первого же счета Марьи Григорьевны, выяснилась необходимость дополнительного заработка. Тут мне помог Госиздат: я заключил договор на написание некоторых книг и получил аванс – 30 000 р., который оказался нам весьма значительным. Таким он и был в тот день, когда я получил его, но мы не сразу поняли, что устойчивость советской валюты, длившаяся все лето, кончена и начинается эпоха инфляции. К тому моменту, когда мы надумали истратить эти деньги, нам удалось купить лишь два пуда муки и по пуду гречневой и пшенной крупы, которые поступили в фонд к Марье Григорьевне.

Пришлось еще пережить столкновение с Иваном Григорьевичем, которое нас обоих весьма взбудоражило. Не надеясь сохранить свое имущество, Иван Григорьевич решил продать всю мебель и нашел покупателя – чернорыночника Сидорова, который соглашался все приобрести с тем, чтобы получить комнату в квартире. По обыкновению, не посоветовавшись ни с кем, Иван Григорьевич запродавал всю мебель, и в один из вечеров появился у нас в маленькой комнатке с листом бумаги, чтобы произвести опись.

Когда мы говорили о такой возможности, я узнал, что часть мебели в твоей комнате была приобретена на заработанные тобой деньги (летняя студенческая практика), а остальное еще при жизни матери было передано тебе в подарок – так же, как и та мебель в комнате Лены, которой она пользовалась. Мебель была скромная: кровать, письменный стол, секретер, комод, стулья, кресла. И ты говорила мне: «Ну, я знаю, как папа поступит». Когда настал этот момент, мы с любопытством ждали, что же будет внесено в список. Оказалось, что в список попало все.

Хотя мне было очень неприятно, но я был вынужден вступить с Иваном Григорьевичем в пререкания: «Иван Григорьевич, задали ли вы себе вопрос, на чем же мы будем спать, сидеть и куда будем класть вещи после этой продажи?» – «Не знаю, право. Может быть, где-нибудь купить?» – «А вы знаете, что продать вещи за бесценок легко, а приобрести их невозможно?» – «Так как же быть? Я уже дал слово Сидорову». – «Если бы вы предварительно посоветовались, я, может быть, сказал, как вам быть. Но сейчас все, что я могу сделать, это сообщить вам, как мне быть. Вы можете заключать с Сидоровым любые сделки, но из этой комнаты я не дам вам взять ни одной вещи». – «Вы ставите меня в совершенно безвыходное положение». – «Вам нужно было бы подумать, в какое положение вы ставите вашу дочь и меня». – «Что же мне сказать Сидорову?» – «А скажите: для себя и детей вы должны же оставить какую-то мебель?»

Он взглянул в список и замялся. «Так тут я дам вам совет: смело выделите из списка все, что

необходимо для скромного меблирования ваших комнат. А Сидорову заявите, что деньги слишком быстро падают и вы отказываетесь от сделки, если он не согласится взять остальную мебель, которая, собственно, его и интересует. Вряд ли ему нужны постели, скромные столы и стулья, деревянные комоды и шкафы. Пусть забирает себе “монументы”, а мы будем продолжать пользоваться постелями». Так оно и было сделано. Я помню, как ты, бедняжка, была сконфужена. Ты не промолвила ни одного слова во время этой беседы, ничего не сказала мне и после и вряд ли что-нибудь сказала Ивану Григорьевичу. Да и что можно было сказать? Он был в явной панике и не знал, что делал.

Ко всем бедам этой тяжелой зимы прибавилось еще катастрофическое состояние водопровода и канализации. Трубы всюду полопались, и все нечистоты, спускаемые из верхних этажей, выливались в наш этаж и притом через тот клозет, который находился в нашем конце коридора. А так как «естественный скат» пола шел в нашу комнату, то нас заливало каждый день, и Марья Григорьевна не позволяла прислуге убирать у нас. Я брал черпак и выбрасывал все в коридор. «Но, – протестовала Марья Григорьевна, – ведь естественный скат идет к вам, а вы направляете весь этот поток к нашим дверям». Эта наивная наглость была совершенно обезоруживающей. В конце концов я купил кирпичи и цемент и сделал плотину у порога нашей комнаты, после чего поток окончательно направился по неестественному скату к Марье Григорьевне.

К этому времени запас напиленных полов у Ивана Семеновича истощился – при полном содействии Ивана Григорьевича, который также стал покупать у собственного швейцара собственные напиленные полы. Вечерами Сережа, Котя и я выходили с пилой на улицу в поисках столбов, заборов или сараев, которые можно было бы распилить и использовать. Иногда брали санки и отправлялись в далекие экспедиции, чтобы привезти пуд мороженой картошки. Ноябрьский счет Марьи Григорьевны опять слизнул наши ресурсы. Качество пищи ухудшалось. Игроки собирались по вечерам, и, чтобы их кормить и самому кормиться, Иван Григорьевич распродавал все ценные вещи, конечно, за бесценок, а я смотрел на тебя и радовался, что ты совершенно, ни одним словом, в это не вмешиваешься.

К Рождеству положение стало совсем невыносимое. Ты больна: злейший ревматизм. Подкармливать тебя нечем. И вот 24 декабря из комнат напротив до нас доносится запах мяса, а мы знали, что Марья Григорьевна приобрела для хозяйства хороший кусок. И ты говоришь мне: «Папа сегодня ужинает напротив, у Бориса Александровича. Пойди, попроси тетю дать нам немного мяса; мы так давно не ели жаркого; и детям бы дали». Я немедленно отправился, ни минуты не сомневаясь, что эта просьба больной племянницы, и под Рождество, будет услышана. Ничего подобного. «Мясо? Какое мясо? Есть мясо для супа на следующие дни, но из него я не дам вам ни кусочка. Пусть Юлия не воображает, что я сейчас же побегу в кладовую его доставать; наши все устали». – «Хорошо, давайте я пойду». – «Я не могу дать вам ключи, а мне самой идти некогда». С этим ответом я вернулся, и ты, моя милая роднушечка, заплакала. И тут мы решили с нового года выйти из общего хозяйства.[283]

Иван Григорьевич, которому мы сообщили о нашем решении, был перепуган, и тут мы окончательно поняли, в чем дело. Он никогда не имел дела с хозяйством и в более благополучные времена, а сейчас мир казался ему враждебным, добывание продуктов – чрезвычайно трудным, превращение их в съедобные блюда – необычайно сложным, и каждый шаг – ведущим в какуюто таинственную и опасную страну. Он слепо подчинился авторитету сестры. И для него было невозможно выбраться на вольный воздух. Ты, при твоей полной хозяйственной неопытности, также с опасением думала о том, как оно будет, и тебе казалось, что на первый же обед мы сразу израсходуем все наши ресурсы. Но твой характер был гораздо тверже и энергичнее характера твоего отца, и ты решила сделать этот опыт и не отступить.

Счет, который предъявила нам Марья Григорьевна, был соленый: он не только забирал наши декабрьские ресурсы, но и захватывал часть января. Нужно было действительно спастись от

этого разбоя. Я потребовал на просмотр все счета, без труда обнаружил ряд записей одной и той же покупки, сделанных дважды, и заявил протест против оплаты вещей, которых мы не видали на столе; пересчитал все и заплатил только то, что мы действительно были должны. На заявление Марьи Григорьевны, что при таких условиях она не может вести хозяйство, я холодно ответил, что пусть разбирается с Иваном Григорьевичем, как ей угодно, но я предупрежу его о характере ее бухгалтерии, и затем сообщил ей о нашем выходе из хозяйства. Проведя такую скверную четверть часа, она совершенно задыхнулась от ярости. Началось наше собственное хозяйство. У нас на столе появилось мясо; каша была полноценная и хорошо намавленная, суп – не вонючий, и концы сходились с концами. Иван Григорьевич, приходя к нам обедать, ахал и, ничего не понимая, наконец, понял, но никаких мер применить не решился.

Встреча Нового года была чрезвычайно живописной. В доме напротив, у друга и партнера Ивана Григорьевича, Бориса Александровича Г., организовывалась встреча на товарищеских основаниях с платой за пай 3000 р. В эту цену входили закуски, вина, plat de r?sistance,[284] чай, танцы и любительский спектакль. Должны были собраться человек 50–60, все – из недорезанных буржуев с семьями. Мне совершенно не хотелось участвовать в этом деле, но тебе очень хотелось, и это было понятно: после супов и каш Марьи Григорьевны, холода, голода, вонючих наводнений как же хотелось провести несколько часов в хорошо нагретых комнатах среди нарядных людей, поесть бутербродов с икрой, пирожков, потанцевать, посмотреть иные лица. Тебе было всего только 23 года. Конечно, я легко дал себя уговорить, и мы пошли с Иваном Григорьевичем и Катей.

Собравшиеся заполнили залу в квартире Бориса Александровича. Зала не была так велика, как ваша, но отапливалась хорошей голландской печкой. Никаких столов не было, а был устроен буфет, куда нужно подходить и получать. И вот, когда хозяйка заявила: «Пожалуйста, господа, подходите к буфету; берите тарелку, вилку, ножик и ложку; набирайте, что вам надо, и отходите есть в сторону», – произошла «Ходынка»: с невероятной жадностью, отпихивая друг друга локтями и стараясь захватить максимум, все устремились к еде. Я видел много толп, больших и малых: дружинников 1905 года, моих соподсудимых на военном суде, эмигрантские вечеринки, солдат в казармах, офицеров в офицерских собраниях, сотрудников Всерокома на первом праздновании Октябрьской революции. Но никогда я не видел ничего подобного. Мне стало так нестерпимо отвратительно, что я взял стул, сел в сторонке и стал смотреть на спины и зады сталкивавшихся у буфета людей.

Ко мне сейчас же подошла ты с Иваном Григорьевичем. «А ты что же?» – «Не могу же я лезть в драку с этими людьми. Это было бы слишком унижительно. Я предпочитаю подождать». – «Но тогда ты ничего не получишь: ничего не останется». – «Что же делать? Поем что-нибудь дома, когда вернемся». – «Нет, это было бы слишком глупо». И ты с Иваном Григорьевичем пошла к жене Бориса Александровича и сейчас же вернулась за мной, чтобы я захватил тарелки с полным комплектом причитающейся нам пищи. Мы уселись в сторонке и насыщались, наблюдая происходящее у буфета. «Это всегда так?» – спросил я у Ивана Григорьевича. «Конечно, нет, – ответил он. – Обыкновенно все сидят за столом, и всех обносят. Я думал, что и сегодня так будет. Кстати, пойду: подам мысль хозяйке». Его вмешательство оказалось полезно: вина и чай были распределены с подносами, и каждый получил, что ему полагалось.

Затем последовал спектакль. Его ставили дочь Бориса Александровича и ее муж Ратушинский – толстый биржевик, занявшийся за отсутствием биржи искусством. О спектакле говорили задолго: это было нечто вроде оперетки с несколькими балетными номерами и участием настоящего артиста, который должен был организовать постановку. Сюжет – банальный, как и полагается: шах Николрат (Николай Ал[ексеевич] Ратушинский), победив всех врагов, забавляется у себя в гареме характерными танцами под наблюдением евнуха (видный промышленник Фульда); танцевали жена Николрата (Елена Борисовна) и твои кузины. Но проявлялся какой-то бунтовщический дух, смущавший шаха и евнуха и

исходивший от новой звезды гарема («настоящий» артист), оказавшейся большевистским матросом и под конец призывавшей жен шаха к октябрьскому перевороту. Музыку скомпоновал некий Фомин, ограбивший ряд опер и опереток.

Самый веселый, хотя и непредвиденный, номер последовал за спектаклем: обнаружилась пропажа серебра, и его нашли в карманах и ранце «настоящего» артиста, которого и выгнали, наcostыляв ему шею. Был еще независимый от спектакля балетный номер: «директриса» частной балетной школы Франческа Беата (пани Францишка, жена одного из наших профессоров) со своими немногочисленными ученицами, почти в разоблаченном и совершенно неэстетическом виде, явно подражая Айседоре Дункан, протанцевала босоногий греческий танец. Предварительно она неприлично обругала аккомпаниатора, вызвав большой переполох. После этого (дело подошло к двенадцати) пили вино, встречая Новый год, а затем люди постарше сели за карты, люди помоложе танцевали, а я сидел и смотрел, и радовался, что ты веселишься. И насколько же каждое твое движение было грациознее, чем у всех этих профессиональных и непрофессиональных танцовщиц. Сделав комплимент в отношении тебя Ивану Григорьевичу, я узнал то, чего ты не говорила, а именно, что училась в балетной школе и даже выступала в роли Коппелии[285] и с большим успехом.

Когда вернулись домой, мы еще долго обсуждали этот вечер, и ты, признав правильность моих замечаний, весьма дружески дала мне понять, что, если я не танцую или мне что-нибудь не нравится, это – еще не основание сидеть недовольной букой, производя впечатление ревнивого и тяжелого [по характеру] мужа, чего на самом деле нет. Я объяснил тебе то, чего ты не знала, а именно, что в моем предыдущем существовании у меня было очень мало случаев выхода в «свет» и что мой вид происходит от полной непривычки к этой обстановке. И мы уговорились, что если я буду тебя сопровождать, то ты не будешь надолго оставлять меня одного. Так мы с тобой без труда ликвидировали ряд мелких accrocs,[286] которые могли бы повести к недовольству и, может быть, ссорам и которые, благодаря твоему такту и мягкости, рассеялись, как дым. И еще раз я мысленно поблагодарил судьбу за то, что ты вошла в мою жизнь. Так мы с тобой вступили из тяжелого, но счастливого для нас 1919 года в тяжелый и тоже счастливый 1920 год.[287]

Прежде чем покинуть 1919 год, нужно поговорить об академических делах. Осенью Д. Ф. Егоров сообщил мне, что на ближайшем заседании Московского математического общества я должен сделать доклад и что буду затем избран в члены общества. Для моего самолюбия и научного положения это было весьма приятное известие. Московское математическое общество выбирало в члены лишь тех математиков, которые зарекомендовали себя научными трудами и вели преподавание в высшей школе. Это были условия необходимые, но недостаточные, как показал недавний в то время пример Дмитрия Павловича Рябушинского, которого не избрали. Я выбрал как тему «Строение шарообразных звездных куч» – вопрос, по которому опубликовал работу еще в Париже в 1916 году и продолжал усиленно работать в Москве с осени 1918 года.

Я сделал доклад[288] весьма благополучно. Болеслав Корнелиевич Млодзеевский весьма вежливо задал мне несколько вопросов, которые он считал ехидными, но которые меня не смутили. Были выборы, и я был избран не единогласно, но хорошим числом голосов. Я уже знал, что Николай Николаевич Лузин вел против меня кампанию, которая не дала больших результатов. После моего избрания он подошел ко мне и поздравил, подробно расписав, какую чувствует радость и почему именно. Я не удержался и спросил, что он будет говорить, завернув за угол. Первый раз этот вопрос я задал ему в Париже в 1912 году и вот по какому поводу.

После разгрома Московского университета в 1911 году и ухода крупнейших профессоров, желая иметь послушную профессуру, министр народного просвещения Кассо набрал из разных университетов свежеекончивших студентов, которых послал за границу, отдав их под наблюдение крупных [иностранн]ых ученых и под контроль некоторых русских профессоров

(например, механика Булимовича из Киевского университета). Немецкие профессора отказались от руководства, но французские согласились, сказав, что им нет дела до русской внутренней политики.

Руководство математиками возложили на Бореля. Руководимый был один: некий Подтягин из Харькова, лентяй, которому было на руку, что его руководитель – еще больший лентяй. Однако к концу года министерство потребовало отчета; Борель призвал Подтягина и дал ему задачу – проинтегрировать некое выражение, которое для двух и трех измерений было уже проинтегрировано. Это очень простое обобщение Подтягин, по указанию Бореля, доложил во Французском математическом обществе и тут же был избран его членом, о чем и он и Борель с помпой известили министра.

Так вот, после этого заседания Лузин, я и Подтягин вышли вместе на улицу и отправились домой через Люксембургский сад. Всю дорогу Лузин пел хвалы Подтягину: «Вы – победитель! Не успели вы появиться в Париже, как уже написали работу – и какую работу: ее одобрил сам Борель; и не успел он одобрить, как вы уже с блеском доложили ее – и не где-нибудь, а во Французском математическом обществе, самой авторитетной математической инстанции в мире; и, как только вы доложили, восхищенное собрание немедленно избрало вас действительным членом. Какие же лавры вам предстоят впереди!» Я, зная по нашим предыдущим разговорам действительное мнение Лузина о Бореле, Подтягине и Французском математическом обществе, слушал его с изумлением.

Так мы дошли до rue Vavin, по которой Подтягин ушел от нас. Лузин остановился, посмотрел ему вслед, плюнул и сказал: «Вот дурак, он поверил», на что я заметил: «Когда вы будете петь мне хвалы, я спрошу вас, что вы скажете, когда повернете за угол». Когда [теперь] я выполнил свое обещание, он покраснел, побледнел и затем сказал: «Голубчик, вы давно уже должны знать, как я сам иногда страдаю от своей двойственности». Я ответил ему: «Думаю, что многие страдают от этого сильнее, чем вы».

Той же осенью, после нашей свадьбы, мы сделали несколько визитов моим учителям, а ныне – коллегам, и некоторым сверстникам. Из этих визитов нужно упомянуть три. Мой старый друг и учитель Димитрий Федорович Егоров и его жена Анна Ивановна встретили нас весьма тепло и приветливо; они сразу почувствовали к тебе симпатию, а ты – к ним. Сергей Алексеевич Чаплыгин встретил нас дружелюбно, а его жена, которая в свое время ведала общежитием студенток на Высших женских курсах, была очень удивлена, увидев рядом со мной такое юное существо; с ними обоими мы впоследствии очень подружились. Николай Николаевич [Лузин] и Надежда Михайловна не понравились тебе: ты нашла его лживым и фальшивым, а ее – злой и надменной. По отношению к ней это было неверно: просто давали себя знать разница возрастов между тобой и ею (26 лет) и ревность ко всякому привлекательному женскому личику, естественная после всех ее страданий из-за его женолюбия.

Этой же осенью математическая семья потеряла одного из своих членов. В той борьбе, которая шла на бесчисленных фронтах гражданской войны, симпатии большинства профессуры не были на стороне советской власти. Даже умеренные социалистические партии имели в высшей школе мало сторонников. Особенно многочисленны были «кадеты», а эта партия сразу после февраля 1917 года заняла враждебную позицию по отношению к социализму и после Октябрьской революции стала вдохновительницей южной и восточной реакции. В бесчисленных заговорах, которыми кишела Москва, наряду с кадетами участвовали многие умеренные социалисты, но не им принадлежало будущее, и не они были хозяевами.

И вот оказалось, что в одном крупном заговоре, раскрытом ЧК, некоторую роль играл профессор-математик Александр Александрович Волков. Это был скромный, тихий и довольно молчаливый человек, который мало принимал участия в довольно откровенных

обменах мнениями на текущие темы, происходивших в математической профессорской. Я помнил его еще со студенческих времен, и ему, молодому приват-доценту, отвечал на экзамене по аналитической геометрии в 1904 году. Никто не думал, чтобы он мог играть какую-либо роль в каком-либо заговоре, и когда он был арестован, оказалось невозможным узнать, в чем же дело. А дело было очень серьезно: арестованными оказались очень многие известные политические деятели кадетского толка. Неизвестна была участь С. А. Чаплыгина: знали, что Волкова и некоторых других лиц арестовали при выходе из квартиры Сергея Алексеевича, знали, что у Сергея Алексеевича прошел обыск, но куда он сам девался, никто не знал, и за него все боялись.[289]

Прежде всего, нужно было выяснить, что же именно вменяется в вину Волкову, и нельзя ли как-нибудь помочь ему. Были мобилизованы все связи в правительственных кругах, но узнали очень немного: на Волкове были найдены зашифрованные документы, расшифровкой которых он занимался. Говорили (так ли это, я не знаю), что он чисто случайно взялся за это дело из чисто математической склонности к головоломкам, не имея до того никакого отношения к заговору. Один видный деятель, с которым я имел беседу, сказал мне, что Волков систематически занимался расшифровкой и зашифровкой переписки с денкинцами и спасти его невозможно; этому лицу я имел все основания верить. Через несколько дней появился список расстрелянных по делу лиц: в нем значились супруги Вахтеровы,[290] Волков, несколько членов ЦК кадетской партии; всего свыше пятидесяти человек.[291] Чаплыгина в списке не было.[292][293]

Этой же осенью я познакомился с Отто Юльевичем Шмидтом. Свою математическую подготовку он получил в Киеве; там же был приват-доцентом. Между февралем и октябрём 1917 года он занимал крупный пост в Министерстве продовольствия и в течение нескольких месяцев после октябрьского переворота был противником советской власти; потом стал... коммунистом и членом коллегии Наркомпрода. Со стороны все это выглядело нехорошо, и отзывы о нем были плохие.

Я не помню, по какому поводу мне нужно было повидаться со Шмидтом. В обширном кабинете в здании новых Торговых рядов я увидел весьма бородатого человека со слегка немецким акцентом, очень культурного, очень умного и очень любезного. После нескольких минут разговора все мои предубеждения рассеялись, и я сразу увидел, что его обращение в коммунизм вполне искреннее и в случае необходимости у него хватит силы воли, чтобы активно защищать свои убеждения. Он очень интересовался московской математической жизнью и московскими математиками, и я сейчас же внутренне решил сделать все, от меня зависящее, чтобы подготовить почву для сближения. Это мне удалось: Шмидт очень понравился Димитрию Федоровичу тем, что с достоинством отстаивал коммунистическую политику в разговоре, отнюдь не стараясь понравиться собеседнику. Шмидт понравился и Млодзеевскому. Через некоторое время удалось ввести его в Московское математическое общество.[294] Вел он себя с очень большим тактом и ни разу не дал никакой фальшивой ноты.

Среди коллег находился и мой друг детства и, можно сказать, однокашник Вячеслав Васильевич Степанов. Он был сыном папиного коллеги по Смоленскому реальному училищу – Василия Ивановича Степанова. Сам он был моложе меня на несколько лет; его старшая сестра была подругой моей покойной сестры Олечки и несколько влюблена в меня, о чем я узнал значительно позже. Семейство было культурное и дружное, и маленький Славочка всегда расхаживал с большими книжками; так оно и осталось; мне было очень приятно встретиться с ним снова уже на преподавательском положении в университете.

Я возобновил дружеские отношения с Иваном Ивановичем Жегалкиным, который появился в университете в 1903 году в качестве приват-доцента уже далеко не молодым человеком. После окончания университета, кажется, в 1890 году он поступил в банк и о научной карьере не думал; через несколько лет, однако, заинтересовался исследовательской работой и стал

готовиться к магистерскому экзамену, который сдал с успехом. Я встречался с ним в редакции спиритического журнала «Ребус», [295] куда его привели любопытство и жажда чудесного, а меня – отцовский мистицизм. И он, и я вскоре перестали ходить в «Ребус», и наши встречи возобновились на научной и политической почве в 1905 году. Я был социал-демократом (большевиком), а он находился где-то между меньшевиками и кадетами. Спорить с ним было очень интересно, так как он не был доктринером, умел слушать и поддавался убеждению.

Как математик Иван Иванович очень удивил всех, когда через короткое время после магистерского экзамена защитил диссертацию (магистерскую) на модную тему: теория множеств. Все ожидали, что, просидев сиднем столько лет, он будет математическим Ильей Муромцем. Надежды не оправдались, но из него получился прекрасный преподаватель. В 1919 году он носился с проектом учебника анализа – совершенно нового типа учебника, рассчитанного не на среднего, а на самого плохого студента. За много лет преподавания Иван Иванович тщательно записывал все ошибочные ответы студентов на экзаменах и классифицировал их. Идеальный учебник, по его мнению, должен был предусмотреть все источники ошибок, все неясные, плохо сформулированные места. Рукопись, которую он показывал, была огромна, и книга должна была получиться объемистая. Жегалкин издал свой учебник уже после моего отъезда за границу, и мне он в руки не попадался.[296]

Из старой профессуры нельзя не упомянуть Леонида Кузьмича Лахтина. Любимый ученик Бугаева и его преемник с 1904 года, Лахтин стал делать административную карьеру, побывал и ректором, и деканом, и его прочили в товарищи министра, – тем более, что после 1905 года он записался в «Союз русского народа». Вот, казалось бы, достаточные причины, чтобы мы с ним оказались на ножах. Ничего подобного. Я очень скоро оценил его прямоту, твердость в защите своих мнений, большую справедливость, большую доброту. Очень удивленный, я стал наводить справки и узнал, что таким же он был на всех высоких постах и демонстративно ушел из «Союза русского народа», когда выяснилась погромная деятельность этой организации. В советское время Лахтин очень много работал по математической статистике и как ученый и как практический деятель, работал не за страх, а за совесть. На этой работе он и погиб, простудившись в нетопленных помещениях.[297]

Я уже упоминал Б. К. Млодзеевского, а о нем следует кое-что сказать. Для всех студентов-первокурсников в университете Болеслав Корнелиевич всегда бывал первым математиком. Он читал курс аналитической геометрии и, обладая даром слова и педагогическим талантом, читал его блестяще, с необыкновенным изяществом и чрезвычайной ясностью. Он импонировал студентам своей манерой держаться: если какой-нибудь студент позволял себе выйти из аудитории, Борис Корнелиевич обязательно останавливался на полуслове, поворачивался к дерзкому и сопровождал его взглядом до самой двери, а как только дверь закрывалась, договаривал вторую половину слова и продолжал дальше.

На зачетах и экзаменах Млодзеевский бывал всегда необычайно вежлив и язвителен; часты бывали диалоги в следующем роде: «Может быть, вы нам любезно скажете, чему равен эксцентриситет параболы?»[298] – «Как будто единице», – отвечает напуганный студент. «А, может быть, вы уточните ваш ответ: что же это, в конце концов, – единица или около единицы?» – «Как будто около единицы». – «А больше или меньше единицы?» – «Как будто меньше». – «Так, а на сколько именно? Ну, скажите в сотых долях, приблизительно?» – «Около пяти сотых». – «Ну что же, принимая во внимание ваши усилия, я не вычту из вашей оценки этих пяти сотых». Студенты не прощали ему, что, вместо того, чтобы просто погнать на место, он разыгрывал эти маленькие спектакли. Таким же Млодзеевский был во всех своих выступлениях; между тем, если откинуть форму, говорил всегда умно и дельно. Он сам первый и пострадал из-за своей язвительности: ему не удалось образовать собственную школу: оставленные им при университете старались всегда покинуть его; он видел это, мучился и не понимал, в чем дело.

Когда Млодзеевский объявил специальный курс по теории функций действительного переменного, велико было наше ликование; мы (Лузин, Фиников, Бюшгенс, Некрасов и я) надеялись иметь блестящее изложение новейших работ – столь же блестящее, как тот курс аналитической геометрии, который дал нам столько удовольствия и пользы. Ничего подобного: курс читался по устарелым немецким учебникам, с большой неуверенностью, хаотично, и лектор явно не владел предметом. Это было тем более удивительно, что все публичные выступления Млодзеевского всегда были чрезвычайно блестящи. Революцию он не понял и ко всем новым веяниям и новым людям относился с большой подозрительностью и предубеждением, но честно, и ни в каких интригах никогда не участвовал.[299]

Из представителей не математического научного мира нужно упомянуть известную экономистку Марию Натановну Смит-Фалькнер. Мы с ней познакомились в Пролеткульте, который, как я упоминал, предложил мне преподавать математику в школе кадров Пролеткульта. Она преподавала там же политическую экономию и кроме того была членом правления. Как-то сразу между нами установились доверие и симпатия. Она жила в Метрополе с дочкой – прелестной девочкой лет одиннадцати-двенадцати; мне часто приходилось к ним заходить, и мы подолгу беседовали. Это была очень умная, очень культурная и очень чуткая женщина. Ты часто шутила по поводу моей дружбы с ней; не думаю, что у тебя могла быть хоть какая-то ревность: оснований, во всяком случае, для этого не было никаких. Мы с Марией Натановной долго обсуждали проект организации Института научной методологии, который должен был подвергнуть пересмотру методы разных наук с точки зрения диалектического материализма. Через некоторое время этот проект осуществился.

С большим удовольствием я встретился со старым товарищем по военной и боевой работе – Николаем Михайловичем Федоровским. Раньше мы знали друг друга по кличкам и понятия не имели, что по научным интересам – коллеги. Мы встретились в коллегии Научно-технического отдела ВСНХ, где в отсутствие председателя, Н. П. Горбунова, замещал его Федоровский. Это был минералог, генетический минералог очень интересного типа, с широкими взглядами и интересными проектами; он преподавал минералогию в Горной академии.

Раз уж я заговорил о Научно-техническом отделе, упомяну инженера Переверзева, с которым мы когда-то встречались в Париже. Во время революции 1905 года он играл большую роль как председатель Союза железнодорожников. Среди членов коллегии был профессор кристаллографии Дмитрий Николаевич Артемьев, заведовавший Научным отделом Наркомпроса, – коммунист; о нем еще будет речь впереди. Управляющим делами был очень бойкий инженер Лапиров-Скобло, обладавший хорошей памятью, очень практичный, очень толковый и очень гибкий. Его помощником был пресимпатичнейший инженер Иван Иванович Воронков.

Отдел находился в здании бывшей духовной консистории, что вызывало постоянные шутки. Собрания имели место раз в неделю и были загромождены делами изобретателей. В отдел было влито патентное бюро, широко объявлено о защите изобретателей, о рабочем изобретательстве. Иногда за заседание проходило свыше сорока изобретательских дел, и я все время протестовал, указывая на наши бесчисленные ошибки и большую ответственность. Ни один изобретатель ни мирился с отрицательными отзывами, подавал жалобу в президиум ВСНХ или в Совнарком, откуда приходил приказ пересмотреть дело. Я состоял членом физической комиссии и неожиданно для себя был избран ее вице-председателем[300] в пику П. П. Лазареву, который претендовал на этот пост; мои собственные заслуги были совершенно недостаточны для столь высокой чести. Кстати, раз уж я заговорил о Лазареве, отмечу, что при этой встрече передал ему мою рукопись с решением той задачи, которую он поставил мне летом; рукопись была им затеряна, и разыскать ее не удалось.

Раз в неделю мне приходилось участвовать в заседаниях Государственного ученого совета – вечером по пятницам в помещении бывшего учебного округа у Храма Христа Спасителя. Это

было очень интересное и очень важное учреждение в эпоху, когда все старое ломалось, и искали новые пути. Через него проходили все дела, касающиеся высших учебных заведений и научных учреждений, уставы, программы, учебные планы, назначения профессоров и т. д. Председателем его был заместитель народного комиссара просвещения Михаил Николаевич Покровский, которого я хорошо знал по работе в партии и по эмиграции, начиная с 1905 года. В настоящее время принято говорить о нем как о вредителе.[301] Это неверно, и я думаю, что мой голос имеет вес в данном вопросе: никто не сражался с Покровским так упорно, как это делал я; никто не высказал ему столько неприятных истин, как я, и редко кто относился столь отрицательно к его деятельности, и все-таки он не был вредителем.

Это был человек с очень крупными достоинствами и с огромными интеллектуальными и моральными дефектами. К марксизму он пришел сравнительно поздно, пройдя в политическом отношении через «Освобожденчество» и в научном через школу Ключевского. Зная это про себя, Покровский, при обсуждении каждого вопроса, вспоминал, как его решали соответственно Струве и Ключевский, и старался дать иное решение, хотя бы вопрос был решен вполне правильно. Зная, что новое всегда борется со старым, он заискивал перед новым и ничего так не боялся, как быть обвиненным в старческом застое мысли. Поэтому, про себя думая иначе (и иногда *post factum* высказывая в дружеском разговоре свои действительные мысли), он всегда старался проводить более «молодые» решения. Пока дело происходило в эмиграции и касалось бумажных резолюций, это было терпимо, но в Москве, когда к нему приходили молодые коммунисты, молодые рабочие, он сразу и без спора подписывал все, что от него требовали, а потом брался за голову, охал и жаловался.

В 1905 году Покровский принадлежал к лекторско-литературной группе при Московском комитете, и меня часто посылали к нему и Рожкову по разным делам от имени студенческой партийной организации. После восстания декабря 1905 года появился сборник «Текущий момент», в котором была статья на военные темы в историческом аспекте, подписанная «М – ый». Как раз в это время т. «Леший» (Доссер) и я восстанавливали нашу боевую организацию. Статья нам понравилась, и мы решили пригласить автора (Покровского) работать в организации в качестве «теоретика». Он охотно согласился, получил кличку «Домовой» (для некоторых категорий товарищей я, помимо «Семена Петровича», был «Водяным») и больше ни разу не показывался. Потребность в его присутствии мы не ощущали, и она отпала сама собой. Поэтому, когда на летней конференции Московской организации была выставлена кандидатура Покровского в Московский комитет, он смотрел на меня с большим страхом, боясь, что я расскажу о его работе.

Потом на некоторое время я потерял Покровского из виду и встретился с ним лишь в эмиграции в Париже осенью 1909 года. Он был в оппозиции к Ленину и принадлежал к группе «Вперед» вместе с Луначарским, Богдановым, Алексинским, Мануильским и многими другими. Сейчас это звучит курьезно, но оппозиция была «слева». Был очень забавный момент, когда на одном из собраний парижской группы Покровский, во имя идеи права, отстаивал право уральских экспроприаторов на захваченные деньги, и Ленин сказал ему с презрением: «По вашей логике вы должны были бы отстаивать такие же права буржуазии. Думать надо, товарищ Покровский, головой надо думать».

Статьи Покровского представляли из себя смесь очень остроумных и метких выражений с абсолютно абсурдными мыслями. Он как-то не умел найти, что существенно, а что нет, и шел, руководимый скорее притяжениями и отталкиваниями, чем здравым смыслом. Оказавшись за границей без возможности продолжать научную карьеру, Покровский возненавидел профессуру и писал в заграничных изданиях чудовищно лживые вещи о русской науке и русских ученых. Поняв марксистский метод как абсолютное первенство экономического фактора над всем остальным, он исключил из своих исторических работ все события, все исторические вехи, кроме развития экономики. Помня полемику с Михайловским по поводу роли героев в истории, он выкинул биографическую серию из программы

научно-популярного отдела в Госиздате и очень сконфузился, когда Воровский напомнил ему о серии «Кому пролетариат ставит свои памятники», введенный в программу по прямому указанию Ленина.[302]

Когда началась война 1914–1918 годов, Покровский понял «пораженчество» Ленина не как борьбу со всеми империализмами – союзническими и немецким, а как борьбу с союзническим империализмом, и отстаивал правильность поведения немцев даже там, где отстаивать было невозможно. В личной жизни он был чрезвычайно несчастлив и старался разрешить все трудные и запутанные вопросы, как и полагается социалисту, то есть с человечностью и достоинством. Может быть, именно в этом он был наиболее самим собой. Оказавшись замнаркома при Луначарском и понимая, что мало бы что переменялось, если бы было наоборот, он чувствовал большую обиду и очень часто ворчал на все, что делалось, иногда совершенно по-обывательски. При рассмотрении различных личных ходатайств, которые сыпались без числа, он проявлял неизменно большую доброту, настоящую, не походившую на болтливую лжедоброту Луначарского.[303]

Из других членов Г[осударственного] У[ченого] С[овета] нужно вспомнить Вячеслава Петровича Волгина, Вартана Тиграновича Тер-Оганесова и Николая Михайловича Лукина.

В ту эпоху Волгин еще не был коммунистом, и к коммунизму он пришел довольно длинным путем: в свое время принадлежал к сотрудникам «профессорской» газеты «Русские ведомости» и сохранил, как ядовито выражался Покровский, ее наилучшие традиции. Он был даже не меньшевиком, а весьма умеренным социалистом; через меньшевизм проходил уже тогда, когда дни «Русских ведомостей» были сочтены. К концу 1917 года Волгин был меньшевиком промежуточного типа: на пути к коммунистам, но – соглашатель; коммунистом сделался в 1921 году. Вот, как будто, все неблагоприятные для него обстоятельства, и, однако, хорошо зная его, я могу сказать, что во все моменты своей эволюции он был искренен, бескорыстен и даже смел в защите своих убеждений. Недобросовестные полемисты напоминали ему о «Русских ведомостях» в течение последующих десяти лет постоянно, и это было совершенно несправедливо.

Николай Михайлович Лукин – историк, профессор Московского университета, для меня был старый товарищ. В течение первой половины 1906 года мы с ним являлись членами районного Замоскворецкого комитета: он – как ответственный пропагандист, я – как ответственный боевой организатор. Это был очень серьезный, очень честный и очень искренний человек, не выносивший лжи, несправедливости, дешевой демагогии.

Тер-Оганесов был весьма неудачным образчиком нового поколения: окончил Петроградский университет по астрономической специальности, и профессор А. А. Иванов оставил его при университете. Это произошло как раз накануне 1917 года, и больше астрономией он не занимался. Я тщетно старался открыть в Тер-Оганесове какой-нибудь научный интерес, какие-нибудь знания: полная пустота. Много раз я задавал вопрос Александру Александровичу Иванову, как это произошло. Он махал рукой и отвечал: «Мало ли что бывает. Бывают обстоятельства, когда непременно сделаешь глупость». Но какие это были обстоятельства, дознаться было невозможно.[304] Так получилось, что совершенно глупый и невежественный человек в течение многих лет занимал ответственные административные посты по научной линии.

Одно из дел, проходивших через ГУС в эту осень, заслуживает упоминания. Для того, чтобы дать рабочим доступ к высшей школе, Покровский учредил «рабочие факультеты», [305] иначе говоря – школы для ускоренной подготовки рабочих к высшему образованию. «Деканом» рабочего факультета при Московском университете был назначен некий Звягинцев, владелец и директор частных курсов для подготовки к аттестату зрелости. Всем известно, что из себя представляли подобные учреждения и для кого устраивались. Данное учреждение и данное лицо были широко известны в Москве и не с выгодной стороны. Если

бы у Михаила Николаевича была капелька здравого смысла, он должен был бы навести справки. Но Звягинцев явился к нему в сопровождении группы будущих студентов-рабфаковцев, говорил громко, смело и нахально о том, в чем нуждается партия, советская страна.

Михаил Николаевич сразу уступил этому недавнему черносотенцу, и Звягинцев принялся за дело. Он составил проект о подчинении рабфаку всех основных факультетов университета, пересмотре состава профессуры комиссией из преподавателей рабфака (невежественных натаскивателей с разных частных курсов) и рабфаковцев; получил одобрение Покровского, и вопрос был поставлен в ГУС. После того, как Звягинцев закончил свой доклад, Покровский сказал несколько сочувственных слов и предложил высказаться: молчание. «Так что же, проект принят?» – спросил Покровский.

Я увидел, что нужно драться, и взял слово. Прежде всего дал характеристику Звягинцеву и его преподавательскому персоналу, затем заговорил о той ценности, какой является Московский университет, той огромной работе, которая там ведется, и о том, что если нужно делать перестройку, то для этого найдутся другие, более бережные, более честные и более компетентные, руки. После меня заговорили другие – Тимирязев, Волгин, Лукин и старый партиец Ленгник. Тогда Михаил Николаевич сказал: «Да, я тоже думаю, что нам не нужно натаскивателей». И, наконец, представители рабфаковцев заявили: «Мы согласны с товарищем (т. е. со мной), что нам нужно найти доступ к настоящей, а не натасканной науке». Вопрос был кончен. Я должен сказать, что некоторые представители правой профессуры были недовольны мной: они считали, что чем хуже, тем лучше, и что после хозяйничанья таких Звягинцевых советская власть быстрее бы провалилась.

В эту же эпоху у меня наладилось некоторое научное сотрудничество с А. К. Тимирязевым. Он передал мне материалы об оптических и термических явлениях при прохождении энергии через некоторые полупрозрачные среды, и по этому вопросу я опубликовал впоследствии несколько мемуаров. Таким образом, уже к концу 1919 года я основательно оброс различными обязательными занятиями, бравшими значительное время, и это – при полном отсутствии городских путей сообщения.[306]

Времени для дома у меня оставалось все меньше и меньше. Оно еще уменьшилось, когда Дмитрий Александрович Магеровский пришел ко мне с неожиданным предложением. Это был весьма бойкий молодой профессор факультета общественных наук, когда-то (т. е. очень недавно) левый социалист-революционер, участвовавший даже в восстании левых эсеров в Москве летом 1918 года, чуть было не расстрелянный Бела Куном, покаявшийся и ставший коммунистом. Дмитрий Александрович был председателем так называемого Книжного центра, помещавшегося в одном из старых домов напротив «Континенталья». Этот Книжный центр, зависевший одновременно от Академического центра (Покровский) и Госиздата (Воровский), представлял из себя гибрида со смешанными функциями: на его обязанности лежало создание новой научной литературы, и при нем были бесчисленные комиссии из профессоров по всевозможным специальностям; кроме того, он должен был скупать и собирать научные библиотеки и из этого книжного фонда снабжать высшие учебные заведения и научные учреждения. Всякий раз, когда я проходил мимо, я испытывал желание попасть в одну из комиссий по моей специальности.

Легко представить себе, как заинтересовало меня предложение Дмитрия Александровича, состоявшее в следующем: так как он должен был уехать на Украину в длительную командировку в качестве замнаркома юстиции, мне предлагалось стать членом коллегии и заместителем председателя Книжного центра с тем, чтобы в отсутствие Дмитрия Александровича исполнять обязанности председателя. Коллегия состояла из Н. М. Лукина и В. П. Волгина, с которыми мне было очень легко поладить; третьим членом являлся сам М. Н. Покровский, который, конечно, никогда не приходил, но под протоколами подписывался. Книжный центр имел рабочий аппарат: секретариат, финансовый отдел, библиотечный

отдел, издательский отдел, книжный склад. В качестве главы учреждения бывать там требовалось ежедневно. Мы с тобой посоветовались, и я согласился.[307]

Мне пришлось перенести мои остальные занятия на вторую половину дня, и из этого получилось, что домой я приходил поздно, иногда – совсем поздно вечером. Что касается до тебя, то, когда позволял ревматизм, ты продолжала свою работу в Трамоте, и это оказалось очень вредно. Ты продолжала жить интересами своей семьи, что вполне законно. Но чувствовалось все большее и большее влияние семьи на тебя и притом в вопросах, которые для нас с тобой, для нашего будущего были весьма существенны. Я думаю, что все течение нашей жизни приняло бы иной, более нормальный характер, если бы ты послушалась меня. Я не могу тебя винить: ты была так молода, так неопытна, относилась с таким доверием к отцовскому уму и здравому смыслу теток. Я тем более не могу винить тебя, что больше половины твоей жизни проходило в страданиях от ревматизма, и уже очень скоро Д. Д. Плетнев, которого я пригласил, нашел твое сердце весьма продвинувшимся по тому скорбному пути, конец которого так свеж. Я жалел тебя, протестовал и сам иногда боялся своих протестов, тем более, что твоя мать имела слабое сердце и скончалась в возрасте 47 лет, неожиданно для всех. Я говорю «протестовал», но у нас, до удивительности, господствовало взаимное доверие и взаимная готовность избегать острых конфликтов.

Из Трамота ты возвращалась к четверем – половине пятого, как и я – из Книжного центра. Мы быстро стряпали (на железной печке) и ели. Что стряпали? Еды было не очень много, но все-таки то ты, то я приносили выдачи продуктами, иногда – курьезные. Например, один раз курьера из Книжного центра притаскивает мою долю конины: мешок звенит, – мы открываем его и находим копыта с подковами. Картошка всегда бывала мороженая; мы клали ее в холодную воду, и очень скоро на ней выступал слой льда; отколупнув его от картошки, можно было варить ее и есть без отвращения. Просо иногда выдавали не ободранное, и варить из него кашу было невозможно, но мы выменивали его на яйца у одной женщины, державшей птицу. Хлеб выдавался совершенно несъедобный, но из имевшейся у нас муки одна женщина выпекала для нас очень хороший заварной хлеб, правда, с некоторой примесью картошки. Приносить его домой приходилось с оглядкой, так как частная выпечка хлеба была запрещена. В качестве фруктов мы имели яблоки, полученные из университетского кооператива. За этими получениями мы отправлялись вместе, с санками, и на обратном пути я вез, а ты направляла сзади и подталкивала их, что было необходимо: везде улицы были в совершенно разбитом состоянии.

Я помню, как будто это было вчера, твою дорогую храбрую фигурку в меховом колпачке, закрывавшем уши, и в шубке, весьма тебе шедшей. Ты бодро и весело покрикивала, я бодро и весело вез, и дома, садясь за стол, мы никогда не забывали помянуть тетю Маню. Питание наше стало совсем хорошо, когда стал выдаваться академический паек. История этого пайка заслуживает внимания.

Не проходило заседания ГУС, чтобы кто-нибудь (чаще всего это бывал я) не начинал говорить об ужасном положении ученых, которые получают жалованье, недостаточное, чтобы заплатить раз извозчику от Мясницкой до университета, и не имеют выдач продуктов. «Вы, Владимир Александрович, – отвечал мне с раздражением Покровский, – с вашим esprit caustique[308] всегда видите все в черном свете. Конечно, мы очень виноваты перед профессорами». Наконец, в феврале месяце он заговорил сам: «Чего не могли добиться мы, добился Максим Горький. Совнарком постановил отпускать ежемесячно триста академических пайков». – «На кого? На Москву?». – «Нет, на всю республику». – «Помилуйте, это невозможно, один Московский университет...» – «Что же делать? Вероятно, потом удастся расширить дотацию, а пока надо распределить эти триста. Займитесь этим, товарищи. Владимир Александрович возьмет математиков, Аркадий Климентьевич – физиков, Вартан Тигранович – астрономов. Гуманитарии возьмут историков, филологов, юристов». – «А литература? Искусство?» – «Декретом не предусмотрено». – «Сколько же дается на математику?» – «Вот вам постановление коллегии». – «Но позвольте, разве

возможно удовлетворить математиков двадцатью пайками?» – «А если вы находите невозможным, так мы сделаем это сами. Только не воображайте, что сами вы останетесь без пайка. Членам ГУС пайки уже отпущены, и нарекания на вас, т. Костицын, все равно будут».

Принесли списки. «Товарищ Костицын, так что же?» – «Нет, я не могу взять на себя ответственность». – «Ну, так ее возьмем мы. Кто тут по списку: профессор Егоров – пайка не давать, профессор Лузин – пайка не давать...» – «Позвольте, Михаил Николаевич, это же – скандал». – «Ага, вас пробрало. Садитесь и распределяйте». Я сел и распределил. Так же сделали и остальные.

К заседанию математической предметной комиссии семь московских математиков уже получили повестки о пайках. Председатель Б. К. Млодзеевский обратился ко мне за разъяснениями в весьма суровом тоне: «Вы, член Государственного ученого совета, должны знать, что все это значит. Семь пайков... Но ведь нас гораздо больше семи. Кто виноват в этом безобразии? Кто выбрал эти семь имен?» – «Я выбрал эти семь имен». – «Ах, значит, это вы взяли на себя такую огромную ответственность? Удивляюсь вашей смелости». – «Смелость моя, действительно, очень велика, но иного выхода не было. А если бы вам, Борис Корнелиевич, предложили этот отбор?» – «Я бы отказался». – «И тогда пайки уплыли бы в другой город. Подумайте немного: ведь это – начало, пробита первая брешь; я уверен, что очень скоро все мы будем иметь пайки. Вы предпочли бы умыть руки и оставить всех голодными; я предпочел взять на себя ответственность, получить от вас жестокий разнос, но, по крайней мере, мы уже имеем кое-что и будем иметь еще больше». Он замолк, остальные также ничего не сказали; потом каждый по отдельности просил меня о защите своих интересов. Действительно, через месяц число пайков было расширено до тысячи, а еще через месяц все научные работники, и даже с семьями, были обеспечены продовольствием.

Я очень хорошо помню, как мы с тобой отправились с санками получать первый паек, который выдавался в шести различных местах города. Мы получили хороший кус мяса, несколько кило сахара, два кило масла – настоящего хорошего сливочного масла, муки, меда, шоколада, сыра и постного масла. Привезя домой все эти сокровища, мы позвали всех домашних полюбоваться, а Ивана Григорьевича с детьми позвали на обед. Ты с твоей добротой и незлобивостью хотела звать и тетку с семьей, но я решительно воспротивился.

После обеда я обыкновенно быстро уходил в университет (все курсы были вечерние) или на заседания или по деловым визитам и возвращался очень поздно. Перемещения все имели место пешком, и иногда за день я выхаживал 25–30 километров; к тому же я имел глупость взять группу в Институте путей сообщения и вел курс математики для физиков и натуралистов в университете Шанявского. Легко себе представить, в каком усталом виде я возвращался домой, и когда ты, моя родная, бывала больна, то приходилось заниматься еще и нашими хозяйственными делами. Кроме меня, о тебе никто не заботился.[309]

Очень скоро обнаружилось, что мой единственный костюм приходит в ветхость. Пока у меня оставалась моя военная шинель, я мог читать в ней лекцию, ссылаясь на холод в аудитории. Но была объявлена мобилизация шинелей, и мне заменили ее довольно короткой полукурткой-полупальто, из-под которого трагическое состояние брюк бросалось в глаза. Я, памятуя, что Михаил Николаевич – бывший председатель Моссовета, обратился к нему, и он очень любезно дал мне записку, прибавив: «Пойдите к товарищу такому-то; он многим мне обязан и все сразу сделает». Это было в пятницу. В субботу я повидал в Моссовете указанного товарища, который хмуро взглянул на меня и сказал: «Что же, Михаил Николаевич воображает, что мы обязаны одевать весь Наркомпрос?», но сделал надпись: «Удовлетворить» и направил меня в отдел распределения на Ильинку. Там мне сказали, что нужно придти в понедельник в 9 ч. утра.

Явившись в понедельник, становлюсь в огромный хвост к комендатуре, чтобы получить пропуск внутрь здания на следующий день. Получаю пропуск в час дня; ухожу и возвращаюсь

во вторник утром. Стою в хвосте до 12 ч., чтобы попасть внутрь (пускают маленькими группами). Вот я и внутри: становлюсь в хвост к справочному бюро, попадаю туда к часу дня; мне пишут на бумажке: окошко № 17. Становлюсь в хвост, попадаю к названному окошку к 13 ч. 40 м.; там смотрят бумажку и говорят: «Не сюда. Вам нужно окошко № 34». Опять становлюсь в хвост, попадаю к названному окошку к 14 ч. 30 м.; там смотрят и говорят: «Не сюда. Вам нужно окошко № 19. Только сейчас уже поздно; приходите завтра». – «Помилуйте, – говорю я, – дайте мне хоть пропуск на завтра без очереди». – «Не дело, товарищ; мы – против привилегий, а впрочем...»

На следующий день жду сорок минут, чтобы пройти без очереди, и становлюсь в хвост к окошку № 19. Попадаю к 11 ч. как будто туда, потому что никуда не посылают, а берут бумажку на заключение коллегии; придти за резолюцией надо в пятницу; получаю пропуск без очереди. Прихожу в пятницу: с тем же церемониалом меня отсылают в окошко № 37; там надменная девица объявляет мне резолюцию: «Объяснить причину такой нужды в брюках». – «Вам нужна причина? Да?» – «Вы грамотны, товарищ?» – «Вот она». Я поднимаю пальто и при общем смехе поворачиваюсь кругом, чтобы лучше были видны мои лохмотья. «Вам достаточно?» – «Нет, надо изложить это на бумаге». – «Ну уж нет, с меня достаточно». Вечером на заседании ГУС я передаю Михаилу Николаевичу его записку, исчерченную карандашами, номерами, покрытую разноцветными штемпелями, с объяснительным документом, где излагаю все мои мытарства. Крайне недовольный, он берет и говорит: «Вот вы всегда так – найдете что-нибудь неблагоприятное для нашего советского аппарата».

Вернувшись вечером домой, я рассказываю тебе все, и ты отвечаешь: «Дурачок, давай кончим эту историю тем, с чего следовало ее начать». Ты находишь в своем гардеробе старое темно-синее пальто, зовешь Марью Степановну – портниху, жену нашего университетского чучельщика-натуралиста, живущего в доме. Та несколько сомневается, сумеет ли сшить на мужчину, но, получив муки и сахара, соглашается, и через два дня я – с брюками; они довольно тонки, но не прозрачны, и я могу снять пальто, не стесняясь. Правда, кой-кому это не нравится, и в течение нескольких лет другая твоя тетушка – Розалия Григорьевна, когда хочет нас уязвить, кричит через стену: «Этот человек, который пришел в наш дом без штанов и живет нашим добром...». И далее – через несколько минут: «У него настолько нет понимания и воспитания, чтобы относиться к старой тетке своей жены с почтением и симпатией». Ни меня, ни тебя это уже не трогает.

Зато с Иваном Григорьевичем мы все больше и больше привыкаем друг к другу; он часто заходит к нам поболтать, особенно – про поездки за границу, когда на Рождество он оставлял в Москве снег и холод, уезжал в Ниццу, засовывал в петлицу цветов и отправлялся гулять на Promenade des Anglais. Бедный, ему так и не удалось снова выполнить эту программу, но мы с тобой во время наших пребываний на Côte d'Azur[310] в 1923 и 1949 годах вспоминали об Иване Григорьевиче.[311]

В это же время ты поступила на Курсы дипломатических и коммерческих представителей при НКВД и НКВТ и кончила их с успехом, однако назначения не получила никакого, несмотря на высшее экономическое образование и великолепное знание иностранных языков. У нас было уговорено, что при первой возможности ты бросишь Трамот и перейдешь на более интересную работу, но возможность эта, при твоей болезни и общей неустойчивости положения, долго не приходила.

Что касается до моей загрузки, то она все более и более усиливалась. В. В. Стратонов приступил к осуществлению своего плана относительно постройки Астрофизической обсерватории. Это не значит, что началась постройка, но началась подготовка почвы как в астрономических, так и правительственных кругах, и мне пришлось принять в этой кампании ближайшее участие. Мы образовали инициативную группу и через посредство научного отдела Наркомпроса разослали анкетные листы. Ответы стали приходиться довольно быстро: сочувствие было общее, но практические и программные предложения давали невероятный

разнобой.

Домашняя жизнь наша из-за холода протекала мало уютно, но спокойно. За эту зиму нам не удалось много развлекаться; даже по абонементу на бетховенские симфонии тебе из-за болезни пришлось пропустить два концерта. Из спектаклей я помню «Князя Игоря» в Большом театре[312] и «Сирано де Бержерак» у Корша,[313] последний – в отвратительных условиях. У нас был только один билет (билеты распределялись через профсоюзы); ты надеялась устроиться через капельдинера или купить при входе – не удалось. Капельдинер согласился меня впустить с тем, чтобы я занял пустующее место. Таковых было несколько, но злой судьбе оказалось угодно, чтобы владельцы появлялись через десять минут после того, как я сел. Мне пришлось несколько раз подниматься, извиняться и переходить на другое место; только с половины третьего акта я мог спокойно сидеть. И как все изменчиво: пьеса совершенно не понравилась тебе, хотя была сыграна прекрасными актерами и в очень красивых декорациях. Много лет спустя ты побывала на «Сирано» в Com?die Fran?aise[314] и вернулась в полном восхищении.

В том же театре Корша мы посмотрели «Сон в летнюю ночь», и пьеса не понравилась нам обоим: слишком много примитивной грубости, которая была еще подчеркнута комиками (Кригером и др.) – исполнителями ролей мастеровых. Элементы волшебства и поэзии не были достаточно выявлены; музыка Мендельсона не сопровождала спектакль. Опять-таки через много лет мы с тобой видели в Париже фильм,[315] который мне очень понравился (я даже посмотрел его дважды), а ты отнеслась к нему весьма скептически и говорила, что Шекспира делает здесь приемлемым исключительно музыка Мендельсона.

В Книжном центре шла обычная рутина, работали комиссии, заключались договора, но ничто не печаталось. Я много раз ходил по этому поводу ругаться с В. В. Воровским, который неизменно встречал меня фразой «Скажите, что вас так гневит». Я излагал ему, что именно, и вносил разные практические предложения, в том числе передать нам в эксплуатацию маленькую, но хорошо организованную типографию, не помню уж какого издательства. Он всегда старался рядом литературных фраз, в весьма любезной форме, охладить мой издательский пыл, обращая внимание на положение страны и т. д. Я отвечал, что положение страны не станет лучше от бездействия типографий и отсутствия элементарных учебников, и указывал ему на деятельность частных издательств. Он разводил руками и не предпринимал ничего.

Я обращался к Михаилу Николаевичу, который отвечал путаными рассуждениями, чтобы обосновать квиетизм[316] по-марксистски. На каждом заседании нашей коллегии мы требовали, без результата, сдвига с мертвой точки. Публика, которая приходила ко мне на прием, была очень интересна. Иногда это бывал старый офицер, ведающий культурными начинаниями на Туркестанском фронте, в «умоотводе»,[317] с картинной бородой, – со скромной и легко удовлетворимой просьбой о сформировании библиотеки. Иногда с теми же нуждами и теми же просьбами обращался библиотекарь одного из провинциальных университетов. Этого рода просителей я очень любил и для меня было радостью, когда я мог исполнить их просьбы.

Очень часто приходили фантазеры и шарлатаны, как, например, темноглазый, темнолицый, сожженный солнцем факир, исходивший пешком Индию, Персию, Афганистан и нашу Среднюю Азию; его рассказы звучали как арабская сказка. Он обладал несомненным талантом рассказчика, но я тщетно старался поймать в его речах хоть какой-нибудь признак подлинности. Наконец, я спросил: «Вы очень хорошо говорите по-русски; где научились?» – и он ответил: «Да я же – чистейший хохол». Приходили учредители разных лиг: молодой поэт-футурист, учредитель лиги «Светоносное братство»,[318] с рекомендацией от академика Ольденбурга. Несколько месяцев спустя я спросил у Ольденбурга об этой лиге и этом молодом поэте; он покраснел, сказал, что ничего не знает, и отрекся от своей рекомендации, которая, однако, была подлинной. Очень много приходилось разговаривать с членами

различных научных комиссий при Книжном центре, и я знакомился таким путем с представителями московской профессуры, не только университетской, но и технической. Среди них встречались разного типа люди: были идеалисты, были и рвачи; были реакционеры, были и коммуноиды, некоторые – искренние, большинство – ж...лизы. Что же делать, так оно было.

Еще осенью 1919 года, когда жизнь стала необычайно трудной, многие профессора взялись совмещать Москву с Иваново-Вознесенском, Тверью и другими провинциальными городами, где легче было доставать продукты питания и отопление. Н. Н. Лузин сделался профессором Иваново-Вознесенского политехнического института и значительную часть времени проводил там; другие думали вообще покинуть Москву на некоторое время. Поэтому когда В. В. Стратонов, организатор университета в Ташкенте, предложил мне кафедру, которая пока не обязывала к отъезду, я принял предложение и в ноябре 1919 года был избран профессором Ташкентского университета. Другим математиком оказался Леонид Кузьмич Лахтин, которого, как и меня, привлекала мысль об организационной и культурной деятельности в Средней Азии.

Пока университет существовал лишь как зародыш в Москве, нашей обязанностью было составление учебных планов и программ, закупка книг, инструментов. В качестве заведующего Книжным центром я помог университету составить очень приличную библиотеку, в чем впоследствии Михаил Николаевич упрекал меня, а я отвечал ему: «Вы, вероятно, предпочли бы, чтобы библиотека была не приличной или вовсе отсутствовала». Пока еще вопрос об отъезде не ставился, но уже предполагалось, что с осени некоторые кафедры начнут действовать, и мы с тобой задумывались над вопросом, как быть: ехать или не ехать.

Так шло время. Прошли три месяца, которые были указаны нам как максимальная длительность нашей совместной жизни. Прошли шесть месяцев. Наступал март, становилось теплее, и мы подумывали о возвращении в кабинет, который, за исключением отопляемости, был удобнее во всех отношениях. Это было тем более спешно, что его собирались занять Марья Григорьевна и Александр Александрович, который со свойственным ему шукарством предлагал мне уплатить половину расходов по пробитию капитальной стены для вывода дыма через маленькую комнату, по установке печи и отоплению. Когда я спросил его, в чем же будет моя выгода, он ответил: «Помилуйте, дымоход пойдет через маленькую комнату и будет вас согреть».

Но я предпочел проделать все это сам и пользоваться теплом, проживая в большой комнате. Мы нашли печника-специалиста, который сложил из кирпичей по хорошей печке у нас и в спальне Ивана Григорьевича. Как показало будущее, эти печи были вполне достаточны для поддержания хорошей температуры в течение всей зимы. Дрова пришлось держать тут же, в кабинете; печка имела сверху плиту и можно было тут же стряпать. По сравнению с прежней зимой – прогресс невероятный.

Возвращения домой по вечерам были не всегда безопасны: иногда постреливали, часто нападали; один раз за мной шли по пятам с недобрыми намерениями. Ты всегда очень волновалась, когда я возвращался поздно, а один раз произошел забавный случай. Я возвращаюсь домой после очень затянувшегося заседания ГУС и слышу, что кто-то бежит за мной по пятам, ни на минуту не отставая. Это была неизвестная женщина. После того, как мы пробежали километра два, я обернулся и спросил, чего та хочет. Она ответила, что очень боится идти одна. Я засмеялся и сказал: «Почем вы знаете: может быть, я опаснее, чем те, кого вы боитесь?» – «Ну уж нет, – ответила она, – я тоже что-нибудь понимаю: у вас – добрая спина». Так мы с ней и шли почти до Архангельского переулка.

Иногда мне случалось вернуться поздно, не имея возможности тебя предупредить, и тогда, перед тем, как войти в комнату, я брал в рот полотенце, становился на четвереньки и так

подходил к тебе, а ты брала полотенце и немного меня постегивала. Стегать, в общем, было не за что: жизнь была трудна, время было тяжелое, и нужно было отдавать максимум своей энергии, чтобы вывести страну из состояния хаоса.[319]

Из членов твоей семьи я до сих пор ничего не говорил о Сереже. Если старшее поколение осталось совершенно вне тех событий, которые с такой интенсивностью разворачивались в то время, то Сережа с избытком заплатил этот семейный долг. Еще в реальном училище он примкнул к советски настроенной молодежи, образовавшей потом комсомол, проявления чего не всегда были приятны, но соответствовали духу времени.

Осень 1919 года. Сережа пришел из училища и садится за стол. «Лапшин, – говорит он об одном из своих педагогов, – мерзавец, настоящий контрреволюционер, задает уроки и пытается их спрашивать. Ну, да мы приняли меры...» – «Какие же?» – «А Чека на что?» Общее молчание. Я нарушаю его, высказывая без церемоний Сереже, что об этом думаю. Он слушает меня с большим нетерпением и потом говорит: «Теперь понятно, почему вы – не коммунист».

Другой раз – на столе гречневая каша. «Тетушка, вы же говорили вчера, что крупа вся вышла». – «Так оно и было, но я купила». – «А, значит, была выдача?» – «Ну какие же сейчас выдачи? Мы нашли место, где продавался пуд». – «Ага, черный рынок? А мы как раз ведем с ним борьбу. Нет, этой каши я есть не буду. Где вы купили крупу?» Молчание. «Ну ничего, Чека дознается». И с этими словами он выходит из-за стола в свою комнату... Иван Григорьевич бежит следом за ним и с большим трудом уговаривает его не делать глупостей. Поэтому велико было общее облегчение, когда комсомол отправил Сережу в длительную командировку в Туркестан.

О Кате я уже много говорил: она не лишена была ни чуткости, ни человеческого понимания; чувствовала себя и физически и морально очень плохо; тебя и отца чрезвычайно любила. Но временами тот или иной поступок Ивана Григорьевича возбуждал в ней отталкивание, и она становилась совершенно несчастна. Ты, с твоей снисходительностью к отцу, старалась объяснить Кате причины и результаты отцовской слабости и убедить ее, еще ребенка, быть снисходительной к почти детской слабости характера Ивана Григорьевича.

При Марье Григорьевне и Александре Александровиче жил их сын Котя (Константин) – молодой человек, года на три моложе тебя. Он совершенно не унаследовал материнских свойств и в слабой мере унаследовал отцовскую мягкость, превращавшуюся у него в такт и сговорчивость. Родители (и это – к их чести) старались дать ему хорошее образование: Котя много знал, был культурен, музыкален, говорил на нескольких языках. С нами он старался не ссориться и даже заглаживать материнские выходки.

Его репетитор, Илья Аркадьевич М[ильман], прижившийся в теткиной семье, был довольно желчным холостяком, постоянно пикировавшимся с Александром Александровичем, который тоже никак не хотел оставить его в покое. По образованию он был математиком, но предпочел работу не по специальности во Всерокоме и в Трамоте. Котя очень любил его, как и он – Котю, но отношения со старшими портились все больше и больше.

В квартире, в бывшем будуаре твоей матери, проживал еще с осени 1919 года тот самый спекулянт Сидоров, которому Иван Григорьевич продал (и продолжал продавать) вещи, и при Сидорове жила на положении жены очень бойкая и недурная собой особа – Нина Георгиевна Попова. С ними мы никак не сталкивались; во всяком случае, они были всегда корректны и любезны.

Обслуживался весь этот микрокосм вашей прислугой – Соней Салчунас, литвинкой. Марья Григорьевна запрещала ей заниматься нашим хозяйством, но, так как на службе проводила время от 9 ч. до 16 ч., Соня отнюдь не отказывалась поработать и для нас. И вот тут один раз

(и только один раз) ты проявила весьма удивившую меня ревность. Мы с тобой пришли на кухню к Соне, чтобы напилить дров; пила была на двоих и слабая; взялись, и дело не пошло: для тебя это было слишком трудно. Тогда Соня заменила тебя, и все пошло очень хорошо. Но вдруг она перестала быть внимательной и стала с беспокойством смотреть на тебя. И было отчего: ты побледнела и дышала тяжело так же, как при пропаже кольца. Я понял и перестал пилить. Соня допиливала одна, и ты сразу успокоилась. Вернувшись к себе в комнату, мы не сказали друг другу ни слова об этом инциденте, и я так и не знаю, какого рода была эта ревность: спортивная или самая обыкновенная. Я опять дал себе слово беречь тебя и берег. Во всяком случае, я ставлю в большую заслугу тебе и мне, что мы не углубляли этот глупый инцидент.

Приблизительно в апреле произошло одно странное и очень напугавшее нас происшествие. Мы сидели в креслах в нашей комнате, ты – под портретом своей матери: хорошим портретом, в роскошной тяжелой золоченой раме. Говорили о ней: ты рассказывала об обстоятельствах ее смерти в августе 1917 года на вашей даче в Перловке. Несколько дней она болела дизентерией, которая как будто собиралась проходить и никого особенно не беспокоила. Иван Григорьевич занимался в Москве своими делами; врачебный надзор имел место, но нерегулярный и слабый. И вдруг сердце, которое было у нее в плохом состоянии, сдало, и она умерла прежде, чем кто-нибудь сообразил что-нибудь сделать. Мы говорили про болезненную полноту тети Аси и плохое сердце вашего дяди с материнской стороны.

И вдруг ты задала вопрос, которого ни до, ни после не задавала и который мне не понравился: «Ты знаешь очень давно такого-то, знал его еще до встречи со мной, знаешь слухи, которые ходили о нем и о моей матери. Не исходили ли эти слухи от него? Говорил ли он тебе что-нибудь?» Я ответил весьма сухо: «Он говорил мне довольно часто о твоей матери и всегда с чувством большой симпатии и уважения». Это было правдой. В тот же момент тяжелый портрет сорвался со стены и полетел тебе на голову. Я еле успел придержать его и направить в сторону, вреда не было никакого, но мы были очень этим поражены. Осмотр [рамы] не дал никаких результатов: все было в совершенном порядке. До сих пор я вспоминаю этот случай с недоумением и не знаю, что думать. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы полагать, будто с твоей стороны имело место какое-то неуместное любопытство, скорее – проявление некоторого недоверия к этому господину. Ты очень любила свою мать и сколько раз в тяжелые моменты призывала к ее памяти. Что же касается до падения портрета, то, конечно, можно сослаться на совпадение, но не слишком ли много валят на случай?

Как раз в это время заговорили снова о Курской магнитной аномалии. Красин обратился к Лазареву с предложением заняться данной работой. Московские физики, которые не терпели Лазарева, заговорили везде о том, почему собственно опять фигурирует он. Я отправился в научный отдел Наркомпроса к Д. Н. Артемьеву, чтобы переговорить об этом и, кстати, о других делах. Научный отдел сидел в бывшем округе[320] – старом учреждении со старинной мебелью. У Дмитрия Николаевича в кабинете были великолепные старинные кресла, с бархатной фиолетовой обивкой, для него самого и его посетителей. И вот я восседаю напротив в таком кресле и излагаю ему свои дела. Он внимательно слушает.

Я опускаю глаза на документы, поднимаю их: что за притча? Дмитрий Николаевич сидит против меня в католической сутане и с тонзурой на голове. Еще несколько секунд: снова он – в его обычном виде. Через несколько минут я снова роюсь в документах, снова поднимаю глаза, снова вижу Дмитрия Николаевича в сутане и с тонзурой. Что за глупость? Откуда это? Он – видный коммунист, видный ученый, ректор Горной академии, член коллегии Н[аучно] – Т[ехнического] О[тдела] ВСНХ, заведующий научным отделом Наркомпроса, чисто русский; уж больше было оснований видеть его в православной поповской рясе.

Тут я принужден несколько изменить хронологический порядок и сделать два прыжка вперед. Через два года, в 1922 году, Дмитрий Николаевич спрашивает научную командировку,

уезжает в Чехословакию и не возвращается. В 1923 году осенью мы с тобой находимся в Париже и навещаем Владимира Ивановича Вернадского и его жену. Я уговариваю Вернадского вернуться в Россию; мы очень долго спорим, иногда оставляем этот вопрос и говорим о других вещах.[321] Я задаю ему вопрос, не знает ли он, что случилось с его учеником Артемьевым. «Как же, знаю, – отвечает он мне. – Артемьев принял католичество и стал католическим священником; сейчас он находится в Риме при библиотеке Ватикана».[322]

Но вернемся в Москву к апрелю 1920 года. Дмитрий Николаевич обещает мне заняться вопросом о Курской магнитной аномалии, и мы с ним весьма любезно расстаемся. От него никаких больше известий по этому делу я не имел, но несколько дней спустя получил от П. П. Лазарева весьма любезное извещение о моем назначении членом Комиссии по изучению Курской магнитной аномалии с приглашением на ближайшее заседание.[323]

На заседание Комиссии я иду с заранее принятым решением во всем и всюду быть против П. П. Лазарева, но картина, которую застаю, заставляет меня задуматься и изменить мое решение. Заседание было весьма многолюдным. Из присутствовавших помню Андрея Дмитриевича Архангельского – профессора геологии у нас на факультете; геофизиков, из университета же, Бастамова и Пришлецова, с которыми я был знаком уже; нескольких магнитологов из Морского ведомства, присланных академиком А. Н. Крыловым; профессора Горной академии по горной разведке Ключанского и доцента той же академии Ортенберга; представителя Горного управления ВСНХ инженера Кисельникова и еще нескольких лиц.

Выясняется, что рукопись Лейста с результатами его магнитной съемки была передана им немцам и некий крупный консорциум из Берлина предлагает на некоторых условиях взять концессию на полосу Курской магнитной аномалии. Очевидно, он и является владельцем материалов Лейста; у нас ничего нет, кроме его рукописи, содержащей общее описание магнитного поля в этой области, но без всяких географических указаний и без числовых данных. Что делать в таких условиях? Лазарев и Архангельский предлагают принять предложение Красина о быстрой, хотя бы и упрощенной, магнитной съемке и немедленно к ней приступить. В этом пункте разногласий как будто нет, но они начинаются, как только поднимается вопрос о методах съемки и об инструментах для ее осуществления.

Кисельников, Ключанский и Ортенберг настаивают на шведских инструментах и на шведских методах, Лазарев и Архангельский – на использовании так называемых «котелков» Морского ведомства, то есть буссолей, снабженных дефлекторами де-Колонга. Разница – весьма существенная: на всю Россию имеются только два комплекта шведских инструментов, и тут же выясняется, что даже сам Ключанский не умеет ими пользоваться. «Котелков» имеется несколько десятков, и в лице штурманских офицеров есть нужное количество квалифицированных наблюдателей. Но Кисельников, Ортенберг и Ключанский не пренебрегают ничем, чтобы сорвать намечающуюся работу. Естественно, что в таких условиях я нашел нужным драться за патриотическое решение вопроса, хотя бы и в обществе Петра Петровича Лазарева.

Мы очень быстро сблизились с Архангельским, о котором много хорошего говорил мне еще Отто Юльевич Шмидт. Начиная с этого момента, и надолго, образовался триумvirат из Лазарева, Архангельского и меня: разговаривать по магнитным делам мы всюду ходили вместе. Потом, естественно, возникли другие дела, по поводу которых мы также оказывались солидарны, но об этом разговор будет дальше. Я не помню, был ли на этом заседании Иван Михайлович Губкин, профессор нефтяного дела и прикладной геологии в Горной академии; мне кажется, что он появился в Комиссии и возглавил ее несколько позже.[324] В моей книжке «Курская магнитная аномалия», появившейся в 1923 году, а также в некоторых журнальных статьях[325] я много говорил об истории и о результатах этих работ. Не буду повторяться, но в процессе писания моих воспоминаний я буду останавливаться на некоторых моментах, которые не нашли себе места в печати, а также и на тех сторонах вопроса, на которые мой взгляд с тех пор изменился.

Отмечу, что полемика на этом заседании, как и на последующих заседаниях, носила очень страстный и часто даже пристрастный характер. Когда Кисельников начинал говорить, что причиной аномалии может быть только железо, Лазарев с торжеством указывал на ферромагнитные сплавы платины с чем-то еще, осуществленные в лабораториях, и у хозяйственников сводило дыхание от перспективы иметь несколько миллионов тонн платины. Ключанский уличал Лазарева в неумении пользоваться магнитными приборами, а Лазарев – Ключанского: и то, и другое было верно. Только физик-экспериментатор Лазарев в два счета овладевал этой техникой, а профессор этой техники Ключанский, преподававший ее в Горной академии, оказался не способен ее одолеть. На этом же первом заседании Кисельников обвинил Лазарева в том, что он имеет все результаты Лейста, но скрывает их для того, чтобы вытянуть деньги на новую съемку; к этому вопросу мне еще придется вернуться.

На том же заседании меня очень поразил А. Д. Архангельский. Когда Кисельников заговорил о том, что из работ авторитетнейшего русского геолога Карпинского с несомненностью вытекает нахождение кристаллических пород в Курской губернии на огромной глубине, Архангельский встал и развернул схему, основанную на ряде бурений. Из нее вытекало, что девон в Курской губернии вовсе не образует огромных толщ, а выклинивается, как оно потом и оказалось; доказательство было дано Архангельским с исключительной точностью и бесспорностью, но не убедило его оппонентов.

С этого заседания я вернулся с определенным впечатлением, что концессионеры пустили в ход всевозможные убедительные аргументы, дабы иметь своих защитников среди ученых и хозяйственников, и что в этом они преуспели. Ранее, обсуждая иногда с коллегами тему подкупности, я часто слышал мнения, а иногда и сам их выражал, что для того, чтобы подкупить крупного деятеля, министра, депутата, командующего армией или корпусом, профессора, который дорожит своей научной репутацией, нужно затратить такие крупные суммы, что подкуп теряет интерес. После этого заседания я начал понимать, что все, по-видимому, гораздо проще и дешевле. Сейчас, после всего, что я повидал, думаю, что очень часто расход такого рода не должен много превышать тот десяток папирос, который открывал многие возможности во время оккупации...

В это же время (апрель – май 1920 г.) мне пришлось участвовать в двух бурных заседаниях ГУС. Одно было по поводу учреждения государственного университета в г. Великом Устюге. Докладчиком выступал председатель местного исполкома Горовой, который мне чрезвычайно понравился. Это был яркий представитель новых сил, выдвинутых революцией; ему не терпелось творить, будить, просвещать. Возражал Волгин, которого пугала, как он выражался, «грюндерская горячка, охватившая страну», и разговор между ними происходил следующим образом:

Волгин: Сколько у вас в городе жителей?

Горовой: Семнадцать тысяч и, если нам дадут университет, число это быстро утроится.

Волгин: Какие же здания могут у вас там быть, чтобы развернуть факультеты со всеми подсобными учреждениями?

Горовой: Леса, первоклассного леса, – сколько угодно; все возьмем за топоры, я – первый.

Волгин: Ну, это когда-то еще будет, а ведь вы хотите открывать сейчас?

Горовой (хитро подмигивая): Помилуйте, товарищ, мы уже открыли. Университет наш действовал целый год.

Волгин: Гм... Сколько же у вас было студентов?

Горовой: Три тысячи, и они очень были довольны; край богатый, и они имели пайки.

Волгин: Кто же преподавал? Через нас не проходило никаких назначений. Если вы воображаете, что достаточно переименовать учителей в профессоров, то вы ошибаетесь, и с этим мы никогда не согласимся.

Горовой: Помилуйте, т. Волгин, я очень хорошо это понимаю. Мы и сами хотим, чтобы состав у нас был первоклассный. Конечно, трудно это осуществить, и мы избрали такой путь: приглашали на два месяца профессоров отсюда и из Петрограда

(перечисляет ряд крупнейших имен) : они бывали очень рады прокатиться, согреться и подкормиться. Прочитывали свой курс, экзаменовали и уезжали, очень довольные своим пребыванием у нас.

Волгин: Ваш город – даже не на железной дороге. В нем мало школ первой и второй ступени.

Горовой : Правильно, т. Волгин, но именно присутствие у нас университета заставит подтянуться другие ведомства и, кстати, поднимет интерес к просвещению в крае. Мы – тоже грамотные: знаем, что Петр Великий был прав, учреждая Академию наук раньше школьной сети. Большой, большой стимул. Да и при университете нам легче будет получить железную дорогу. А как разовьется край! Ведь он – богатейший! Чего только нет у нас и в недрах, и наверху, и ничего еще как следует не изучено.

Последовали очень бурные прения. Голосование дало победу Волгину. Уходя, Горовой потряс кулаком и сказал: «А все-таки университет в Великом Устюге будет». И, действительно, коллегия Наркомпроса утвердила мнение меньшинства. К сожалению, Горового через год перевели на другую работу – в Москву, и без него при первом же сокращении сети этот университет был закрыт.

На другом заседании ГУС обсуждался доклад Стратонова об организации Астрофизической обсерватории. Неожиданным противником оказался именно «астроном» Тер-Оганесов; его глупейшие (а иногда недобросовестные) возражения перечислены в первом томе публикаций обсерватории.[326] В качестве экспертов были вызваны А. А. Михайлов и С. Н. Блакко: первый говорил дельно и сочувственно; в выступлении второго чувствовалось, для моего уха, недоброжелательство к идее и к докладчику, но это было так хорошо запрятано, что не специалисты – члены ГУС ничего не заметили. В результате было постановлено образовать Временный комитет по организации Астрофизической обсерватории в составе Блакко, Костицына, Михайлова, Стратонова и Тимирязева.

Таким образом прибавилась еще одна нагрузка, что меня ни в какой мере не пугало. После лет, потерянных на военной службе и административной работе, меня очень интересовала моя новая деятельность; сил было много, и твое дорогое присутствие давало мне счастье.[327]

Здесь еще нужно поместить одно наркомпросовское дело, в рассмотрении и решении которого я участвовал и которое в значительной мере предопределило наше будущее. На Пулковской обсерватории работал вычислитель Дрозд, коммунист. В 1919 году он подал обширный донос, обвиняя в измене и саботаже целый ряд видных астрономов и прежде всего тогдашнего директора академика Белопольского. Дрозд как вычислитель работал для геодезистов и гравиметристов и в астрономической программе ничего не смыслил. Он объявил эту программу вредительством, имеющим целью помешать обсерватории выполнять работы, необходимые для народного хозяйства (геодезия и землемерие). Дрозд обвинял директора Белопольского в сношениях с белыми во время наступления Юденича на Петроград, других астрономов – в том же и всех вообще – в скрытых симпатиях к белым. Результатом был кратковременный арест Белопольского, за которого заступились и добились его освобождения. Белопольский немедленно покинул директорство, и Дрозд поставил свою кандидатуру в директора. Это дело разбиралось в Москве в особой комиссии, и мне не

стоило большого труда разбить аргументы Дрозда (слишком глупы они были) и показать нелепость всех остальных обвинений. В результате Дрозда сняли с должности в обсерватории, а директором был назначен дипломатичный профессор А. А. Иванов – не крупный ученый, но хороший педагог.

Теперь мне нужно приступить к рассказу о первом нашем путешествии, которое не было свадебным, но которое так полушуточно называли. Мы не имели свадебного путешествия, и проведенные нами осень, зима и начало весны прошли в очень тяжелых условиях – с болезнями, голоданиями, часто во враждебной обстановке. Длинных академических каникул не предвиделось: обстановка была слишком неблагоприятна – польская и гражданская войны, полная хозяйственная разруха. Максимум, который мы могли получить, это – трехнедельный отпуск, который решили провести у моих родителей. Они звали нас беспрестанно. «Хочу видеть Юлю; скорее, скорее приезжайте», – писала мне мать.

По поводу предстоящего знакомства у меня были большие опасения, прежде всего – со стороны характера моей матери. Обладая наблюдательностью, остроумием и веселым нравом, она, играя, разрушала все мои увлечения: «А, ты прошелся с Лизой Ч.; очень милая девица, как будто серьезная. Только одно нехорошо: не перестала делать пи-пи в постель. Альвина Леопольдовна не знает, что предпринять». Или: «Ты слушал музыку с Антониной Федоровной П.? Как это она обратила на тебя внимание; ведь гораздо старше тебя. Ты еще не встретился с ее поручиком? Ну, еще встретишься...» Или: «А Юлия Ивановна Ч. (другая, не похожая на тебя, Юлия Ивановна) вешается теперь на твою шею; не радуйся, это ненадолго». Или: «Ты был в театре с барышнями С.: славные барышни, веселые, живые; только почему они не моются». Почти всегда это было верно, но на меня действовало удручающе, и всю мою юность, проведенную в Смоленске, я боялся острого взгляда моей матери.

Кроме того, я не знал, что именно, с точки зрения элементарных удобств, мы найдем на новом месте жительства моих родителей, где я не бывал никогда раньше. В 1910 году на наши семейные сбережения мать купила 250 десятин леса в Коломенском уезде. Построек не было никаких. Она продала 40 десятин дров, выкорчевала пни и получила пахотную землю. Из своего леса мама выстроила хороший дом с хорошими хозяйственными постройками, но по неопытности не обратила внимание на кладку печей, были трещины, и дом сгорел; там погибла и моя первая библиотека. Тогда на другом месте она построила дом меньших размеров, а также – хлев, сенной сарай и все, что нужно; завела большое хозяйство.

К сожалению, у мамы сложились отвратительные отношения с крестьянами ближайшего села Карасево, и тут она не виновата. В течение долгих лет крестьяне беспрепятственно пользовались этим пустовавшим участком и, когда на постоянное жительство там появился новый владелец, встретили его враждебно: тут ничего нельзя было поделаться. С приближением революции мама почувствовала усиление враждебности и успела продать свое имение. Она приобрела в том же уезде, но на значительном расстоянии от Карасево, хутор с небольшим участком земли (пахотный клин, лесной клин, заливные луга) около маленькой деревушки Бабурино в трех верстах от фабричного города Озеры. На прежнем месте, в Аниково, я бывал неоднократно, и мне очень нравилась там лесная глушь; сюда же, в Бабурино, ехал первый раз.

С наступлением теплого времени опять стал вопрос об одежде для меня: было бы смешно обращаться за ордером еще раз, и ты вытащила старые полосатые балконные занавески. Парусина оказалась очень хорошая; после нескольких моек полосы почти отошли, и та же Марья Степановна Шиллингер сшила мне хороший летний спортивный костюм, только чуть-чуть полосатый. Предстояло обеспечить себе проезд. Расстояние было маленькое – 138 километров, но достать билеты для поездки по железной дороге, несмотря на наши мандаты, оказалось совершенно невозможно. Я ехал с мандатом от ВСНХ на выполнение магнитной съемки в Коломенском уезде,[328] ты – от Трамонта на выполнение погрузок кирпича на

станции Озеры. Никакая протекция, ничего не помогло: билеты не получили. Тогда вспомнили о пароходах и решили: ехать пароходом от Москвы до Коломны, а оттуда – поездом до Озер. Это оказалось легче.

После долгих хлопот мы получили палубные места на определенный день и час, и вот идем на набережную в сопровождении Ивана Семеновича, который несет наш, довольно значительный, багаж: продовольствие, подарки, белье на три недели. Я обновляю новый костюм. Вдруг сзади раздается голос: «Спасибо». Мы продолжаем идти, не думая, что это относится к нам. «Спасибо, товарищ». И затем уже требовательным тоном: «Товарищ, я говорю это вам». Оборачиваюсь. Мужчина, шедший сзади, любезно кланяется и разъясняет: «Я благодарю вас, товарищ, потому что вы научили меня, что можно сделать из балконных занавесок. Только вот придется несколько основательнее мыть их, а то походить на зебру не хочется». Болтая с любезным спутником, прибываем к пароходу.

Огромная толпа; посадки нет. Ждем час, другой. Начинают посадку: толпа рвется; еле отстраняют безбилетных и то, по-видимому, не всех. Наконец, мы – на палубе. Кое-как находим себе место и садимся на своих чемоданах: больше не на чем. Отходить от мест – опасно: вещи исчезнут моментально. После значительного промедления пароход трогается. Казалось бы, все неблагоприятно. Предстоит бессонная ночь. Ресторан на борту есть, но забит пассажирами, и в нем ничего нет. Мыться – тут же, из-под крана. «Удобства» – такие, что хуже трудно найти. И все-таки мы веселы. Пароход – уже за Москвой: начинаются поля и леса, подмосковные пригорки, иногда с живописными усадьбами или монастырями, а главное, мы – не в Архангельском переулке, дышим чудесным вечерним речным воздухом. Провизия есть: закусываем. Из чемоданов и пальто мастерим что-то вроде постели, где один из нас может спать под бдительным надзором другого. Я настаиваю, чтобы спящим была ты, но ты упираешься.

Немного знакомимся с публикой, которая разнообразна и живописна. Иногда пробегаемся, я или ты, по палубе, чтобы лучше видеть пейзаж или встречные суда. И замечаю, что ты вовсе не так равнодушна к красотам природы, как часто хочешь показать; просто не любишь болтливых излияний и вскриков. С пароходом не все идет гладко. Машина работает с явными перебоями, но все-таки работает. По пути оказываем помощь встречному буксирнику, севшему на мель, и возимся с ним около часа, что дает едущим приятное развлечение. Так наступает ночь; ты прикладываешься на минуточку и засыпаешь; я сижу около и подремываю. Просыпаешься довольно рано, чтобы успеть помыться и сделать все необходимое до пробуждения публики; потом я выполняю ту же программу, и нам удается добыть горячего чаю, что сразу повышает настроение. Восходит солнце. Чудесно, и как чудесно мы себя чувствуем! Расспросами у публики стараемся выяснить, что ждет нас в Коломне, и узнаем огорчительную вещь: поезд из Голутвина до Озер ходит два раза в неделю; иных возможностей нет. Лошадь, чтобы проехать 38 километров, достать можно, но это будет стоить сумму, превышающую наш двухмесячный совместный заработок, и у нас ее нет. Дней [отправления] поездов никто точно не знает. Если поезд ушел вечером накануне, то нам предстоит провести в Коломне несколько дней.

К полудню прибываем в Коломну. Пароход идет дальше, к Рязани. Берег пуст. Сидят несколько праздных людей: «О сон на море – диво сон». Носильщиков нет. Мы обращаемся к одному из праздных людей с просьбой потаскать наши вещи, пока будем ходить по «присутственным» местам. От денег отказывается, но полфунта хлеба охотно берет. Так мы прибываем к местному совету и получаем аудиенцию у председателя. Он, оказывается, хорошо знает нас обоих... по нашим подписям: меня – как управляющего делами Всерокома и Трамота, тебя – как генерального секретаря Трамота. Его не смущает мой мандат, но удивляет твой: «Что же они гоняют ответственного товарища по таким мелким делам? Могли бы написать нам. Озеры от нас зависят. Ну, поскольку вы, товарищи, – тут, я мешать не буду. Только потом известите нас, в каком виде там все нашли». От него мы узнаем, что поезд действительно ушел накануне и нужно ждать три дня. Очень любезно дает нам ордер на

комнату в отеле «Третий Интернационал» на улице Маркса и Энгельса и талоны на питание в столовой исполкома, что очень ценно. Обещает к отъезду прислать лошадь, чтобы перевезти нас с багажом из Коломны в Голутвин. Расстаемся друзьями и идем в сопровождении носильщика искать гостиницу.

К сожалению, председатель не сказал нам, как эти улица и гостиница назывались раньше: под новыми именами их никто не знает. Мы уже собираемся вернуться в исполком, когда наше внимание привлекает написанный мелом номер 3 на «Меблированных комнатах Пантелеева». Оказывается, что это действительно там. Выходит старичок, берет ордер, ведет нас в совершенно пустую, с битыми окнами, комнату и заявляет: «Вот, больше у меня ничего нет». – «Все занято?» – «Какое там! А все остальное еще в худшем виде». Я не верю. Иду взглянуть: действительно... Мы уговариваемся с ним, что за некоторую мзду он все-таки даст нам, на чем спать; получаем железную кровать с досками и сверху нечто вроде старых гардин. Не очень уютно, но нас не пугает.

Немного устроившись, идем обедать в столовую исполкома. Обед – не вкусный, но питательный и все-таки лучше, чем у тети Мани. Публика очень интересная: по большей части – живая, бурная молодежь, не очень хорошо знающая, что надо делать, но решительно берущаяся за перестройку. Внимание наше привлекают несколько молодых людей полувоенного типа с револьверами. В них есть что-то ковбойское; оказывается – сотрудники местной Чекы; они громко рассказывают об обысках и арестах: не очень конспиративно. После обеда мы проходим через оканчивающийся рынок и покупаем молока и земляники. Относим и отправляемся бродить по городу, который живописен: высокий берег Москвы и Оки, старые монастыри, старые стены. Сейчас все это запущено, но город имел прошлое и хранит его следы. Находим приятную круговую прогулку. Наконец, в очень усталом виде и хорошем настроении возвращаемся в «Третий Интернационал» и сразу засыпаем.[329]

Мы проснулись рано и весело. Погода стояла солнечная. Утренний завтрак состоял из чая и молока с ягодами. Делать было абсолютно нечего. Мы отправились бродить по городу и за городом. Нормально пообедали в той же столовке, нормально поужинали у себя в комнате и нормально легли спать. Спали хорошо. Наступил третий день пребывания в Коломне и вместе с тем день нашего отъезда. Несколько усилились скука и нетерпение: мы еле дождались появления вечером исполкомовского экипажа. Видя нашу торопливость, возница улыбнулся: «Куда вы спешите? Поезд – уже у платформы, но отходит только с восходом солнца. Еще насидитесь».

Действительно, у неосвещенной платформы стояло несколько теплушек: это и был поезд до Озер. Не было никого – ни публики, ни персонала. Мы внесли наши вещи, посидели на них, потом вышли побегать по платформе, чтобы согреться. Ночь была свежей, как и полагается в июне в нашем климате; луны не было. Мы тихо прохаживались, сидели, опять прохаживались. К полуночи начали появляться другие пассажиры, которые подсаживались в теплушки. Около часа ночи раздались возгласы: «Облава!», и часть пассажиров бросилась бежать, а за ними погнались прыткие молодые люди в военном и с карабинами за плечами. Тех, кто не бежал, не трогали и не опрашивали. Часам к двум пришел проводник, а в три поезд медленно двинулся. Уже светлело. Я не буду утверждать, что машинист ходил в лес по грибы, но потратил три часа на 38 километров пути.

Проезжая через Карасево, я с любопытством искал глазами наше Аниково: его не оказалось, оно было сожжено со всеми постройками. Вот мы – и на конечной станции Озеры. Там почти никого нет, а те, кто есть, не знают, где Бабурино, и указывают неопределенно на лес. Так как мы не известили о нашем приезде, то должны сами каким-то путем устроить доставку наших персон и, в особенности, багажа. Кто-то недоумливает нас поместиться на дороге, идущей из Озер в село Горы и проходящей через Бабурино. Действительно, после четверти часа ожидания мы подпрягаем проезжающего крестьянина подвезти нас до Бабурино: плата натурой – хлебом. Дорога через лес изумительна: даже при свете можно двадцать раз

сломить шею. Рытвины, ухабы, ямы, рвы, пни, неожиданные колдобины с грязью, да какой – густой, глубокой, вековой. Дорога изумительна и в другом смысле: лес весь состоит из великолепных высоких стройных сосен.

Выезжаем на довольно обширное открытое пространство, засеянное озимыми и яровыми и окруженное со всех сторон лесом. Показывая на группу строений, наш возница говорит: «Вот вам Бабурино. Где вас нужно высаживать?» Я усматриваю деревянный дом с весьма затейливой резьбой и мезонином, обладающим четырьмя резными балконами, и говорю тебе: «Насколько я знаю мамин вкус, это – ее дом». Так оно и оказалось. Нас встретили с радостью все – родители, чада и домочадцы; налицо были папа, мама, мамина сестра и моя тетушка Надежда Васильевна, моя сестра Нина, мой троюродный брат и мамин племянник Эдуард Карлович, прикрепившийся к фортуна моих родителей, а также песик Томик, скромный по размерам, но сидящий на цепи, и кошка Катя, лошадь, коровы, козы, овцы, крольчихи с детьми, куры и петухи. И я сразу увидел, что мои страхи были неосновательны: ты сразу и очень понравилась маме и всем, и тебе все очень понравилось.

Нас повели в мезонин с четырьмя балконами – наше помещение. «Тут нет мебели, – сказал Эдуард Карлович. – Погодите, все будет». Он принес топор, доски, и вот в два счета появилась платформа на стойках, принявшая матрац, простыни, одеяла, подушки. Также возникли стол туалетный, стол у постели, стол для занятий посередине комнаты и маленькие переносные скамеечки. Ты с удивлением и восхищением смотрела на это творчество и была очень довольна результатами. Мама сейчас же увела тебя вниз на кухню – мыться: в этом отношении ваши взгляды совершенно совпадали. Папа и Нина занялись книгами, которые я привез. Как только мы помылись, нас позвали в столовую, где на столе я увидел те самые пышные лепешки, секрет которых мама привезла из Тульской губернии, и молоко, сливки, сливочное масло, самодельные сыры – все очень вкусное, все без ограничений. После завтрака мы пошли отдохнуть и спали часа три. Мама, подвижная и энергичная, не терпела покоя: она разбудила нас и повела гулять.[330]

Так как прогулок там было множество, и в первый день мы не знали местной топографии, я уже не помню, куда именно мы ходили. Помню только общее впечатление, что мы чувствовали себя дома не только в доме моих родителей, но и всюду кругом – в лесу ли, в поле ли, на Оке и за Окой, на заливных лугах или в пыльных Озерах. Редко бывало, чтобы пейзаж, воздух, люди, все так сразу и окончательно становилось своим, родным. В каком бы настроении, с какими бы заботами ни попадали мы в Бабурино, там все это исчезало, и оставалось прочное ощущение счастья. Конечно, этому способствовал и тот радостный сердечный прием, который мы встретили и который нам, так измучившимся за год, и особенно тебе, молчаливо страдавшей от той жизни, которая нас окружала в Архангельском переулке, пришелся к сердцу. Ты сразу расцвела и повеселела. В твоём обращении с моими родителями не было и следа той сдержанности, той боязни проявить себя, которую я наблюдал в Москве. Ты стала самой собой. А когда ты стала самой собой, все сразу узнали тебя, как знал тебя я, и полюбили.

Мне кажется, что следовало бы немного поговорить об обитателях Бабурино, и начну с тети Нади.

Надежда Васильевна Раевская была старше мамы лет на шесть, а она была младшей в своей многочисленной семье. Все остальные члены семьи были старше Надежды Васильевны. В молодости тетя Надя отличалась изумительной красотой: огромные черные косы, огромные темно-синие глаза и вместе с тем никакого кокетства. Я много раз задавал себе и старшим вопрос: почему она не вышла замуж? В претендентах не было недостатка. Одного из них, которого я знал лично, отвадила мама. В 1875 году тетя Надя кончила Тульскую гимназию и стала там же классной дамой, а мама была еще очень юной и очень шаловливой гимназисткой, которой особенно не давалась математика. Для нее пригласили в репетиторы семинариста Николая Ивановича Мерцалова, имевшего в Туле большую

математическую репутацию.

Этот весьма скромный и застенчивый молодой человек сразу влюбился в тетю Надю, которая ничего не заметила. Но мама заметила сразу и начала допекать и сестру, и репетитора, напевая ей же составленную песенку: «Будь амура превосходней и в любви большой артист, все ж любви ты недостоин, потому – семинарист». Иногда она делала и более жестокие шутки: прослеживала, когда он уходил в уборную, и запирала на крючок, а потом направляла тетю Надю освобождать его. Я часто говорил маме, что это была совершенно недостойная жестокость, но она отвечала: «Чего ты хочешь? Мне было только двенадцать лет. И притом он был так смешон, так смешон...» В результате получилось, что тетя Надя не хотела и слышать о нем. В 1903 году я встретился с ним на экзамене по начертательной геометрии, которую он преподавал в университете в качестве приват-доцента, а в Московском высшем техническом училище в качестве профессора. Он, по-видимому, следил за судьбой своей ученицы, потому что, увидев мою фамилию, поднял голову и спросил, не сын ли я Ольги Васильевны Раевской, и затем робким голосом справился, жива ли Надежда Васильевна и где она, прибавив: «Нехорошо ваша мамаша вела себя, нехорошо, а впрочем, передайте ей хороший привет от старого друга».

Из Тулы тетя Надя переехала на ту же должность в Ставрополь, где жили в то время ее братья Юрий Васильевич Раевский-Буданов, член окружного суда, и Иван Васильевич, судебный следователь. Она захватила с собой маму, и, к общему удивлению, та, бывшая в Туле последней ученицей, в Ставрополе стала первой и в 1881 году блестяще окончила гимназию. Постепенно тетя Надя втянулась в существование классной дамы и учительницы женской гимназии и восприняла все внешние и внутренние черты этой профессии; чего не восприняла, так это – окисления, озлобления, жесткости; осталась на всю жизнь исключительно кроткой, тихой, доброй и внимательной. Все очень любили ее, но профессиональная психология не могла удержать поклонников, которых привлекала красота тети Нади. Потом и красота исчезла: остались ее следы, малозаметные под тысячей пледов и теплых одеяний, которые она стала носить, болезненно опасаясь простуды. У нее все более развивалось самооберегание, и она усвоила замедленный темп жизни: ходила крайне медленно, ела медленно и лишь очень гигиеническую пищу. Что хуже всего, свой образ жизни тетя Надя считала обязательным для всех вообще, но, в особенности, для младших членов семьи. Помню, как-то летом у нас в деревне иду гулять: солнце вовсю, жаркий июньский день; я одет в парусиновый костюм и босиком, а она гонится за мной с огромным шерстяным пледом; я категорически отказался его взять, и этого она долго не могла мне простить.

Из Ставрополя тетя Надя с мамой и братом Иваном Васильевичем переехала в город Ефремов Тульской губернии, где третий брат, Василий Васильевич, был адвокатом. Тетя Надя стала преподавательницей в женской гимназии, а мама, в том же 1882 году, вышла замуж; там я и родился. Во всех семьях, где тетя Надя бывала, она всегда и неизменно старалась поддерживать добрые отношения между людьми, смягчать острые углы, устранять поводы для ссор, и часто это удавалось ей. К маме она переехала после смерти дяди Васи в 1919 году. Для нее я продолжал оставаться маленьким. В первый же день в Бабурино тетя Надя задала мне два вопроса: один – забывая, что я – все-таки профессор математики, – из таблицы умножения, а другой – относительно Волги. Я очень удивился, но совершенно серьезно ответил ей, и она была очень довольна: «Вот умник, Володя, помнишь».

Эдуард Карлович был сыном маминой двоюродной сестры, вышедшей замуж за богатого латыша-фермера. Фермер этот, человек гигантского роста, породил трех сыновей-гигантов, которые все служили в гвардии, как и Эдуард Карлович. Этот последний принадлежал к гвардейскому флотскому экипажу в то время, когда я сидел в Петербурге в «Крестах». Иногда он бывал в охране тюрьмы (на каждый день назначалась какая-нибудь рота из войск Петербургского гарнизона) и подготавливал мое бегство. После отбытия воинской повинности он занялся сельским хозяйством и прошел у своего отца хорошую школу. Потом пришла та война, его мобилизовали. После революции и демобилизации он не смог попасть к своим

родителям и остался с моими, разделяя с ними и горе, и радость, и все хозяйственные заботы.

Сейчас вдруг припомнил, что Нины, во время нашего первого пребывания в Бабурино, не было: она работала преподавательницей в одной из женских гимназий на Северном Кавказе, не помню – где именно. Еще шла гражданская война; мама очень хотела иметь Нину около себя, и для нее приготовили место в Озерской школе 2-й ступени (бывшем коммерческом училище), где директором был папа. Только на следующий год моему брату Борису удалось с огромным трудом добраться до Нины и привезти ее в Бабурино.

Мой брат, который моложе меня на пятнадцать лет, как младший в семье, был избалован родителями, и в то время, как все старшие получили хорошее образование (Надя – врач; Нина – историчка и математичка), оставался, в сущности, недорослем не по неспособности, а по лени и отсутствию привычки к труду. Впоследствии он закончил курс в техникуме связи и стал радиоинженером, а в то время являлся красноармейцем в отпуске, каковой проводил около своей жены в Озерах. Этот брак был огорчением для моих родителей – не из-за очень демократического происхождения его жены (фабричной работницы), а из-за крайне вредного влияния, которое она оказывала на него; то, что влияние было действительно вредным, я мог убедиться. Самому факту его женитьбы никто не придавал серьезного значения: это был не первый и не последний его брак, и он широко использовал легкую возможность развода, существовавшую в первые годы советской власти.

Борис имел много жен и оставлял каждую с детьми. Впоследствии он работал в качестве радиоинженера на Камчатке и, вероятно, всю ее населил маленькими белобрысыми и голубоглазыми ребятами. В нем было много хорошего и привлекательного – веселость, простота, остроумие, щедрость, но без серьезности, устойчивости, а иногда от него и через него можно было иметь неприятные сюрпризы. Я очень любил его: он был моим крестником, и я много занимался им во время своих приездов в Смоленск. Потом мое пребывание за границей и на военной службе внесло в это огромный перерыв, и теперь для меня он являлся уже новым лицом, с которым предстояло еще познакомиться.[331]

Окрестности вокруг Бабурино принадлежат к русским литературным местностям. Если выйти из Озер по направлению к Оке и перейти через мост, то попадаешь в долину небольшой речки. Это – Смедва, а долина – та самая Смедовская долина, которая так поэтично описана у Григоровича.[332] Действие романа «Рыбаки» Григоровича происходит как раз на Оке около Озер, и в ряде его же мелких рассказов упоминаются многие, мне и тебе знакомые, места. Если, перейдя мост, подняться на крутой берег и пойти направо, то приходишь к церкви с погостом, и это – Ростиславль – все, что осталось от блестящего города, родного брата Ярославля на Волге. Когда-то этот город-крепость обеспечивал линию Оки от набегов степных номадов, татар и др., ими же до основания был разрушен и не возобновился: слишком трудно удерживаться на южном берегу реки.

Если, оставаясь на северном берегу, пойти по течению или против течения, то запутаешься в лабиринте старых, наполненных водой русел Оки. Это и есть те озера, по имени которых назван город. На карте местность обозначена низменной; на самом деле она – очень холмистая, и село Горы стоит на самом гребне. Огромные и еще не сведенные леса включают большое количество таких гребней, вершинок и т. д., что увеличивает живописность пейзажа. Долина Оки, как ее видать с этих холмов, – одно из красивейших зрелищ, какие я видел. Русло не судоходно, хотя могло бы быть расчищено от скоплений и наносов песка.

Мне было очень интересно отметить пестрый этнический состав местного населения. Очень много татар, и, например, Бабурино – татарская деревня. Урусов, Айдаров и другие фамилии – явно татарского происхождения, лица – тоже. В этих местах русские – крестьяне, а татары – дворяне, хотя и те, и другие одинаково бедны; здесь, очевидно, крестившихся татар селили

для защиты от набегов, предоставляя им льготы. Деревня Марково – евреи, когда-то поселившиеся здесь, крестившиеся, совершенно ассимилировавшиеся в смысле языка, но не в смысле типа: говорят, что еще недавно смешанные браки были очень редки.[333] По образу жизни и психологии жители деревни Марково ничем не отличаются от других крестьян. В верстах восьми от Бабурино есть сербская деревня: там сербы были поселены Екатериной Второй. Очень странным казалось существование такой этнической пестроты в центральной России всего в 138 километрах от Москвы. Мне пришлось встретиться с тем же явлением и в других местах – на Волге и в области Соловья-разбойника в Брынских лесах.

Если я не помню наших прогулок первого дня, то очень хорошо помню прогулку второго дня. Тебе захотелось сшить сарафанчик. Как быть? У мамы оказался кусок пестрой и яркой материи, очень веселой и солнечной: как раз то, что нужно. Что же касается до портнихи, то верстах в трех, между лугами и лесом, недалеко от железной дороги, проживала одинокая старушка – когда-то портниха, охотно и теперь бравшаяся за шитье для симпатичных заказчиц. И вот мы втроем – ты, мама и я – отправились через лес. Сначала – небольшой кусок дороги между ржами; потом дорожка побежала около леса, мимо черемух с ягодами: как их не попробовать? Лес обступил нас с обеих сторон, и дорога спустилась в долинку, дикую, но веселую, а потом мы направились по тропке между строевыми соснами: это уже было редкое великолепие. Затем лес поредел, и мы вышли на луг – яркий, цветистый, душистый, и тут, среди яблонь и груш, стояла хибарка старушки. С мамой она была приятельницей, а ты ей сразу понравилась. Сарафанчик был сшит очень скоро, и ты очень любила его и всегда надевала с радостью, и для всех было радостью видеть тебя в нем.

Мы очень часто проделывали другую прогулку – к местам, где лес недавно свели и были огромные пространства, поросшие земляничными кустами. Как только мы попадали туда, ты «усаживалась» собирать ягоды, а нетерпеливая мама, которой было скучно оставаться на месте, говорила: «Ну, а теперь до свидания; вернусь через полчаса» – и уходила гулять. Возвращалась через полчаса и, увидев, что земляника еще не ликвидирована, уходила еще на полчаса, но уж, вернувшись, решительно забирала нас с собой, и мы очень хорошо пробегались по лесным и луговым дорожкам. Тут я впервые отметил, что на месте вырубленного соснового леса растет сначала вовсе не сосна, а липы, березки, дубки.

Мы очень любили прогулку к Горам. Нужно было перейти речонку (в следующие годы – совершенно высохшую) и подняться по лесной дороге мимо часовни. В часовне была единственная икона Николая Чудотворца; к моему удивлению, она изображала совершенного китайца – скуластого, косоглазого, желтолицего, с реденькой бородкой и явно китайскими письменами, переделанными в славянскую вязь. Никто не мог меня осведомить, откуда взялась такая икона; вскоре она исчезла, и я имел смутные подозрения, что... После часовни подъем продолжается, пока не выйдешь из лесу, а там невольно ахнешь, и все ахают: открывается необозримая долина Оки с селами, деревнями, рощами, лугами, хлебами. Красота почти такая же, как Волга у Плеса на картине Левитана. От этого места можно продолжить прогулку в любом направлении: всюду хорошо, и мы, действительно, все это выходили.

Вечерами мы ходили прогуливаться с тетей Надей по направлению к часовне, но далеко не всегда до нее доходили. Шли всегда крайне медленно. Доходили обыкновенно до начала подъема, останавливались; тетя Надя присаживалась на бревнышко, задумывалась и произносила: «Всё – в прошлом». Мы с тобой не понимали всего горького смысла этих трех слов. Потом тихо возвращались домой и садились ужинать. После ужина долго разговаривали. Иногда Эдуард Карлович очень живописно рассказывал свои придворные воспоминания – балы в Зимнем дворце, поездки в Данию с императрицей Марией Федоровной и обратное возвращение с контрабандными товарами. Иногда папа брал гитару, которой он владел очень хорошо, и напевал старые песни, романсы, даже былины. Иногда папа, мама и тетя Надя вспоминали жизнь в Ефремове до нашего отъезда оттуда в 1886 году и шуточно обращались ко мне за подтверждениями, а моя память давала-таки много точных

деталей. Сейчас я не мог бы уже иметь такую уверенность в своей памяти, но тогда поражал их: ведь мне было всего три года, когда мы уехали из Ефремова, а я мог дать описание нескольких квартир, в которых мы жили.

Предложения знакомиться с соседями мы отклоняли и так и не собрались сходить в Горы в гости к священнику, который очень упорно звал нас. Мы побывали в Озерах у заводского врача – очень хорошего хирурга; жена его преподавала там же, где и папа, и уклониться не было никакой возможности. Впрочем, это было очень приятное знакомство: люди оказались радушные, культурные и даже интересные; сын их был студентом МВТУ – нескладный, близорукий, слегка заикающийся юноша, чудаковатый; впоследствии из него вышел очень дельный инженер. Попутно мы осмотрели Щербаковскую мануфактуру,[334] и это стоило труда; познакомились с директорами, что оказалось весьма полезно для отъезда в Москву: завод имел свой вагон.[335]

Мы не только отдыхали, но и оказывали очень существенную помощь на сенокосе. Мамин сенной участок находился за Озерами и озерами на берегу Оки. Опять-таки у Григоровича и других классиков хорошо описаны эти заливные луга во время сенокоса. От дома расстояние туда было восемь километров. Очень рано утром телега, нагруженная всем, что нужно для работы, а также самоваром, пирогами, пирожками, котлетами и всякой другой снедью, повезла тебя, Бориса и Эдуарда Карловича. Я с мамой должен был придти пешком несколько позже, так как имелась дела в Озерах. Папа вышел провожать вас и задумчиво сказал: «Экспедиция на луга», и я сейчас же почувствовал, что эти слова выражали у него целый мир фантазий, мечтаний; я хорошо знал его романтизм, потому что сам являюсь таким же романтиком. Немного погодя мы с мамой пошли в Озера и, выполнив наши дела, отправились дальше, и как-то вышло, что заплутались в старых руслах. Куда ни шли, отовсюду видели луга и ваши фигуры, но между нами оказывался какой-нибудь водный проток, совершенно непроходимый: эти русла широки, глубоки и полноводны. Наконец, мы увидели досчаник[336] без перевозчика и сели в него; я греб доской, а мама вычерпывала ведрышком воду; так и перебрались.

Я сейчас же понял, что эта работа – не синекура. Эдуард Карлович косил, косил быстро, а ты шла с граблями и перебирала. Что же касается Бориса, то он спокойно лежал под предлогом, что за ним некому перебирать. Предлог был неудачный, потому что переборщиков пришли двое, и мы бы живо его догнали, а так и нам нечего было делать. Его заставили сейчас же взяться за косу; мама взялась за грабли. Я хотел сменить тебя, но ты, с твоей всегдашней добросовестностью и упрямством, пожелала сама выполнить положенный урок до полдника. К тому же работа привлекала тебя, и ты хотела усвоить эту новую «технику» так, чтобы никакой критик не мог ничего сказать. Я отправился сменить маму, которая занялась нашим завтраком.

Перед завтраком все пошли помыться к ближайшему руслу, и я помню, как весело и бодро ты плескалась у берега. Трудно было найти какую-нибудь тень: мы растянули на граблях парусину, и кое-как, но с небывалым аппетитом, отдали должное пирогам с луком и яйцами, котлетам и сладким пирожкам с чаем. Потом немного поспали и снова взялись за работу с несколько убавленным рвением. Поздно вечером двинулись в обратный путь: ты – на возу уже сухого сена, а остальные – пешком. На следующее утро предстояло повторение программы, и ты с тем же увлечением участвовала в повторении. Нужно ли говорить, что ни в какой момент ты не вела себя как дачница, приехавшая на каникулы, а, чем и как могла, участвовала в домашней работе? Во время выпалывания сорной травы мы имели опять минуту волнения из-за обручального кольца: вдруг обнаружилось его исчезновение. Сначала ты искала всюду сама; потом пришла мама с граблями; затем я начал обшаривать все закоулки и нашел его, завалившимся в кротовую нору, после двух часов поисков и уже в сумерках; тебе, моей маленькой роднушеньке, эти два часа дались тяжело.

Как и всюду, где бывали потом, мы постарались ознакомиться с местными ресурсами. В

Марково пошли искать мед: эту прогулку я также хорошо помню. Шли с мамой и в лесу встретили «прогуливающуюся» лодку – настоящую речную лодку, которую медленно катили на колесиках. Это было весьма необычное зрелище; к тому же колесики оказались сделаны с большим искусством. Несколько дальше, окинув влюбленным взглядом лес – действительно, очень красивый, – мама сказала: «Вот за что еще я люблю эти места, – тут совсем нет змей» (всю жизнь она ужасно боялась всего извивающегося, и змеи внушали ей мистический ужас). Я про себя усомнился в этом, но ничего не сказал.

Через полчаса мы встретили школьную экскурсию, сопровождаемую учителем, и каждый ученик волок за собой на веревочке великолепную змею, по большей части – темную гадюку, каких мы видели потом в Савоие. «Где вы поймали их?» – спросили мы. «На берегах Оки, всюду», – был неутешительный ответ. Должен сказать, что в окрестностях Бабурино сами мы ни разу не видели ни одной змеи. В Марково познакомились с очень почтенным крестьянином, жгучим брюнетом, и нашли у него в обмен на что-то несколько кило великолепного меда, но прошлогоднего сбора: для этого было еще рано. Так прошли три недели. Нам ужасно не хотелось возвращаться в Москву, но ни я, ни ты не могли остаться. Пришлось побывать на заводе, получить места в заводском вагоне и с крайней неохотой расстаться с земным раем.

Возвращение было не без волнений. В Голутвине железнодорожная Чека во что бы то ни стало хотела меня высадить (ты ей не показалась подозрительной). Я наорал на чекистов. В это время поезд тронулся, и они поторопились повыскакивать вон. На следующее утро мы были в Москве, с неохотой глотали пыль, с неохотой увидели тетю Маню. Расплата за три недели отдыха наступила для меня очень быстро.[337]

После возвращения из Бабурино, как это происходило потом каждый раз после наших отсутствий в Москве, я нашел мое научное хозяйство в несколько расстроенном, а в Книжном центре – в катастрофическом положении. Внутри Центра все шло хорошо, и Волгин, который замещал меня, не наделал никаких глупостей. Но произошли внешние события: милейший В. В. Воровский покинул Госиздат, перейдя в Наркоминдел, что оказалось для него роковым (вскоре он был убит в Швейцарии белогвардейцами). Его преемником оказался некий Закс, бывший нарком Баварской советской республики, – человек грубый, глупый, некультурный и фальшивый. Он назначил обследование разных отделов Госиздата через посредство новой тогда рабоче-крестьянской инспекции, пришедшей на смену госконтролю.[338]

Обследования выполнялись группами рабочих без всякого участия специалистов или интеллигентов. «Чистый рабочий беспримесный здравый смысл и классовое чутье», – говаривал М. Н. Покровский, потирая руки, и принимал без обсуждения все, что ему предлагали эти комиссии. Как раз такое обследование Книжного центра было произведено в мое отсутствие: оно продолжалось не более двух часов. Волгину не задали никаких вопросов, и тот не придал никакого значения этой комиссии: мало ли их бывало. Когда я приехал, меня ждало приглашение к Заксу, который задал мне ряд глупейших вопросов, особенно настаивая на роли Магеровского, которого особенно не терпел, в организации Книжного центра. Его также интересовали отношения между секретаршей Книжного центра Чхеидзе и Магеровским. Отношения были совершенно ясные: Чхеидзе являлась законной женой Магеровского. По некоторым замечаниям я понял, что и сам не очень нравлюсь Заксу, но все-таки никаких указаний делового характера от него не получил.

Поэтому велико было наше удивление, когда появился «приказ» Закса: Книжный центр расформировать, комиссии распустить, сотрудников уволить, библиотеку передать на книжный склад Госиздата. По составу эта библиотека была одной из лучших, какие я видел; в ней имелось все необходимое для научно-библиографической работы; при ней был хорошо устроенный читальный зал; заведовал ей крупный специалист – профессор философии МГУ Г. Г. Шпет. Но этот бессмысленный приказ был немедленно выполнен: вечером, в отсутствие сотрудников, явились подводы, на которые в беспорядке свалили все имущество. Таким

образом было убито хорошее культурное учреждение, созданное в трудных условиях группой научных работников.

Мы немедленно потребовали аудиенции у М. Н. Покровского и узнали от него, что он принимал участие в заседании коллегии Госиздата, где Закс провел это решение, и... не протестовал ни единым словом. Я выразил ему удивление, что он, член нашей коллегии, подпись которого имеется под каждым ее постановлением, не счел необходимым предупредить или пригласить нас на заседание, обсуждавшее столь важный вопрос. От имени нашей коллегии я указал на полную недопустимость, и именно с советской точки зрения, такого отношения к разумному человеческому труду.

Покровский выслушал и ответил еще более удивительным образом: «Я согласен с вами, что Закс – хулиган. И за хулиганство он уже снят с должности, потому что тем же путем хотел ликвидировать издательские предприятия Горького, а Горький пошел к Ленину». – «Так, Михаил Николаевич, надо восстановить нас». – «Это, по некоторым соображениям, невозможно; в частности, вашу библиотеку вывезли, а куда ее девали, неизвестно*.[339] Кроме того, решено не устраивать авторитетных отделов Госиздата. Будет организован Научный отдел, и вы, Владимир Александрович, станете в нем членом коллегии. А вы, Вячеслав Петрович и Николай Михайлович, также будете работать по специальности в других отделах Госиздата».

Разговаривать было бесполезно, но после этого у нас еще долго сжимались кулаки, когда мы вспоминали о хулигане Заксе и непонятном поведении Покровского. Между прочим, рукописи, сданные авторами в Книжный центр, также пропали неизвестно куда. От времени до времени в Госиздате среди хлама разыскивалась та или иная рукопись. Мы трое послали в Госиздат заявление, что при тех условиях, в каких произошел вывоз, – без участия коллегии и без предупреждения, снимаем с себя всякую ответственность перед авторами. Когда в коллегии Научно-технического отдела ВСНХ узнали об этой истории, я был моментально назначен заведующим Научно-техническим издательством.

Эта история показала мне, в какой мере все непрочное и с какой легкостью все может быть разрушено. Вместе с тем передо мной стал вопрос: что же лучше? Работать в одном учреждении, подвергая себя риску разгрома всей своей работы, или в нескольких учреждениях, испытывая от времени до времени частичные разгромы? Конечно, работа без разбрасывания сил гораздо более целесообразна, но передо мной было столько примеров крушений и часто тяжелых человеческих драм. Кроме того, заработок деньгами был так ничтожен, и валюта так быстро падала, что существовать возможно было, только совместительствуя.[340]

Здесь нужно вкратце перебрать, как обстояли в июне 1920 года другие, интересовавшие меня, учреждения. По Курской магнитной аномалии, несмотря на сопротивление и прямой саботаж меньшинства, был сформирован первый отряд наблюдателей с котелками, который смог сделать работу лучше, чем их предшественники 1919 года, работавшие как раз в тот момент, когда фронт гражданской войны проходил через Курскую губернию. Нам, в центре, приходится выдерживать огромную борьбу: неожиданно вызывают в комиссию по концессиям при президиуме ВСНХ, где эксперт, престарелый профессор Вормс, дает заключение в пользу немецких концессионеров. А когда мы указываем, в какие условия нужно поставить концессионеров (шахматное расположение участков, отделенных один от другого некоторыми минимальными расстояниями; обязательный контроль и т. д.), представитель президиума ВСНХ (не помню, кто был этот господин) сладким голосом и прижимая руки к сердцу, говорит нам: «Но, дорогие товарищи, концессионеры никогда на это не согласятся. Ведь это уменьшает их доход. Вы хотите сорвать уже намечающееся соглашение».

Нашим противникам удастся нанести нам тяжелый удар, проведя в секретном порядке передачу Комиссии в ведение Горного совета ВСНХ. Во главе Горного совета стоит

сторонник меньшинства Федор Сыромолотов, человек жесткий и бесцеремонный. С ним нам предстояло воевать все лето и осень, пока мы не добились передачи Комиссии в ведение президиума ВСНХ.[341] В это смутное время мы встретились снова с О. Ю. Шмидтом: он перешел из Наркомпрода в Наркомфин в качестве члена коллегии.[342] Лазарев и я отправились к нему хлопотать об увеличении бюджета Комиссии и получили все, что надо. Из Наркомпрода Шмидт ушел не без неприятностей: его скушали там из-за какого-то второстепенного вопроса.

Временный комитет по устройству Астрофизической обсерватории развертывал обширную деятельность. Прежде всего нужно было выяснить, верно ли утверждение Тер-Оганесова, что в Пулковско уже имеется комитет с такими же задачами. Мы списались с директором Пулковской обсерватории Александром Александровичем Ивановым. Он приехал в Москву на совещание с нами, и тут оказалось, что Тер-Оганесов все наврал. Это развязало нам руки, и мы привлекли к нашей работе большое число пулковских и провинциальных астрономов. Было решено, что на предстоящих научных съездах – Астрономическом и Физическом – мы выступим с докладами и постараемся провести поддержку нашей организации. По не совсем понятным мне причинам Стратонов пожелал, чтобы доклад перед Астрономическим съездом делал я, а перед Физическим съездом – он, и поэтому во второй половине августа 1920 года мы с Александром Александровичем Михайловым выехали в Петроград.[343] Эта поездка была интересна во всех отношениях, и о ней следует подробно рассказать.

Поезд, в котором мы имели спальные места, был составлен из комфортабельных вагонов первого класса, откуда было старательно содрано и унесено все мягкое. Спальные места походили на жесткие ящики, но пассажиров было столько, сколько полагалось, и мы ехали просторно – не то, что в Озеры и из Озер. Прибыв в Петроград, мы нашли безлюдный город: все магазины закрыты; на Невском проспекте, как и на всех других улицах, растет трава. Мять ее было некому: автомобилей – очень мало; извозчиков – нет совсем. Доставляться надо было пешком, а для доставки вещей были голодные петроградцы с тачками. И вот, наняв «тачкиста», мы с Александром Александровичем зашагали следом за ним по Невскому к университету на Васильевский остров, где Б. В. Нумеров, организатор съезда, должен был дать нам дальнейшие указания. Шли медленно, рассматривая все кругом и комментируя. Я не видел Петрограда с лета 1918 года, и перемены в направлении к вымиранию города были колоссальные. Но каким же жутко красивым он казался!

Так мы прибыли к университету, откуда нас сейчас же послали в Дом ученых на Халтуринской, иначе говоря – в бывший дворец великого князя Владимира Александровича на Миллионной: там мы должны были жить и столоваться. В ту эпоху дворец еще не был приспособлен для жилья. Нас, делегатов конгресса, поместили в широкий полукруглый коридор с большими окнами, разделенный бархатными занавесками на несколько «апартаментов». Вдоль внешней стены бежал полукруглый бархатный диван, на котором мы должны были спать без простынь, одеял и подушек. Вдобавок полукруглая форма обязывала нас к соответствующему изгибу туловищ или же к чудесам акробатического искусства – спать, опираясь на диван лишь головой и ступнями и образуя, так сказать, хорду этого полукруга. Я и до сих пор считаю, что организовывать таким образом нашу жизнь было со стороны петербуржцев актом негостеприимным, но недаром же «Обыкновенная история» Гончарова происходит в Петербурге. Приезжих насчитывалось не так много, чтобы нельзя было устроить нас немного комфортабельнее. Питаться предстояло в столовой при Доме ученых; конечно, питание оказалось ниже всякой критики, но обижаться на это не приходилось: так оно было всюду.

«Устроившись» и пообедав, мы направились на прием в Академию наук, где за чашкой чая встретились со многими почтенными и с весьма многими непочтенными людьми. К первым, конечно, относился Карпинский, равно как и Марков и многие другие академики и профессора; вторых перечислять не буду: они и сами себя покажут. Вопреки пословице, конечно, эта «изба» была гораздо более красна углами, чем пирогами. Нам было

чрезвычайно интересно повидать своими глазами и пощупать своими руками мозаичные картины Ломоносова, приборы – его же, посмотреть музеи и кабинеты Академии. Если со многими из присутствовавших отношения ограничились шапочным знакомством, то со многими другими образовались прочные научные связи на много лет.

На следующий день открылся съезд.[344] Конечно, главным образом он состоял из петербуржцев. Из Москвы были только я и Михайлов, из Казани – Грачев, православный человек, хотя и татарин, астрометрист, и другой астроном помоложе – Яковкин из Энгельгардтовской обсерватории.[345] Из Одессы приехал Дюков, малоинтересный. С юга ждали Василия Григорьевича Фесенкова, и о судьбе его ходили тревожные (к счастью, неверные) слухи. Из Симеиза никто не смог проехать. Из Перми, на самом деле – из Средней Азии, приехал к середине съезда Константин Доримедонтович Покровский. Из Ташкента не было никого. Таким образом, иногородних было только пять человек. Председателем съезда очень любезно избрали москвича А. А. Михайлова.

Программа съезда состояла из научных сообщений, обсуждения коллективных работ, вопросов инструментальной техники и вопросов организационных. Я лично выступил с двумя докладами: «Строение шарообразных звездных скоплений» и «Организация Астрофизической обсерватории». К последнему вопросу отношение многих петроградцев было довольно кислым, но резолюцию приняли благоприятную, что и требовалось доказать. Из докладов мне особенно запомнился рассказ Константина Доримедонтовича о его поездке на Алтай с целью выбора места для астрономической обсерватории. Эта экспедиция имела место во время гражданской войны, и Константин Доримедонтович и его сотрудники неоднократно подвергались большим опасностям, однако задачу выполнили. Доклад был сделан скромно, не выставя себя на вид, деловым образом, и вместе с тем очень ярко, с большим талантом и большим человеческим чутьем.

Вечерами в нашем коридорном закоулке, заканчивавшемся большой запертой дверью, часто собирались астрономы, приезжие и местные, и долго болтали на всевозможные темы. Иногда, когда они чересчур разбалтывались, я говорил: «Господа, ведь вы же не знаете, есть ли кто за этой дверью». Однажды вечером, когда я остался один, дверь вдруг открылась, и за ней оказался кабинет петроградского уполномоченного Наркомпроса Михаила Петровича Кристи, и сам он сидел за столом и ждал меня с бутылкой вина. Я был поражен этой неожиданностью, так как очень хорошо знал его еще по Парижу, но в России мы встречались первый раз. Ему очень хотелось узнать о том, что делается в Москве в Наркомпросе, от непосредственного и верного свидетеля, и я смог удовлетворить его любопытство. С ним впоследствии мы много встречались, когда я был заведующим Научным отделом, а Кристи заведовал финансовой частью Главнауки. Он не был коммунистом (принадлежал к известной винной семье Кристи[346] и до революции был очень богатым человеком), но к большевикам стоял всегда очень близко и был личным другом очень многих старых партийцев, например – Луначарского. Это был человек честный, умный, всегда ироничный и насмешливый, часто лукавый, но без всякого зла. Пока мы с ним болтали, пришли мои товарищи по съезду; я познакомил их с Кристи, и они очень охотно, но сконфуженно (из-за двери) приняли участие в нашей беседе.[347]

Моя поездка на Астрономический съезд была нашей первой разлукой, правда, на короткое время, но тоска, которую я все более чувствовал, давала мне понять, какое место ты заняла в моей жизни, и я стал все более торопиться с отъездом. Однако уехать раньше конца [съезда], не побывав на заключительном банкете, который должен был иметь место в Пулковом, выглядело неприлично.

В свободные часы мы ходили гулять; во время одной из таких прогулок, на Петербургской стороне, в конце одной из улиц, где образовался совсем сельский пейзаж, на лужайке мы увидели странную картину. На траве лежал какой-то гражданин – босой, а к большому пальцу его ноги был привязан длинной бечевкой петух, мирно прогуливавшийся и поклевывавший

кругом, пока его патрон спал. От нашего присутствия и разговора человек проснулся и объяснил, что петух – его кормилец. У многих женщин есть куры, но нет петухов, и вот, за некоторую мзду, он позволяет ему позабавиться.

Иногда мы гуляли по ночам: нашим спутником бывал В. В. Каврайский – астроном, работавший в морском ведомстве, и вот однажды, взглянув на небо, он обнаружил новую звезду в созвездии Лебедя. Мы сейчас же отметили время наблюдения и сообщили по телефону в Пулково. На следующий день Каврайского на съезде поздравили, но он озабоченно говорил: «А я боюсь, боюсь, что мальчишка Дубяго в Казани уже успел ее найти раньше меня». И оказался прав: через час из Казани пришла телеграмма от Дубяго, который, действительно, сделал это открытие раньше, чем Каврайский. Но и тот радовался недолго: в Пулково пришла телеграмма из Америки, отправленная раньше наблюдений Дубяго и извещавшая об открытии звезды, с просьбой наблюдать ее в часы ночные для Пулково и дневные для Америки.

Наконец, настал последний день съезда с банкетом в Пулково. Нужно ли говорить, с каким почтением мы осматривали эту обсерваторию с ее реликвиями, анекдотами, традициями; с «кукушкой», где ночевали знаменитейшие астрономы всего мира, которые голодали (совместительство для них невозможно), но не покидали свою работу; с астрономическими огородами; с книгой «De revolutionibus orbium coelestium», [348] поля которой содержат собственноручные примечания Коперника. Атмосфера этого учреждения была единственной в своем роде. Для банкета пулковцы не пожалели усилий, и в то голодное время на столе оказались прекрасные вина, «мяса египетские», рыбы волжские со всем, что они могут дать, и настоящий шоколадный крем с замечательным кофе.

После банкета я простился с любезными хозяевами и коллегами по съезду и отбыл поскорее в Петроград, надеясь уехать в тот же день. Мои бумаги и мандаты были бесспорны, но заведующий билетным бюро отказал мне в праве выезда и сказал, что не может выдать билет без разрешения Петросовета. Что было делать? К счастью, как только я вышел за дверь, меня догнал его помощник и сказал: «Вернитесь через четверть часа. Его тут уже не будет, а я выдам вам билет». Так оно и вышло, и в этот же вечер я все-таки был в пути к Москве и к тебе. Не мог же я провести первую годовщину нашей свадьбы вдали от тебя.

По приезде нам пришлось подумать над двумя серьезными вопросами. Трамот надоел тебе до последней степени, и хотелось заняться другой, более интересной работой. Тебя тянуло к биологии, но мне казалось, что нужно, скорее, использовать те знания экономических наук, которые дал тебе Коммерческий институт. Преподавательский состав там был первоклассный, и наравне с ним могло быть поставлено только экономическое отделение Петроградского политехнического института. С другой стороны, после революции перед страной и советскими учеными встал ряд интереснейших экономических проблем, и мое мнение было, что тебе достаточно незначительной переподготовки, чтобы стать первоклассной научной деятельницей по экономике.

Я посоветовал тебе поступить на факультет общественных наук, и ты меня послушала. Тебе зачили все курсы и все экзамены, проделанные в Коммерческом институте. Но я еще не знал, а сама ты не учла, до какой степени тебе чуждо было образование, через которое провели тебя родители. С обычной добросовестностью и пунктуальностью ты ходила на лекции и практические занятия, но сердце твое к этому не лежало. И именно из-за добросовестности тебе пришлось прекратить занятия: университет был не топлён уже который год, и твой ревматизм возобновился в жесточайшей форме. К счастью, мы были уже не в маленькой комнате с маленькой печкой, а в кабинете Ивана Григорьевича, обогреваемом большой кирпичной печью.

Вопрос о прислуге разрешился для нас появлением Фени, вашей давней горничной. Она ушла от вас, замуж, но вот случилось так, что ее бросил муж, и Феня очутилась на мостовой,

не зная, что делать. Ты устроила ее детей в ясли, а ей дала комнату при кухне. У этой женщины были колоссальные достоинства и таковые же недостатки, с которыми мне иногда трудно было мириться, но тебе всегда удавалось доказать, что все-таки лучше мы не найдем, и она работала у нас до самого нашего отъезда за границу.

В университете я получил неожиданное предложение: Реформатский отказался быть деканом на 1920–21 год, и на его место была выдвинута кандидатура Стратонова, который предложил мне стать помощником декана. Мне не очень хотелось снова заниматься административной работой, но меня убедили, что она собственно будет лежать на декане и секретаре, а я буду только участвовать в заседаниях и время от времени заменять декана. В секретари была выдвинута кандидатура физика Владимира Александровича Карчагина. Я согласился. Число голосов, которые мы получили, не очень много превышало половину. Против Стратонова голосовали его астрономические коллеги, а также крайние левые и крайние правые; против меня голосовала реакционная профессура, и особенно энергичную кампанию вел реакционнейший Николай Димитриевич Зелинский – химик, человек двуличный и умеющий притворяться сверхсоветофилом. Как бы там ни было, мы оказались избранными, что я наивно считал очень большой честью; на самом деле это была перегрузка, требовавшая больших сил, крепких нервов, решительности и мужества. К тому же в новом деканате все трое были физико-математики, и среди нас не было ни одного естественника. Это вызывало частые трения, хотя иные и говорили, что так лучше, потому что естественник мирволил бы своей лаборатории.[349]

При столь далеких воспоминаниях, естественно, многое забывается. Я забыл поставить на своем месте один эпизод из пребывания в Петрограде – эпизод мелкий, но сейчас для меня жутко актуальный. Разговаривая с Кристи, я спросил у него, кто наш сосед в другом конце полукруглого коридора, отделенного от нас бархатным занавесом. Оказалось, что этот хмурый и пожилой человек – известный археолог Казнаков, хранитель одного из отделов Эрмитажа. Он недавно потерял жену и, не будучи в состоянии оставаться дома, временно поселился в Доме ученых. На следующее утро мы вдруг услышали из соседнего помещения многократный крик кукушки и как будто хлопанье крыльев. Мы осторожно заглянули за занавески и увидели Казнакова, стоящим на столе, размахивающим руками как бы крыльями и издающим кукушечий крик.

«Что это за старый идиот?» – спросил Михайлов.

«Это ваша судьба, – ответил я, – когда на старости лет лишитесь всего, что было вам дорого и останетесь в одиночестве. Иногда люди даже хохочут; помните стихотворение Гейне:

“Смеюсь затем я, что, когда случаются несчастья,

И нам судьба сердито

Подбросит под ноги, что было сердцу мило

И что она безжалостно разбила,

Тогда останется одно – смеяться”.

Смотрите лучше на то, что видите, как на урок и предостережение».

Этой же осенью у меня прибавилась новая нагрузка. Университет Шанявского был взят под Коммунистический университет имени Свердлова, и мне стало невозможно читать там мой

курс математического анализа для физиков и натуралистов. Когда я пожаловался Тимирязеву, он ответил: «Это очень легко устроить. В Коммунистическом университете открываются кафедры точных наук. Берите кафедру математики и организуйте преподавание. Физику беру я, биологию – Борис Михайлович Завадовский, астрономию – А. А. Михайлов. Ведает всем этим бывший нарком путей сообщения инженер Кобозев». Я согласился; меня очень интересовала эта новая среда, и мне очень хотелось поставить на новый лад преподавание математики.

Открытию курсов предшествовал ряд заседаний нашей коллегии для выработки методов и программ преподавания. Легче всего было Михайлову, потому что его задача сводилась к прочтению хорошего курса популярной астрономии с диапозитивами. Этот курс он уже читал много раз, и всегда с большим успехом, перед разнообразными аудиториями, и у него была великолепная коллекция диапозитивов. Но каково было мне: я должен закончить год элементами анализа перед аудиторией, в которой огромное большинство не владеет даже элементами арифметики. Поэтому, после очень долгих пререканий, мне удалось провести решение об образовании ряда приблизительно однородных по составу групп, которые проходили бы ускоренную, но солидную подготовку под руководством опытных преподавателей. Их я набрал среди оставленных при университете, а также среди хороших педагогов московских средних учебных заведений. Достаточно назвать некоторые имена: П. С. Александров, П. С. Урысон, Н. К. Бари, В. Н. Вениаминов и многие другие – в общем, цвет молодой московской математики. Для Тимирязева это было очень кстати, так как невозможно читать физику людям без математической подготовки.

Б. М. Завадовский был в ту пору начинающим ученым – пылким, искренним и часто наивным. Он собрался читать биологию по огромной энциклопедической программе, которую упорно защищал против нас всех. Я много раз и очень жестко сцеплялся с ним и тут заметил у него еще одно свойство, которое сразу было не видно: большое благородство души и способность выслушать неприятные вещи, не становясь врагом противника. Это очень редкое качество сочеталось у него с прямоотой характера. Таким он был тогда, таким показал себя и потом.

Очень колоритную фигуру представлял из себя Кобозев: старый большевик и старый инженер путей сообщения, он сохранил способность к энтузиазму. Это он, уже в то время, прослышав про первые результаты экспедиций академика Ферсмана на Кольском полуострове, напечатал в «Известиях» или «Правде» (может быть, и там и там) пророческую статью о перспективах освоения нашего севера.[350] Он говорил и об апатитах, и о фосфатах, об оплодотворении при помощи этого минерального удобрения Кольских пустынь, о продвижении устойчивых культур к северу, о городах, которые там создадутся, с театрами, университетами, библиотеками, заводами, удобными жилищами. В ту пору могло казаться, что это мечты, но я чувствовал, что они осуществляются гораздо раньше, чем мы думаем.

Несомненно, Кобозев был очень талантливым человеком, но нам пришлось огорчить его. Он попросил нас рассмотреть его учебник, составленный из лекций в одной из свердловских групп – лекций по математике; отзывы учеников были очень хвалебные, и за короткое время число их у Кобозева удесятирилось. Я первый взял на просмотр этот учебник, будучи заранее настроен в его пользу, и... ужаснулся. Был виден огромный преподавательский талант, редкий талант, но безграмотность учебника оказалась потрясающей и непоправимой. Я передал учебник Тимирязеву, и он вынес такое же впечатление. Что тут было делать? С большой осторожностью мы вернули учебник автору: он не поверил, и учебник переслали на заключение кому-то из партийных математиков, который присоединился к нам. Огорченный Кобозев отказался от председательствования в нашей коллегии и перешел на другую работу, о чем лично я очень жалел.[351]

В начале октября 1920 года в Москве имел место еще один съезд, где мне пришлось выступать, – съезд Российской ассоциации физиков. Он был гораздо многочисленнее Астрономического: приехали люди из очень далеких углов – Томска, Омска, Туркестана.

Провинция была очень хорошо представлена, и, что важнее всего, настроение было «весеннее». После войны, революции и гражданской войны (правда, еще не оконченной) произошла первая встреча людей, которые до этого не могли даже сноситься между собой. Литература не издавалась, и иностранных научных журналов не видели уже долгие годы. Несмотря на это, люди работали и приходили к хорошим результатам.

Помню, например, выступление томского физика Соколова, который приехал на съезд с моделью атома, очень напоминавшей модель Бора, о которой только что узнали. Ему было неприятно оказаться перекрытым, но вместе с тем он чувствовал законную гордость и законную надежду. Если не ошибаюсь, на этом же съезде Хвольсон выступил тоже с очень оригинальной моделью атома: он строил ее в виде груды кружков одинакового размера, положенных один на другой и подчиненных некоторым силам связности. Боковым ударом можно было выбить любой из этих кружков (при условии, что сила удара превышала некоторый порог), и тогда «петалон» (так Хвольсон называл свои кружки, а злые языки называли их «пantalонами») выскакивал, и получалось излучение. Модель была очень остроумна, но успеха не имела.

Я выступил с тремя докладами – о звездных кучах, Курской магнитной аномалии и явлениях на границе разнородных тел (проблема Тимирязева и Ломмеля – Хвольсона).[352] Стратонов сделал доклад о проекте астрофизической обсерватории и получил сочувственную резолюцию съезда. К тому времени я уже сделал первые вычисления глубины магнитных масс в Курской губернии, что дало около 250 метров, и доложил эту цифру. Мне возражал Лазарев, который считал ее слишком малой; на самом деле бурение дало глубину меньше 200 метров.

В университете деканат задавал нам много забот и хлопот. Вина лежала всецело на Покровском, который вместо того, чтобы твердо выделить помещения рабочему факультету, предоставил Звягинцеву право занимать в явочном порядке любые помещения, причем в случае конфликтов с законными владельцами ректор университета Боголепов всегда становился на сторону Звягинцева. Операция происходила по следующему шаблону. Я читал свою лекцию. Вдруг дверь с грохотом открылась и появилась куча рабфаковцев. Их представитель подошел ко мне и сказал: «По приказу товарища Звягинцева мы занимаем эту аудиторию; сейчас товарищ такой-то начнет свою лекцию. Уходите отсюда». Я ответил ему: «Как помощник декана физико-математического факультета я являюсь представителем советской власти, и никакие распоряжения Звягинцева для меня не обязательны. Я требую, чтобы вы немедленно все убрались отсюда, и предупреждаю, что если это безобразие продлится, то вы ответите по всей строгости революционных законов». Они немедленно убрались и больше не появлялись, но далеко не все профессора проявляли такую решительность. На ближайшем заседании ГУС я задал Покровскому вопрос, чем, собственно, он руководился, устанавливая в университете захватное право вместо твердого порядка. Он ничего не мог ответить (тем более, что меня поддержали и другие члены ГУС) и пробормотал: «Хорошо, я скажу товарищу Звягинцеву».

В течение осени 1920 года и дальше рубль продолжал катастрофически падать. Это создавало огромные затруднения для всех и, в особенности, для высших учебных заведений. На средства, отпускаемые университету, было невозможно снабдить лаборатории даже тем, что необходимо для практических занятий со студентами. Преподавание зоологии, ботаники, физиологии, физики, химии и других экспериментальных наук сделалось немыслимым. На научную работу не отпускалось никаких кредитов. Совершенно естественно и в полной гармонии со взглядами Климента Аркадьевича Тимирязева на структуру университета (три ассоциации: преподавательская, исследовательская и просветительная) возникла мысль об организации научно-исследовательских институтов. С большим трудом мне удалось убедить математиков в полезности этого дела. Я составил проект учреждения Московского института математических наук с объяснительной запиской, принятых за основу ходатайства, с которым московские математики обратились в Наркомпрос.

Проект был утвержден ГУС, Б. К. Млодзеевский назначен временным директором, Д. Ф. Егоров – вице-директором, а я – ученым секретарем. Беда была в том, что, кроме меня, никто не хотел делать «черную» деловую работу. Млодзеевский согласился на это предприятие, надеясь сохранить помещение и математическую библиотеку во 2-м Московском университете, и это помещение было закреплено за нами. Но мы все работали в 1-м Московском университете, и собираться во 2-м, при полном отсутствии способов сообщения, не было никакой возможности. Окончательный крах произошел, когда ГУС по требованию Волгина присоединил институт к 1-му Московскому университету, чего мы не хотели. Поэтому временно мы отложили дело в долгий ящик, откуда через год оказалось возможным его вытащить.

В Московском математическом обществе два доклада привлекли общее внимание. Павел Алексеевич Некрасов, бывший профессор математики, бывший попечитель учебного округа, знаменитый своим черносотенством, своей полемикой, крайне неудачной, с Марковым и Ляпуновым, выступил с неожиданным докладом «Маркс, Ленин и я как основатели рациональной социологии».[353] Доклад был видоизменением предисловия к его учебнику теории вероятностей, где тоже была триада – только другая: бог, царь и учитель. В доклад было вставлено немножко математики, говорилось о социологической неевклидовой геометрии, приводились формулы из Лобачевского. Изумление было общим. Я подошел к полке, взял том «Математического сборника» и упомянутый учебник, прочитал оттуда наиболее живописные места и задал Некрасову вопрос, как он согласует эти «триады». Димитрий Федорович, который сидел рядом со мной, прошептал мне: «Ну и жестокий же вы человек». Павел Алексеевич, конечно, не мог ничего ответить и пробормотал несколько бессвязных слов.

Другой доклад, о математической теории падающей валюты, был у О. Ю. Шмидта, который, как будто тоже используя функцию Лобачевского, доказывал, что, собственно говоря, если валюта падает, следуя некоторому закону, то государство может сводить концы с концами.[354] Теория была построена не без остроумия. Шмидт рассказывал очень интересно, и все слушали его с удовольствием. В прениях ему ядовито предложили: в следующем заседании дать математическую теорию индивидуального бюджета при падающей валюте. Он засмеялся и сказал: «Господа, я понимаю вас, но согласитесь, что в жизни страны иногда бывают невозможности». На его беду он повторил этот доклад для широкой публики в большом зале Благородного собрания (Дома Союзов) и как раз в тот момент, когда практические затруднения, связанные с падающей валютой, сплелись в такой узел, что советское правительство задумало перевести денежное хозяйство на твердую валюту. Результатом было изгнание Шмидта из коллегии Наркомфина, и вместо автомобиля он, на некоторое время, стал пользоваться своими ногами.[355]

Многие события, даты их забываются. Я забыл на своем месте упомянуть смерть Климента Аркадьевича Тимирязева. С весной он вдруг стал как-то слабеть и, почувствовав, что положение плохо, решил выявить всю симпатию, которая у него была, к коммунистической партии и Ленину, а также завещать сыну вступить в партию. Я присутствовал на похоронах и прекрасно помню блестящую речь Каменева: человек он был слабый, лишенный позвоночника и мужества, но говорил хорошо, и тут сумел сказать то, что надо, без лишних слов, спокойным отчетливым голосом.

К моему удивлению, после заседания Математического общества П. А. Некрасов как ни в чем не бывало пришел ко мне на дом, чтобы просить меня содействовать переизданию его учебника по теории вероятностей. У меня с ним был не ликвидированный счет: это он, в качестве попечителя Московского учебного округа, уволил в 1912 году моего отца.[356] и об этом надо рассказать. В реальном училище в Смоленске, где папа преподавал литературу и историю, появился новый директор – черносотенец Реха, который своими действиями вызвал волнения, ученическую забастовку и... пощечину, которую дал ему один из учеников.[357] Где уж ученикам бороться против всей полицейской мощи Российской империи? Было

произведено расследование и предназначено к исключению большое число учеников без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение. Вопрос обсуждался в педагогическом совете, и папа выступил на защиту, предлагая возложить какие угодно внутренние взыскания на учеников, но не исключать их, да еще с волчьим билетом.[358] Учеников исключили, а папу уволили по распоряжению из Москвы, но он был немедленно назначен на ту же должность в Коммерческом училище, то есть по Министерству финансов.

Я не мстителен и всегда стараюсь решать всякое дело без предвзятых суждений, но тут принять эту замену триады «бог, царь и учитель» другой «Маркс, Ленин и Некрасов» было невозможно. Я отказал, тем более, что курс Некрасова содержал большое количество ошибок, за которые он держался с невероятным упрямством. В течение нескольких недель Некрасов ходил ко мне каждый день, пуская в ход все новые и новые аргументы. Когда он перестал ходить, я узнал, что Некрасов и его сын (коммунист) подали донос, называя меня «известным саботажником». Меня запросили, я ответил, что считаю совершенно неприличным разговаривать по поводу человека, который в 1912 году уволил отца как революционера, а в 1920 году пытается содействовать увольнению его сына как уже контрреволюционера. Учебник Некрасова был передан на отзыв еще кому-то, и отзыв был отрицательный. Из доноса его ничего не вышло. К моему удивлению, в Социалистической академии была образована группа для того, чтобы математико-социологические работы Некрасова «поставить на ноги» тем же способом, каким Маркс поставил на ноги философию Гегеля. Из этого ничего не вышло.

Однажды утром в хороший осенний день заехали за мной на автомобиле Покровский, Тер-Оганесов и Артемьев, чтобы побывать в Кучине в Аэродинамическом институте и посмотреть, что там делается после отъезда за границу его владельца Д. П. Рябушинского. В Кучине я уже бывал в 1906 году, когда там работал мой товарищ по университету Б. М. Бубекин – очень талантливый конструктор и механик. В ту пору Бубекин жаловался, что своими глупыми измышлениями Рябушинский мешает делать научную работу. Но Рябушинский был «хозяином», хозяином на купеческий лад, и Бубекину пришлось уйти. Тогда же Рябушинский поступил на физико-математический факультет, закончил, подготовил магистерский экзамен, сдал его и сделался приват-доцентом. Его, как впоследствии и меня, пригласили в Московское математическое общество сделать доклад, но на выборах забаллотировали, настолько доклад был безграмотным.

После Октябрьской революции имение с институтом оказалось захвачено крестьянами, которые за короткий срок разрушили много ценных научных приборов. Тогда Рябушинский сделал совершенно правильную вещь: обратился в Наркомпрос с просьбой взять институт под защиту и, насколько возможно, возобновить в нем работу. Наркомпрос провел национализацию института, назначив директором Рябушинского под контролем коллегии в составе Бастамова, Пришлецова и Чаплыгина как председателя. Немного погодя Рябушинский продал институту свою библиотеку через подставных лиц и испросил заграничную командировку. Попав за границу, он начал вопить, как его ограбили, каким опасностям подвергался и т. д. Тогда директором был назначен Бастамов, который организовал в институте ряд геофизических отделений – сейсмическое, магнитное, аэрологическое, теоретическое, атмосферно-электрическое и метеорологическое.

Мы приехали в институт неожиданно и очень всех перепугали. Нас повели осматривать лаборатории и службы, причем было проявлено совершенно определенное очковтирательство: как новые показывали те работы, которые были выполнены еще при Рябушинском и даже при Бубекине. Новое имело место, но только еще не было готово: сейсмическая станция строилась, и никакой работы вестись не могло. Пока мы осматривали котлован, Пришлецов побежал в барак, предназначенный для магнитных приборов, и наскоро произвел их расстановку по тому же методу, по какому Лазарев показывал рентгенологическую лабораторию банкиру Марку. Мы сейчас же обнаружили, что наскоро поставленные приборы с находившимися около них лженаблюдателями не были годны для

наблюдений.

Атмосферное электричество находилось в ведении профессора Сперанского (зятя Лейста), которому группа геофизиков старалась отлить свои слезки, когда он при Лейсте командовал ими. Сперанский был в состоянии вести свой отдел, но ему намеренно не давали этой возможности. Аэрологией занимался известный доносчик Виткевич, заполнивший своими доносами не одну папку в Наркомпросе. Словом, институт являлся осиным гнездом, в котором мало делалось настоящей работы и велась постоянная склока. Наиболее умным и талантливым был Бастамов, но он, со стороны характера, ничем не отличался от остальных. На обратном пути мы обсуждали положение в институте, и мне было предложено войти в него в качестве члена коллегии. В конце концов я согласился, но далеко не сразу и после многих бесед с Сергеем Алексеевичем Чаплыгиным.

Чтобы понять взаимоотношения в институте, нужно обратиться далеко назад. У Лейста была дочь, на которой женился Александр Афиногенович Сперанский, бывший в то время (1904–1905 гг.) оставленным при университете. Лейст предпринял целую кампанию для того, чтобы очистить путь Сперанскому: выгнали приват-доцента Брошадта, поставили в невозможные условия оставленных при университете Бастамова, Ханевского, Пришлецова и Бончковского, которые все были моложе Сперанского, но могли его обогнать. Им было запрещено пользоваться библиотекой института, а чтобы они не засиживались в лабораториях, клозеты были заперты, и ключи имелись только у Лейста и Сперанского. В саду института дежурил сторож, который сейчас же доносил Лейсту, если кто-нибудь позволял себе «сделать пи-пи» в саду. Отсюда – скандалы. Когда Сперанский защитил магистерскую диссертацию, Лейст провел через министерство новую должность профессора и назначение на эту должность Сперанского вопреки уставу. Только после этого четверем молодым геофизикам была предоставлена возможность сдать магистерские экзамены. Естественно, что, когда после революции все они, по декрету Покровского, стали профессорами, они постарались выместить Сперанскому все свои страдания.[359]

Надо вернуться к условиям нашего существования. С точки зрения питания мы были сравнительно обеспечены благодаря академическому пайку и выдачам натурой в Коммунистическом университете, где, постояв час в очереди, я был очень рад получить фунт хлеба (там он был съедобным). В академическом пайке часто мясо заменяли селедками, масло – ими же, сахар – ими же. И притом в селедках оказывались очень прыткие личинки – «прыгунки», как их называли приказчики при выдаче. Как только мешок приносили домой и открывали, пол покрывался сотнями этих прыгающих личинок. Один раз я наловил изрядное количество их в два пакета и отправил: один – наркомздраву Семашко, другой – Покровскому.

Самое тяжелое было отсутствие топлива и невозможность его купить. Складывая вместе все содержания, которые где-либо получал, я не мог бы купить даже четверти сажени дров на черном рынке, а выдачи отсутствовали. Я обратился к Покровскому: ответа не было, но управляющий делами ГУС Петр Петрович Дехтерев, очень славный человек, сказал мне: «Не ждите ответа: он считает такие заявления проявлением антисоветских настроений; а вот я достану вам ордер из хозяйственного отдела Наркомпроса». Он сдержал свое слово: я получил ордер на сажень дров. Но, чтобы осуществить его, предстояло проделать целое путешествие на склад за Симонов монастырь на берегу Москвы-реки.

Требовалось выйти часа в три ночи с тем, чтобы поймать ломовиков на Таганской площади и договориться с ними – и не за деньги, а за продукты. Усевшись в сани, продолжить путешествие до склада и там ждать, пока его заведующий соблаговолит придти и отпустить дрова. За это также нужно было дать ему продукты, и тогда была надежда получить не сажень, а больше. Я проделал эту программу с полным успехом, и так как я, по твоей терминологии, – «Ротшильд младший», то к трем часам дня вернулся домой замерзший и усталый, но с двумя сажнями дров. Мы сложили их стенкой у себя в комнате, так как никаких

других мест для хранения не было: даже палка не пролежала бы в коридоре и пяти минут; так этот вопрос был разрешен. Мы смотрели на дрова любовно, а все, приходившие, – с завистью. Пила была тут же, и я работал ею с большим успехом.

Твоя жизнь проходила под знаком болезни. Ревматизмы принудили тебя оставить начавшуюся работу на факультете общественных наук. Трамот был ликвидирован. Приходилось ожидать улучшения здоровья и общего улучшения для того, чтобы предпринять выполнение новой программы: мы решили, что с осени следующего, 1921 года ты начнешь биологическую подготовку на физико-математическом факультете. Я советовал тебе начать ее немедленно, самой, с тем, чтобы потом было легче выполнять учебный план, но из этого ничего не вышло: болезнь и семья не давали возможности заняться делом.

Катя и Сережа продолжали рассматривать тебя как заместительницу матери. Ты и была для них матерью, как и для Ивана Григорьевича, который очень нуждался в уходе, заботе и ласке. Из Трамота он также ушел и даже на очень высокий пост: Красин, наркомвнешторг, предложил ему – по рекомендации старого боевика Валерьяна Ивановича Богомолова («Чёрта») – пост начальника управления внешней торговли.[360] Иван Григорьевич принял за дело ревностно и честно, но ему было очень трудно понять, по всем его привычкам и опыту, политику внешней торговли: в каждом деле он рассматривал выгодность и только выгодность его в данный момент, не усматривая связи с промышленными перспективами советского государства. Иван Григорьевич понял трудность своего положения очень быстро, переговорил с Красиным и был назначен на более спокойную должность консультанта, где его работа и опыт были действительно полезны.[361]

Мне кажется, что уже этой зимой мы получили предупреждение о состоянии твоего сердца, если не ошибаюсь – от профессора Дмитрия Дмитриевича Плетнева, которого я пригласил к тебе. В Москве он считался первым специалистом по этим болезням и гениальным как диагност. Мы с тобой выходили в театры, но не так часто, как в предыдущем году. Моя занятость стала подавляющей, и мне было очень трудно найти время, а иногда – и силы, чтобы пойти в театр. Ты выходила часто, но не со мной, а с Иваном Григорьевичем или со знакомыми.

С тобой мы побывали в Камерном театре на «Принцессе Брамбилле» – драматической переделке рассказа Гофмана,[362] которого я всегда любил и люблю. Ты пошла на эту пьесу без особенной охоты. Очень хорошо помню, что спектакль открылся вводной лекцией Новицкого, который в вопросах искусства показал себя скорее идеалистом, чем марксистом. Он правильно указал, что в рассказе Гофмана речь идет о сущности искусства, но не понял идеалистического оттенка в трактовке Гофманом этого вопроса. После двадцати минут скуки занавес открылся, и начался сумбур. Если еще можно было понять первый акт, где Джильо Фава мелодекламирует и получает нагоняй и урок реализма, то потом начался круговорот лиц, масок, процессий, с переменами костюмов, делавшими действующих лиц неузнаваемыми. Если я, читавший – и не раз – Гофмана, не понимал, что делается на сцене, то для тебя этот хаос был утомителен и скучен. Радости нам этот спектакль не дал.

В студии Художественного театра, которая пришла на смену театра Незлобина,[363] мы видели пьесу «Дело»[364] – вторую из трилогии Сухово-Кобылина. Эта постановка была замечательна, и каждый актер был на месте: особенно хорош М. А. Чехов (племянник писателя), игравший роль Муромцева. Как характеристика старого режима пьеса реакционера-крепостника Сухово-Кобылина была убийственна. Спектакль совершенно захватил нас, и мы вернулись домой глубоко взволнованными. Когда же прочли пьесу, то увидели, что авторская трактовка еще резче, чем та, которую мы видели; может быть, этого требовал художественный такт.

В самом Художественном театре мы повидали пьесу «Дни Турбиных»[365] (роман Булгакова называется «Белая гвардия») из только что законченной гражданской войны, которую

обыкновенное русское семейство переживает в Киеве. Проходит смена режимов: гетман, Петлюра, советская власть. Все члены семейства связаны с белыми и носят в себе «белую идею», которая ведет к разным компромиссам и, наконец, заводит в тупик. Наступает момент, когда уцелевшие, как и их окружение, счастливы, что приходит советская власть. Хорошо в постановке было то, что персонажи, за немногими исключениями, показаны вовсе не «белобандитами», а обыкновенными русскими людьми. Хотя меня, при моем педантизме, неприятно поразило полное несходство картинного сценического гетмана Скоропадского[366] с тем невзрачным генералом, которого я много раз встречал в ставке Юго-Западного фронта, – спектакль давал впечатление полной подлинности и взволновал зрителей.

Мы с тобой присутствовали также на первом выступлении Айседоры Дункан в Большом театре.[367] У меня в памяти было о ней чудесное воспоминание, как я видел ее в Париже за десять лет до этого в Trocad?ro и Ch?telet.[368] В Trocad?ro я видел ее в «Орфее» Глюка,[369] где она выступала в сопровождении своих учениц и приемной дочери Lise Duncan.[370] Айседора еще не пополнила, и каждая поза, которую она принимала, была естественна и прекрасна. Музыка Глюка, очень приспособленная для танцев, точно согласовывается с движениями и содержанием оперы. Я ушел, глубоко потрясенный.

В Ch?telet Айседора танцевала «Ифигению в Авлиде», тоже Глюка.[371] Я очень люблю увертюру этой оперы, как и всю ее. Наилучшее описание действия увертюры дано Гофманом («Кавалер Глюк»), и мне приходилось, слушая оркестр, проследить по Гофману развитие сюжета. Это изумительно, и вот к такой музыке на сцене прибавилась группа замечательных танцовщиц во главе с Айседорой. Впечатление, произведенное на публику, было совершенно исключительным. И тут кому-то пришло в голову потребовать на бис «Похоронный марш» Шопена; весь театр грохотал, поддерживая такое пожелание. Айседора Дункан вышла и сказала: «Не требуйте этого от меня: каждый раз, как я танцую его, со мной происходит несчастье». Но публика продолжала кричать: «Marche fun?bre!», [372] «Не будьте суеверны!», «Мы – в двадцатом веке!» Наконец, Айседора вышла, оркестр заиграл «Похоронный марш», и она станцевала, а на следующий день погибли ее дети:[373] автомобиль, в котором они находились, скатился в Сену.

В третий раз я видел Айседору во время войны в Трокадеро.[374] Она приехала в Париж, несмотря на данное ею обещание никогда больше не выступать там. Перед этим она побывала в Греции, чтобы склонить греков на сторону союзников, и танцевала на улицах Афин с портретом Венизелоса в руках. В Трокадеро она танцевала под звуки «Марсельезы», «Chant de depart»[375] и т. д. Это было еще приемлемо, но пахло каботинажем, и почет, с которым ее встретила публика, был далек от энтузиазма предыдущих встреч.

И вот Дункан – в Москве: она вдруг почувствовала восторг от борьбы русского народа и решила отдать ему свои силы. В «Правде» – восторженная статья Луначарского.[376] Я рассказал тебе все, что написал здесь, и пробудил твое любопытство: ты любила балет и сама прошла через балетную школу и даже выступала перед публикой как Коппелия. Мы взяли билеты во втором ряду. Мороз был злющий, театр не топлён, и публики оказалось сравнительно мало. Кругом нас – публика первых представлений: писатели, музыкальные и балетные критики, кое-кто из уцелевших снобов, много демократической и недемократической интеллигенции. В общем – публика, не очень расположенная к советской власти, культурная, хорошо знающая прошлое Айседоры – до числа ее лет включительно. Эта цифра, равно как и ее вес, не знаю, каким путем узнанный, цитировались всюду кругом нас.

Появляется Айседора: действительно, возраст виден, отяжеление катастрофическое. Начинает танцевать под музыку «Славянского марша» Чайковского, «превращая эту черносотенную пьесу», по выражению Луначарского, «в предсказание победы пролетариата». Но нет ни предсказания, ни победы. Есть отяжелевшая женщина, которая тщетно старается зажечь себя и публику. Аплодисменты слабые. Я аплодирую из упрямства; ты выражаешь

свое недоумение. Следующий номер – «Интернационал». Перед началом Айседора подходит к рампе и произносит одно слово: «Sing». Публика переглядывается. Кто-то встает и разъясняет: Дункан просит публику петь «Интернационал». Но это... не та публика. На ярусах несколько голосов начинают жиденько-жиденько, фальшиво-фальшиво и замолкают, сконфузившись. Дункан с некоторым удивлением видит себя вынужденной танцевать под оркестр, явно теряет уверенность и танцует слабо. Провал. Я понимаю, что издали она представляла себе все иначе, но забыла холод, голод, житейские заботы и нашу русскую сдержанность, да и «кому на ум пойдет на желудок петь голодный».[377] На обратном пути я опять рассказывал тебе, какой я видел Дункан в Париже, но полного доверия не встретил.

С очень большой охотой мы бывали на обыкновенных балетных спектаклях в Большом театре. «Тщетная предосторожность» – балет не мудрый, музыка – кое-как, но какая прелесть. А «Норвежские танцы» Грига с Гельцер и Жуковым! За исключением «Конька-Горбунка»,[378] которого мне так и не удалось повидать, мы с тобой пересмотрели все балетные постановки.[379]

У нас был уговор с родителями, что мы приедем на Рождество. Я начал хлопотать заблаговременно о билетах. Обратился в Наркомпрос и получил собственноручную записку от Луначарского, но когда предъявил ее после невероятного стояния в очереди, то получил ответ: «Да, это верно, что у т. Луначарского очень неразборчивый почерк. Что он тут такое пишет? Ну, да все равно. Даже если бы мы разобрали, ехать вам не придется». Мы обратились к московскому представителю Озерской мануфактуры, но все было заполнено: мы опоздали. Я помню, как ты была огорчена этим известием: чуть не заплакала и предложила мне ехать на вокзал наудачу. Я отказался: в эту эпоху и в это время года стоять шесть часов в хвосте, чтобы без билета ломиться в поезд, было бы безумием, и мы остались.

Новый год мы встречали коллективно у Сергея Владимировича Г[романа], который женился на полуавантюристке С., очень красивой и даже блестящей женщине, но на двенадцать лет старше его.[380] Дом их превратился в Ноев ковчег, где постоянно вертелось много красивых бездельниц и, около них, мужская публика всякого рода. Мне все это не нравилось, но тебе хотелось повеселиться, и мы поехали туда с Иваном Григорьевичем. Нужно сказать, что с внешней стороны все было организовано гораздо приличнее, чем за год до этого у Б[ориса] А[лександровича] Г. Мы сидели за столами, циркулировали блюда с яствами и бутылки. Одно только для меня было нехорошо: жен посадили отдельно от их мужей. Справа и слева сидели незнакомые дамы, ты была далеко и мне взгрустнулось. Но вдруг слева от меня вдвигается стул, и ты садишься рядом со мной, заявляя весело: «Нет, я не могу оставить моего ребенка около чужих тетъ». Общие аплодисменты, и все для меня сразу осветилось и стало веселым и радостным. Если бы ты знала, как я был благодарен тебе за это...

Что еще сказать об этом вечере? Было пение. Квазицыганка Краминская спела неплохо несколько романсов под гитару. Пела жена Сергея Владимировича, потом танцевали и играли. Старый Владимир Густавович (отец Сергея Владимировича) – да и был ли он таким старым? – подвыпил, осовел и, чтобы придти в себя, целовал руки Краминской. Возвращались домой поздно-поздно и пешком: извозчиков не было.[381]

Работа в университете в качестве помощника декана требовала времени больше, чем я думал. Если бы В. В. Стратонов сдержал свое обещание, я нес бы только свою долю работы, но его отсутствия были очень часты: он надолго уехал в Туркестан и на юг по делам Астрофизической обсерватории и Туркестанского университета.[382] Так на меня легло исполнение обязанностей декана в течение нескольких месяцев, а это означало регулярное ежедневное присутствие в кабинете, прием посетителей, участие во всевозможных комиссиях и председательствование в совете факультета. Это отнюдь не было синекурой, и, чтобы все проходило благополучно, требовалось проявлять много такта, терпения и умения улаживать конфликты. В некоторой дозе, по-видимому, я обладал этими свойствами, так как

иронический Славочка Степанов как-то сказал мне: «Знаете ли вы, что пришли по сердцу факультету? Все удивляются, что вы, человек недавний в университете, освоились с этим делом так быстро, как будто тут родились». Этот отзыв человека, не всегда ко мне расположенного, доставил мне большое удовольствие.

Заседания факультета происходили в круглом зале правления. Справа от председательствующего садился секретарь факультета с повесткой дня, всеми материалами к повестке и заранее подготовленными резолюциями; все это мы очень внимательно изучали и приводили в ясность. Слева от председательствующего неизменно садился профессор зоологии Григорий Александрович Кожевников – хороший зоолог, хороший профессор и чрезвычайно тупой человек. Он слушал все с величайшим вниманием, по каждому вопросу говорил по нескольку раз и, к счастью, не обижался, когда я злоупотреблял правом председателя.

Насколько туго Григорий Александрович соображал, можно судить по следующему происшествию. Праздновали 25-летний юбилей его научной деятельности, и Николай Александрович Иванцов – человек едкий, остроумный и иногда злой – приветствовал профессора от имени Главнауки: «Глубокоуважаемый и дорогой юбиляр. Не успев еще как следует сойти со студенческой скамьи, вы уже прославили свое имя замечательной статьей в “Русских ведомостях” о таракане в московских булочных. С тех пор протекло 25 лет, но и доселе ваш труд является непререкаемым авторитетом по этому важному народнохозяйственному вопросу. Ваше исследование о летнем запоре и зимнем поносе у пчел, как яркий луч солнца, озарил этот трудный и загадочный вопрос для специалистов-зоологов и практиков-пчеловодов. Другие скажут о ваших диссертациях, но могу ли я забыть ваши зоопсихологические выступления вместе с клоуном Дуровым в государственном цирке?» Все ожидали скандала, но Григорий Александрович с мокрыми глазами подошел к Иванцову и облобызался с ним. Он был также замечателен необычайной крепостью черепа: во время дуэли с профессором Богоявленским из-за Веры Михайловны Данчаковой пуля попала ему в лоб и... отскочила. При перестройке Зоологического музея на голову ему упал кирпич и... разбился, а Григорий Александрович ходил две недели с завязанной головой. В 1922 году сумасшедший студент стрелял в него,[383] пуля... отскочила и опять Григорий Александрович проходил две недели с завязанной головой.[384]

Старая профессура была настроена еще очень реакционно и относилась к нам, особенно – ко мне, с большой подозрительностью; это, за немногими исключениями, мало-помалу рассеялось. Младший преподавательский состав был, наоборот, настроен «либерально»; я намеренно употребляю этот термин, потому что отнюдь нельзя говорить о революционных настроениях в той среде. Любовь к университету и глубокая честность по отношению к академическим обязанностям были общим правилом, и я почти не знаю исключений. Не нужно забывать, что все, в общем, работали даром: нельзя же серьезно называть «содержанием» те ничтожные гроши, которые получались. Видя невозможность вести практические занятия на те кредиты, которые нам отпускали, преподавательский персонал старался достать все необходимое, часто затрачивая свои ничтожные средства. Не нужно также забывать ту обстановку враждебности, которая была создана вокруг университета.

Наркомпрос, вернее – Покровский и его окружение, очень внимательно искал поводы для придинок и конфликтов. Можно ли пройти молчанием дело профессора анатомии Карузина? В очень тяжелый 1919–20 год, обстановку которого я обрисовал выше, Карузин голодал и холодал. Некоторые из его слушателей сжалились над ним и приходили по очереди помогать ему по хозяйству – колоть дрова, таскать мешки с картошкой и т. д. Последовали доносы, и возникло дело о взятках, которые якобы получал профессор Карузин, – дело, которое разбиралось публично в так называемом общественном суде. Я не помню, какой был приговор,[385] но уже самого факта возбуждения такого дела было достаточно, чтобы надолго запачкать и ошельмовать человека.

Очень неприятна была война, которую вело с нами правление университета. Ректором назначили маленького экономиста Боголепова (фамилия роковая для Московского университета) – человека неплохого, но взбалмошного, резкого и неумного. Его заместителем был некий Мейерзон – чрезвычайно резкий и глупый человек. Они вели буквально булавочную войну, придираясь без всякого основания к каждому постановлению факультета. Например, Мейерзон прислал бумагу с запрещением факультету – по некомпетентности! – обсуждать кандидатуры на всевозможные факультетские должности. Нам постоянно приходилось опротестовывать предписания правления, и Наркомпрос очень часто бывал принужден отменять их, настолько они были нелепы. Пришлось, наконец, прибегнуть и к серьезным мерам – отправиться в Центральную Контрольную Комиссию [РКП(б)] к Ярославскому с просьбой положить этому предел. Может показаться странным, но ходяков оказалось двое – Волгин и я. Всякие бывают положения в жизни!

В Наркомпросе в это время произошла существенная перемена: во главе профессионального образования (Главпрофобра) поставили Отто Юльевича Шмидта,[386] вскоре после того, как его изъяли из Наркомфина. Опять можно было видеть бороду Шмидта заполняющей маленький автомобиль, в котором он ездил. К сожалению, его пребывание там было кратковременным,[387] а введенные им меры оказались весьма спорными.[388]

Основная мысль Шмидта заключалась в том, что чисто общеобразовательная школа отжила свой век, на всех ступенях она должна быть профессиональной и преподавание общеобразовательных предметов должно подчиняться профессиональным требованиям. По отношению к университетам и, в частности, к физико-математическим и историко-филологическим факультетам Шмидт рассуждал так: программы этих факультетов были составлены вне связи с какими-либо практическими потребностями страны и, в общем, не вели ни к какой профессии. Если этого не замечали и бунта среди студентов не было, то только потому, что потребность в педагогах была так велика, что охотно брали всех, абсолютно неподготовленных к педагогической деятельности, людей.

После Октябрьской революции положение изменилось: открыты педагогические факультеты и институты, дающие своим студентам не только знания, но и умения. Что же будут делать в жизни оканчивающие университет? Очевидно, нужно выяснить, каких специалистов мог бы он выпускать, если в программу его наряду с теоретическими предметами ввести и практические дисциплины, подготовляющие к определенным профессиям. Прежде всего, человеческую продукцию университетов в течение ряда лет сможет поглощать обширная сеть новых научно-исследовательских институтов, фабрично-заводских лабораторий, сельскохозяйственных опытных станций. Новые высшие учебные заведения и техникумы нуждаются в квалифицированных преподавателях. Поэтому нужно по-новому определить категории специалистов: выпускать не математиков, а статистиков, специалистов по вычислительной технике, по технической математике; не механиков, а гидродинамиков для гидравлики, аэродинамиков для авиации, специалистов по баллистике; не астрономов, а геодезистов, специалистов по службе времени и т. д.

Все это звучало как будто убедительно, но Отто Юльевич совершенно забывал о реальном состоянии университета. Каким образом можно осуществить введение всех этих специализаций, когда даже самый крупный и устойчивый, самый богатый силами и средствами университет – Московский – совершенно лишен сколько-нибудь современного оборудования, не обновлялся с 1914 года, работает с совершенно сношенными инструментами, которые поддерживаются в работоспособном состоянии лишь благодаря исключительной преданности делу университетского персонала. Лаборатории переполнены, как и аудитории, так как еще не рассосался «покровский» прием 1918 года. Из-за отсутствия кредитов отсутствуют животные, растения, минералы, покровные стекла,[389] реактивы и т. д. Физика экспериментальная превратилась в физику «меловую». Можно ли серьезно говорить о введении практических дисциплин, требующих лабораторного оборудования и постоянного безотказного снабжения? Еще можно преподавать «меловую» механику, но аэродинамика

уже требует оборудования, которого в университете нет, и неизвестно, когда оно появится.

Кроме того, изменение программ с резким ударением на практику рискует выбросить из университетского преподавания самое ценное, что в нем имеется: теоретическую мысль, дух обобщения, инициативу в исследовательской работе. Преподавание технических дисциплин сведется к готовым схемам, к умению пользоваться уже готовыми таблицами, к шаблону. При этом можно указать, что целый ряд практических важных исследований был выполнен именно питомцами университетов, как, например, организация опытных агрономических станций; агрономы из Петровско-Разумовского играли тут совершенно второстепенную подсобную роль.

Со свойственным ему оптимизмом Шмидт утверждал, что нужные средства будут даны: они не могут быть не даны, стоит лишь дать заявки, а дать их надо сейчас же и сейчас же начать перестройку в указанном направлении. Ему удалось провести свои мероприятия через Совнарком, и это надолго ввело беспорядок и разруху в жизнь университета. Средства пришли, но... десять-пятнадцать лет спустя, а пока все стало «меловым». Очень скоро после этого Шмидт сломал себе шею на попытке сделать то же самое в средней школе. Жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская, по ряду соображений идеологических и педагогических отстаивала общеобразовательный характер средней школы. Шмидт... был уволен по телефону, и мы опять увидели его шагающим по улицам. И все-таки, несмотря на сумбур, введенный им, мы жалели о нем, потому что он, как умный человек, нашел бы разумный способ проведения своей программы, чего нельзя было сказать о его преемниках.[390]

Изгнанный из Главпрофобра, Шмидт был вскоре назначен заведующим Госиздатом. Первым его актом стало учреждение комиссии по воссозданию сети научных журналов. В эту комиссию помимо представителей ведомств были введены представители профессуры, и в том числе А. Д. Архангельский, Николай Константинович Кольцов, Лев Александрович Тарасевич и я. Вопрос был очень сложный и допускал несколько решений. Можно поставить крест на всем, что существовало до революции, и организовывать сеть исходя из потребностей страны и наличности научных сил. Это крайнее решение очень нравилось Архангельскому, но Шмидт смотрел на дело иначе и правильнее. По каждой дисциплине нужно обязательно сохранить один (и больше, если нужно) руководящий старый журнал: «О нас слишком много кричат, что мы разрушаем старую культуру и не признаем никакой преемственности. Эта басня для нас и невыгодна и не соответствует нашим намерениям. Все, что только есть ценного, мы желаем взять, сохранить и улучшить». К этому мнению все присоединились, и проведение его на практике потребовало большой работы.

По математике в качестве руководящего органа был намечен «Математический сборник», [391] выпускавшийся Московским математическим обществом, а для Украины – «Журнал Харьковского математического общества». Помимо этого, в изданиях Академии наук давалось большое место для математических работ. Вопрос, казалось бы, бесспорный, но встало препятствие: обложка. Московское математическое общество требовало, чтобы на обложке стояло: «Математический сборник, издающийся Московским математическим обществом». На это Госиздат и Главнаука, которые и отпускали средства, отвечали, что издатели – они и нужно ставить: «издающийся Главнаукой и Госиздатом». [На вопрос:] «А где же мы?» – добавка: «При редакционном участии Московского математического общества». К этому решению пришли после очень долгих переговоров: сначала я убеждал Егорова; потом мы оба уговаривали Млодзеевского, что было не легко; потом трое вели переговоры со Шмидтом.

Появлялись неожиданные затруднения: будет ли стоять [лозунг] «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Наводили справки: оказывается, не будет. Самым крупным препятствием стало обязательное резюме статей на иностранных языках и на одном из иностранных языков для русских статей. «Как? – подскочил Болеслав Корнелиевич. – Вы хотите заставить

нас печатать иностранные статьи? А у нас в уставе...» Мы отвечали: «Это – постановление, общее для всех журналов». Понадобилось этот вопрос поставить перед обществом, и я, к моему удивлению, одержал победу над Млодзеевским. Очень курьезно, что сейчас в СССР официально восторжествовала точка зрения, обратная тому, что мы проводили в 1921 году. Надеюсь, что ненадолго: ни одной стране не бывает полезно вариться в собственном соку.

Для астрономии было принято иное решение. Пулковская обсерватория и другие крупные астрономические учреждения сохраняли свои публикации, но был создан «Астрономический журнал», [392] дабы печатать мемуары, [393] не связанные с наблюдательской работой. Для геофизики было принято аналогичное постановление, но Главная геофизическая обсерватория не пожелала придавать своему органу узковедомственный характер и назвала его «Геофизический журнал». Для тех дисциплин, где существовали учреждения или деятели особенно нахрапистые, приходилось принимать меры ограждения овец от волков. Так было в физике, где волком являлся Архангельский. Таким образом, чередуя уговоры, увещания, иногда нажим, удалось теоретически создать сеть. Я говорю теоретически, потому что должно было пройти еще значительное время, около года, прежде чем принятые решения начали осуществляться, и мы реально увидели первые книжки научных журналов.

К этому же времени относится одно любопытное дело. Астрономы ввели меня в Московское общество любителей астрономии, [394] и очень скоро я оказался членом его правления. Общество было того же типа, как Французское астрономическое общество, то есть объединяло серьезных научных работников с любителями, иногда – очень невежественными, но большими энтузиастами. Среди этих последних оказался личный шофер Дзержинского. [395] Его ввел в общество один молодой студент Волохов, который работал некоторое время в Чека и распропагандировал там в астрономическом направлении нескольких работников. Этот шофер подал по начальству записку с просьбой назначить его директором Московской обсерватории. Записка с сопроводительной бумагой поехала в Совнарком, откуда была передана в Наркомпрос, оттуда попала в Главнауку, и там Покровский передал ее Гливенко, а он – своему помощнику Иванцову (тому самому). Тот усмехнулся, потер руки и назначил комиссию из Блажко, Казакова, Бастамова, Пришлецова, Михайлова, меня и самого кандидата.

Велик был испуг директора обсерватории Блажко, когда он узнал, какой кандидат добивается его места. Велик был испуг на обсерватории: шофер самого Дзержинского. Ветер паники подул и в Обществе любителей астрономии. Это дело потребовало ряд заседаний. Все старались убедить шофера, что он не годится в директора, но тот победоносно отражал все словесные атаки. «Скажите, – говорил шофер, – что легче: быть директором обсерватории или народным комиссаром по морским делам? А кто был комиссаром? Такой же матрос, как и я. И уж ручаюсь вам, что товарищ Дыбенко глупее меня и морское дело знает хуже, чем я – астрономию. Если мне понадобится консультация, чего лучше: вот мои консультанты (тут правой рукой он обнимал Блажко, а левой – Казакова): и компетентные, и честные, а захотят саботировать – Чека за мной». При этих словах оба консультанта зеленели.

Несколько раз я предлагал комиссии голосовать вопрос, который был совершенно ясен. И, странное дело, члены комиссии, которые в частных разговорах были со мной совершенно согласны, от голосования отказывались, так как вопрос-де еще недостаточно освещен. Тогда я пошел к Покровскому и через него, не говоря ему, в чем дело, получил свидание с Менжинским. Когда я описал ему всю эту картину, Вячеслав Рудольфович хохотал до упаду и обещал воздействовать на шофера. Так вдруг, за отсутствием кандидата, деятельность комиссии прекратилась. [396]

Теперь перенесемся в первые месяцы 1921 года. Произошли две смерти. Умер Л. К. Лахтин, [397] и исчезновение его прошло как-то незамеченным. Похоронили тихо, без помпы, без речей и при отсутствии большинства его коллег.

Другое дело – с Николаем Егоровичем Жуковским. С научной точки зрения он был, конечно, крупной фигурой, но не настолько, как хотят его представить: круг интересов очень узок, но в этом узком кругу Жуковский был хозяином. Его называют отцом русской авиации: это не совсем справедливо по отношению к адмиралу Можайскому, который осуществил первый летающий аппарат в 1882 году. Первое сообщение Николая Егоровича на авиационные темы имело место в 1903 году на одном из внеочередных заседаний Московского математического общества. Я помню хорошо на доске его чертежи, изображавшие схематизированные крылья, со стрелками, означавшими действующие силы, и с указанием на роль мотора; был дан подсчет количества лошадиных сил на единицу веса для существующих моторов, и Николай Егорович прибавил, что, собственно, уже сейчас такой аппарат возможен: он и был осуществлен братьями Райт именно в 1903 году. Что же касается до теоретических построений в том виде, как Жуковский рассказывал их, то они не являлись новостью и в литературе по авиации можно указать много его предшественников, иногда – за несколько десятков лет до него; я считаю работы Чаплыгина, во всех отношениях, гораздо более замечательными.

Николай Егорович привлекал своей изумительной наивностью, простодушием, приветливостью: в нем было что-то детское. Он был совершенно неспособен к интригам и, вместе с тем, очень законопослушен: не понимал, как можно идти против правительства. Когда в 1904 году я был довольно серьезно ранен во время манифестации 6 декабря на Страстной площади, Жуковский был чрезвычайно возмущен моим поведением. Точно так же он возмущался моим поведением в октябре 1917 года, когда я исполнил свой долг военного комиссара Временного правительства; и это – вовсе не по сочувствию его к советской власти, но потому, что она в то время уже была властью. Иначе говоря, Жуковский весьма последовательно стоял на точке зрения апостола Павла. [398] Никакого подслуживания, подлизывания; просто дух борьбы был ему совершенно чужд. О рассеянности его ходило очень много анекдотов. Хотя мне приходилось встречаться с ним довольно часто, особенной рассеянности не замечал. Один только раз, когда я был студентом второго курса, Жуковский начал читать нам лекцию, предназначенную для третьего курса, и дочитал бы до конца, если бы мы не остановили его. Как оппонент на защите диссертаций он не терпел, когда ему противоречили, и отвечал так, как ответил Штернбергу, не признавшему правильности возражений Жуковского: «Нет уж, позвольте, Павел Карлович, если я говорю вам, что это так, то это

действительно так».

В университетском ежегоднике Николай Егорович значился долгое время бессемейным, как вдруг около него появились взрослые дети: молодой человек, ничем себя не проявлявший, и дочь Леночка – очаровательное существо, сразу взявшее отца под надзор и обладавшее вполне определенной личностью. Она не только взяла в руки хозяйство, но и всю научную и деловую деятельность Николая Егоровича, навела твердый порядок, всем занималась, следила за ходом его исследований, за его учениками. Леночка была красива и добра; очень скоро она вышла замуж за летчика Юрьева, ныне – академика, и умерла незадолго до смерти Николая Егоровича. Это был для него тяжелый удар, после которого он стал быстро слабеть. Последний его выход в Математическое общество имел место в день, когда я докладывал одну мою работу по интегральным уравнениям, а Николай Егорович не любил их. «Тут бы можно было использовать дифференциальные уравнения», – сказал он. Именно в этом физическом вопросе такое упрощение было как раз невозможно. Через несколько дней после этого я побывал у него, чтобы получить его подпись под проектом (вторым) учреждения Научно-исследовательского института математики и механики. Николай Егорович был чрезвычайно слаб, но подпись дал.

Жуковский умер весной 1921 года. День был оттепельный, и ни на санях, ни на извозчиках ехать оказалось нельзя. Огромный хвост провожающих образовался уже в Московском высшем техническом училище, которое Николай Егорович предпочитал университету и

откуда после торжественной панихиды двинулось шествие. Была остановка у университета (лития), еще в нескольких местах, оттуда пошли по Большой Полянке, кажется – к Донскому монастырю. Я должен был говорить от физико-математического факультета, но счел, что будет приличнее, если речь произнесет старейший из профессоров, долголетний друг и товарищ Жуковского – Болеслав Корнелиевич. Так оно и было сделано. От МВТУ очень хорошо говорил Ветчинкин, от Академии воздушного флота – один из летчиков. Для обратного пути мы нашли извозчика и ехали втроем: Болеслав Корнелиевич Млодзеевский, Алексей Константинович Власов и я. И Власова и Млодзеевского хоронили раньше, чем истек год[399] после смерти Жуковского.[400]

Этой же весной разрешилось дело, которое мы вели с 1919 года. В марте 1921 года ГУС утвердил устав Организационного комитета Астрофизической обсерватории, открывавший значительное поле деятельности. Комитет получал юридическое лицо, свой бюджет, персонал, издательство, стипендиатов, экспедиции для выбора места и т. д. С большой энергией и деловым умением Стратонов организовал аппарат, нашел помещение и отправился в длительную поездку, оставив на меня и факультет и Организационный комитет. Съездил он не зря: привез в Москву несколько астрономов – готовых и начинающих, которые должны были участвовать в подготовительной работе, в экспедициях, а некоторые являлись как бы аспирантами (слово это еще тогда не употреблялось). Несомненно, удачно было привлечение к обсерватории В. Г. Фесенкова и С. В. Орлова. Совершенно неудачно было привлечение из Ташкента Селиванова[401] и Давидовича. Первый оказался невероятным неврастеником, потерявшим всякую способность к работе; второй... больше смотрел, что делают другие, и притом самым недоброжелательным образом.

Сейчас же принялись за подготовку двух экспедиций: первая под руководством В. Г. Фесенкова – на Кавказ, вторая под руководством Одесской обсерватории – в окрестности Одессы. Обе экспедиции состоялись. Для второй все было на месте, и она не доставила нам затруднений, но первая имела нужду во всем – в инструментах, в оборудовании, в провианте и в спецодежде. Инструменты достали без затруднений; походное оборудование изготовили в мастерских при разных научных учреждениях, но со спецодеждой и провиантом вышли невероятные затруднения. Органы снабжения еще не очень уехали от зимы 1919–1920 года. Для того, чтобы иметь для Кучина пачку спичек, нужно было подавать ходатайство в Главнауку, которая передавала его наркому. Бумага за подписью наркома пересылалась в Наркомпрод, который, спуская дело со ступеньки на ступеньку, передавал выполнение ответственному органу при Моссовете, а ордер через Наркомпрод переотправлял Наркомпросу, который также со ступеньки на ступеньку пересылал его потребителю, и в конце концов потребитель встречался с распределителем.

Со спецодеждой дело было сложнее, потому что обувью ведало одно управление, бельем – другое, костюмами – третье, а меховыми вещами – четвертое. Хождение наших «толкачей» по мукам продолжалось три месяца; нужно было посетить около сотни учреждений и беспокоить несколько сот лиц. Наконец, прибыли ордера; готовых вещей не было, и надлежало обувь получить в Нижнем Новгороде, сукно – в Казани, пуговицы и нитки – в Саратове, белье – в Самаре. Что тут было делать? Мы заготовили огромный лист, на котором сверху было написано: «Задание – одеть 9 человек», а ниже дана схема всех хождений с перечислением всех учреждений и лиц, и еще ниже – результат. Этот лист был послан Ленину, который пришел в ярость и приказал: во-первых, немедленно выдать все, что нужно, здесь же, в Москве, и притом – в готовом виде; во-вторых, предать суду всех волокитчиков; в-третьих, напечатать в «Правде» факсимиле нашего листа и особую статью против бюрократов и волокитчиков. По первому и третьему пунктам все было сделано;[402] что же касается второго, то... трение внутри советского аппарата оказалось сильнее, нежели воля Ленина. Мы получили от Наркомпроса неофициальный выговор за то, что обратились непосредственно к Ленину. Все он же – М. Н. Покровский...

Тогда же мы начали собирать научные работы, чтобы составить первые выпуски публикаций

обсерватории. Их набралось на два тома, причем я дал три мемуара: о строении звездных куч, о лучистом равновесии звезд и о звездных массах.[403] Эти два тома появились только в начале 1922 года, но раньше, чем все другие научные журналы, и по этому поводу мне задавалось много нескромных вопросов. С. П. Фиников, на правах старого товарища, спросил меня: «Вот уже два тома трудов. А где же обсерватория?» – «Она будет». – «Ага, значит, тут что-то вроде двух мнимых линий, имеющих действительное пересечение». Это, по крайней мере, было остроумно.

Общее положение в стране становилось все хуже и хуже. Гражданская война кончилась, но вызванная ею разруха усиливалась. Громом грянуло Кронштадтское восстание, которое заставило пересмотреть положение и найти какой-то выход. Этим выходом был НЭП, и преддверием к нему явился выпуск червонцев, хотя и бумажных, но встреченных восторженно. Положение научных работников, как и всех, получающих зарплату в падающих рублях, стало еще хуже. Собственно, зарплата утратила всякий смысл, и деньги в червонных рублях стали нужнее, чем когда-либо, с открытием магазинов, где имелось все, но за твердую валюту. Академический паек становился все хуже и хуже, а в Петрограде все продукты в нем были заменены селедками. Представители Академии наук не выходили от Максима Горького, а он не давал покоя Ленину.

Было решено отправить специальную комиссию из представителей Наркомпрода, Наркомпроса и профсоюзов для обследования положения ученых в Петрограде. Представителем от Наркомпроса назначили меня, от Наркомпрода и профсоюзов – Вундерлиха, слесаря из Коломны, и Траубенберга, на самом деле – барона Рауш фон Траубенберга, брата моего товарища по заключению в лагере Compiègne в 1941–1942 годах. В Петрограде к нам должны были присоединиться Максим Горький и, от Академии наук, А. Е. Ферсман. Передавая мне мой мандат и инструкции, Покровский сказал: «Посылаем вас, потому что вы находите, что мы очень обижаем профессоров; иначе послали бы Тимирязева». Сказано это было язвительным, хорошо знакомым мне, тоном. Поездка имела место в конце марта – начале апреля 1921 года.[404]

Со спутниками я встретился в поезде, в отведенном нам специальном купе, и сразу нацелился выпустить когти, но этого не понадобилось: они ехали в Петроград с той же твердой решимостью, как и я, сделать все возможное и невозможное, чтобы дать петроградским ученым достойные условия существования. Было совершенно недопустимо, например, что в Петроградском порту существовала артель грузчиков, в которую входили профессора Безикович, Тамаркин и другие, что гордость нашей науки астроном Белопольский ходил пешком из Пулково в Петроград за академическим пайком, таща его обратно на своих плечах.

Про Дом ученых говорили, что это – «родэвспомогательное учреждение»: по имени знаменитого Родэ, в прошлом – владельца широко известной «Виллы Родэ», а ныне – заведующего Домом ученых под наблюдением Максима Горького. С другой стороны, Петросовет жаловался, что на академический паек попали лица, не имеющие никакого отношения к науке. Наконец, очень обширная группа интеллигенции (писатели, артисты и т. д.) совершенно ничего не получала и находилась в бедственном положении. Обо всем этом мы поговорили еще в поезде, пришли к полному соглашению и наметили программу действий.

После неизбежной остановки в Доме ученых мы должны были повидать Горького и Ферсмана, затребовать представителя Петросовета и заняться с ним просмотром списков пайков, чтобы снять обвинения в легкомыслии и фаворитизме с петроградской Комиссии улучшения быта ученых,[405] и *chemin faisant*[406] обработать этого представителя, дабы иметь его поддержку на заседании Петросовета, где нам предстояло выступить с докладом. Спутники мои были настроены к ученым гораздо благоприятнее, чем вся головка Наркомпроса, вместе взятая.

В Доме ученых нас встретил, конечно, Родэ – приблизительно так, как он встречал петроградского градоначальника на «Вилле Родэ». Все было на месте – и простыни, и одеяла, и подушки; нас ждал прекрасный утренний завтрак. Во время завтрака Алексей Максимович пришел познакомиться и быстро понял, что пропагандировать нас не нужно. Обедать мы должны были у него, но до обеда предстояло много работы. Я собирался повидать петроградского уполномоченного Наркомпроса Кристи, а главное, вместе с Ферсманом и представителем Петросовета просмотреть списки. Мои спутники должны были, пока в частном порядке, заняться разговорами с петроградскими продовольственниками и профсоюзными деятелями, чтобы выяснить обстановку, ознакомиться с возможными возражениями и успеть найти противоядия. Заседание Петросовета должно было иметь место на следующий день, а после обеда нам предстояло, под руководством Горького, осмотреть редчайший музей: склад предметов искусства, конфискованных у знати и буржуазии.

Представитель Петросовета (не помню, кто это был: кто-то из видных петроградских коммунистов) настроен был чрезвычайно недоверчиво, но явно слабо подкован для того, чтобы противостоять Ферсману и мне. С Ферсманом, как местным и хорошо ему знакомым, представитель мало считался, но я имел авторитет человека из центра; притом у меня была огромная практика, приобретенная при бесконечных переговорах в разных московских учреждениях. Я мог легко указать, какую пользу может извлечь советское хозяйство из математика и даже из археолога; к тому же и Маркс, и Энгельс, и Ленин пользовались всевозможными научными данными. Просмотреть весь материал – несколько тысяч анкет – не было никакой возможности. Но мы просмотрели все спорные, признали всё правильным, составили протокол, и все трое подписали его, что было особенно важно для следующего дня. Так прошло мое время до обеда.

Около двух [часов] дня я встретился с моими сотрудниками, которые также не потеряли зря время: они выяснили наличность огромных и разнообразных запасов продовольствия на складах Петросовета и полную возможность восстановить академический паек в надлежащем виде. У Горького мы нашли Ферсмана, Родэ и кого-то из сановников. Когда мы взглянули на стол, у нас разбежались глаза: закуски всех сортов, бутылки и флаконы всех цветов. Можно было спросить, где мы – на «Вилле Родэ» до войны и революции или в голодном Петрограде 1921 года? В ответ на наши комплименты Горький указал на Родэ и сказал: «Все он, все он. Он достанет, что угодно». Компания была явно пьющая, и я сразу взял себя под наблюдение, чтобы не перейти нормы и пить разумным образом. Давно уже я не видел такой свежей зернистой икры, такой семги, таких грибков и такого качества водки. После закуски последовал чрезвычайно обильный обед: прекрасная рыба, дичь, рокфор (настоящий рокфор), десерт, кофе; вина были безукоризненные, в каждый момент обеда – в точном соответствии с блюдами.

Разговор вертелся на текущем моменте. Кроме меня, все были коммунисты, кажется – даже Родэ; говорили очень откровенно, и все ждали перемены курса и хотели ее, находя положение невозможным. Про Ленина кто-то сказал: «Только он способен завести в такой тупик», – а я добавил: «Но только он может из этого тупика вывести». К концу обеда Горький потребовал, чтобы Родэ рассказал свои воспоминания о... «Вилле Родэ». Рассказывал он превосходно; были видны меткость, наблюдательность и ирония. К сожалению, я забыл его рассказы и не мог бы повторить его словечки. Вот образчик: водку на «Вилле Родэ» подавали в чайниках (сухой режим!), и гарсоны должны были по виду клиента решить, какой ему чай нужен. Приходит генерал, садится, зовет гарсона и требует чая. Гарсон смотрит: нос – красный и все признаки... Приносит водки. Генерал наливает в стакан, подносит ко рту, глотает и давится: «Патрона!» Оказывается, градоначальник. Является Родэ. «Вы знаете, чем это пахнет?» – «Так точно, ваше превосходительство: 3000 штрафа и 3 месяца тюрьмы». Градоначальник засмеялся: «Ладно, на этот раз. Но чтобы больше этого не было».

После обеда мы поехали в склад-музей, который находился во дворце какого-то из великих

князей. Картины были развешаны по школам, эпохам и странам в настоящем музейном порядке. Скульптуры также занимали самые выгодные для них места. Я был поражен и количеством, и очень высоким качеством всего, что было выставлено. «Тут достаточно художественного материала, чтобы удвоить Эрмитаж, даже не опускаясь ниже первого сорта», – ответил мне Горький. «Что же вы предполагаете со всем этим делать?» – «Если не разворуют, то наилучшие вещи пойдут в государственные музеи, а также в новые провинциальные: нужно распространять художественную культуру в массах. Часть пойдет за границу в товарообмен, в особенности – вот это». И с этими словами он открыл потайную дверь и ввел нас в секретное отделение, где были сосредоточены вещи... сексуального характера.

Ни до, ни после я не видел ничего подобного. Целые комплекты мебели – диваны, столы, кресла, стулья – состояли целиком из мужских и женских половых органов; пепельницы, тарелки, блюдца, чашки несли на себе эротические рисунки; картины изображали сцены изнасилований, извращений. Целый ряд зал был занят этими вещами. Горький зорким глазом художника наблюдал наши реакции и посмеивался про себя. «И что же, хорошо идет этот товар?» – «И еще как! Требуют сейчас особенно много в Англию; товарищ Красин пишет...» – «А это тоже разворовывается?» – «Нет, сейчас не так. Мы приняли меры, не беспокойтесь. А вот был тут один градоначальник, уже наш, после октября, который прислал сюда грузовики с ордером; служащие имели глупость выдать все, что он требовал. Грузовики отправились в Финляндию, и сам сбежал туда же». – «Это был не Казанцев?» – «Нет, это был преемник Казанцева. Как раз тот, который Казанцева разоблачил».

После осмотра мы вернулись в Дом ученых, там же поужинали и рано легли спать, предварительно потребовав Родэ с отчетностью Дома ученых. Мои спутники старались найти в ней съеденный нами обед, но где уж им было изловить Родэ! Обед был там, но разыскать его было невозможно.[407]

На следующий день, выходя утром из Дома ученых, я имел неприятную встречу. Ко мне подошли два математика, Безикович и Тамаркин, и заявили: «Мы прочли в газетах о вашем приезде и о миссии, которая на вас возложена. Мы совершенно не верим обещаниям власти и считаем, что единственный способ помочь ученым – это прогнать тех, которые правят нами, равно как и тех, которые им помогают. Дом ученых – хорошая реклама для непонимающих людей, но ни один серьезный ученый не пойдет в это двусмысленное учреждение, организованное пьяницей и блюдолизом Горьким. Мы не знаем, какие мотивы руководят вами, но, так как вы – человек неглупый, эти мотивы не могут быть высокого порядка». С этими словами они стремительно ушли. Я, конечно, счел излишним как-либо реагировать на их заявление.

Помимо враждебности к советской власти тут была еще враждебность лично ко мне, и вот ее источник. В журнале «Печать и революция» я систематически давал рецензии на все математические книги. Безикович и Тамаркин выпустили свой перевод курса анализа де Ла Валле-Пуссена.[408] Эта книга, посвященная изложению основ анализа с точки зрения современной теории функций, была ими переведена, не считаясь с той русской терминологией, которая установилась благодаря работам московской математической школы. Буквально каждое слово перевода вызывало недоумение и путаницу у читателя. Невозможно было даже установить «словарь» для перевода на московский математический язык, так как переводчики не выдерживали своей собственной терминологии. Отметив все это и дав ряд примеров, я закончил мою рецензию словами: «Итак, мы видим пример того, как два компетентных человека могут испортить хорошую книгу».[409] Эта рецензия создала мне двух прочных врагов: Тамаркин до самой своей смерти делал мне пакости в Америке, а Безикович – в Англии, где они устроились после бегства из России.

В Петросовете, куда мы все направились в то же утро, заседание открылось речью члена президиума Авдеева, к кругу ведения которого как раз все это и относилось. Я видел его

первый и последний раз; несомненно, это был тип человека, способного оправдать худшие выступления Тамаркина и Безиковича. Он заявил, что, собственно, не понимает, почему об ученых нужно больше заботиться, чем о других категориях граждан, но поскольку центр на этом настаивает, что же, можно подкормить более молодых, а старые не нужны и пусть умирают. Я, конечно, сейчас же использовал его выступление на все 200 %, выразив удивление, что коммунист способен до такой степени отклоняться от партийной точки зрения, и объяснив это его возрастом и полной политической безграмотностью. После такого резкого начала я изложил причины, по которым страна нуждается в ученых, и не когда-то потом, а именно сейчас. Я изложил затем те практические меры, которые необходимы теперь же, и закончил надеждой, что петроградская пресса в своих отчетах не упомянет выступление Авдеева как слишком компрометирующее. После меня Вундерлих и Траубенберг показали, что меры эти вполне осуществимы, к чему вполне присоединился член президиума, участвовавший в наших работах.

Затем выступали представители писателей и артистов, говорившие о совершенной голодухе в артистической среде и умолявшие о помощи. Их выступление носило патетический характер, и им дали некоторые обещания. Наш план был принят. Мы выполнили свою задачу и смогли в тот же вечер выехать в Москву. Не знаю, сдержали ли обещания, данные писателям и артистам, но по отношению к ученым они были выполнены, в чем мы с тобой могли убедиться во время нашей июньской поездки в Петроград.

Я давно уже не упоминал о Курской магнитной аномалии, а она брала у меня много времени. Мне было поручено выполнение работ по определению глубины масс и наиболее выгодной точки для бурения. Эти работы требовали помощи вычислителя, и в качестве такового я взял молодого студента Кирилла Федоровича Огородникова, порученного моим заботам его отцом генералом Федором Евлампиевичем Огородниковым.

С этим генералом я познакомился, будучи комиссаром Юго-Западного фронта, где летом 1917 года он командовал корпусом в 7-й армии,[410] а ею командовал Эрдели. Когда произошла катастрофа в Галиции, то нашли козла отпущения в лице генерала Огородникова, и его сняли с командования корпусом. Я был членом комиссии по обследованию этого дела, и оказалось, что Огородников вел себя хорошо, вовремя обнаружил немецкие намерения и предупредил штаб армии, а во время боев не растерялся и, хотя не имел связи с армией, но благополучно вывел из мешка часть своего корпуса. Что же касается до Эрдели, то он впал в панику, без всякой необходимости перемещался с места на место и потерял всякую связь и со штабом фронта и со своими корпусами. Тем не менее, чтобы спасти Эрдели, потопили Огородникова.

Когда мною был арестован Деникин, понадобилось дать ему преемника; после обсуждения всех кандидатур в Исполнительном комитете Юго-Западного фронта (Искомитюзе) мы остановились на Огородникове, и я поехал к нему, чтобы привезти его на заседание. Зная, что он, как и все генералы, не очень любит революционную демократию, я поступил с ним жестоко и сказал ему: «Генерал, можно вас просить поехать со мной в Искомитюз?», – но не предупредил, в чем дело, чтобы он не зазнавался и считался с Исполнительным комитетом и комиссаром. Огородников побледнел, спросил, нужно ли взять белье и провизию; я ответил, что не нужно. Он приободрился, и мы поехали. В Искомитюзе я сказал ему: «Генерал, комиссар Временного правительства и Искомитюз в полном согласии предлагают вам временно взять на себя командование фронтом. Согласны ли вы?» После раздумья он согласился. Мне пришлось потом, когда я уже был беглецом и вне закона, провести у него ночь в Житомире. Во время гражданской войны белые объявили его, как и меня, вне закона. Он работал в Москве в Военно-исторической комиссии, женился третий раз и хотел всунуть куда-нибудь стеснявшегося его сына от первой жены.

Я устроил Кирфеду, как мы его называли, в университет и дал ему должность вычислителя. Впоследствии он благополучно кончил университет и готовился к профессуре в качестве

аспиранта в Институте математики и механики, а также в Астрофизическом институте. Тему для его аспирантской работы я дал ему по звездной статистике, и Кирфед получил хорошие результаты. Я же выхлопотал ему рокфеллеровскую стипендию. Теперь он – профессор астрономии в Ленинградском университете и даже играет роль астрономического Лысенко. В ту эпоху Кирфед вычислил по моим указаниям глубины и положения магнитных масс. У нас в семье он был своим человеком.

Этой же весной я познакомился с Михаилом Михайловичем Завадовским, старшим братом Бориса Михайловича, о котором я уже говорил в связи с Коммунистическим университетом. Как биолог Михаил Михайлович был гораздо более крупной величиной и провел эти годы в Аскания-Нова, где выполнил работы, давшие ему мировую известность. Вернувшись в Москву, он, вполне естественно, был кисло встречен биологами. Я помог ему снова попасть в преподавательский состав университета, а также напечатать его работы, и он впоследствии постоянно вспоминал это и говорил: «Вы встретили меня в деканате так приветливо, что я сразу почувствовал: наступает переломный момент в моем существовании». Признаюсь, мне было приятно это слышать.[411]

Дело подходило к Пасхе, которая имела место числах в двадцатых апреля. Мы решили поехать на месяц в Бабурино, устроили себе проезд в заводском вагоне, вернее – в заводской теплушке, и 15 апреля тронулись в путь. Как и полагалось в то время, в теплушке не было ничего, кроме скамеек у стен. Кой-как расположились на скамейках и своих вещах: наученные опытом, мы взяли с собой одеяло, и я состряпал для тебя нечто вроде постели. До Голутвино доехали довольно скоро, но ночь предстояло, собственно, провести там: поезд трогался дальше рано утром. С рассветом мы были в Озерах, где нас ждал Эдуард Карлович с лошастью. Уже проезжая через лес, мы почувствовали, что эта весна – необычная. Лес казался безжизненным: насекомых не было, листья еще не распустились и цветы не показались. Оказывается, дождей не было уже довольно много времени, и крестьяне очень опасались за судьбу своих посевов.

С большой радостью нас встретили мои родители и тетя Надя. Новым лицом для тебя оказалась Нина, за которой Борис съездил на Кубань и доставил в Бабурино. Она уже преподавала в той же школе 2-й ступени, как и папа. Свидание с ней могло бы быть радостнее, чем оказалось, потому что она всегда выказывала мне некоторый холодок, неизвестно на чем основанный. Так оно было и теперь, но поскольку обратного, т. е. враждебности, тоже не было, то ее присутствие нимало нас с тобой не беспокоило. Маленькое разочарование – мама отказалась поселить нас в нашей светелке: еще стояли холода. Мы перебрались туда несколько позже, когда у нас прошел грипп, очевидно, подхваченный дорогой. Таким образом, первые дни нашего пребывания мы почти не выходили: ты с мамой занималась хозяйством, а я читал, вернее – перечитывал, Аксакова, которого очень люблю.

«Ну, Юлечка, – сказала мама, – мы с тобой можем гулять, не приседая: ягод нет, и ждать их нужно еще месяца два». Действительно, приседать было не за чем. Немного позже появились ландыши, но этот сбор совсем не походил на сбор земляники. Неожиданное развлечение мы нашли дома: поднимаясь в нашу светелку, обнаружили, что кто-то стремительно удирает от нас через дырки на чердак. Постепенно выяснилось, что это – котята: «дикие» котята, как называла их мама. Катька снесла секретно и запрятала их на чердак, боясь истребления: умная кошка. Мы начали ставить у дырок блюдечко с молоком, и мало-помалу они приучились и стали менее дикими. Мы смогли уже рассмотреть их: они были прелестны, один – дымчатый одноцветный, а другой – слегка тигровый. Катька показывалась от времени до времени, наблюдала, стараясь определить наши намерения; по-видимому, мнение ее о нас было благоприятным, потому что котята уже заигрывали с нами. От мамы мы скрывали их присутствие, но оказалось, что она великолепно все знала. Вскоре котята стали бегать к нам в светелку и вниз в комнаты. Катька продолжала внимательно следить и постепенно успокоилась за судьбу своего потомства.

Тебе очень понравились также теленок и телка, названные папой, любителем классицизма, звучными именами – Ахилл и Зара: последнее в честь одного из наших предков, переведшего на русский язык «Заиру» Вольтера; я никогда не видел этого перевода.[412] Телята были подвижные, добродушные, веселые и немного шальные. Вечером ты ходила навстречу стаду встречать наших животных, и они очень скоро привыкли к тебе. Я и сейчас вижу в воспоминании эту пастораль: ты в своем сарафанчике, с кусочком посоленного хлеба в руках, ведешь за собой животных, и они теснятся вокруг тебя. Каждый твой жест, каждое твое слово полны радости жизни и любви и ласки ко всему живущему. После возвращения домой «скотов» мы садились ужинать.

Ужин из-за сезона бывал всегда очень простой, из своих продуктов, но с каким аппетитом мы его съедали. Потом просили папу что-нибудь спеть. Он брал гитару и, аккомпанируя сам себе, пел, очень неплохо, старинные былины и баллады: это была скорее мелодекламация и очень удачная; у него было большое музыкальное чутье. Если он не пел, то тетя Надя с мамой, иногда под аккомпанемент папиной гитары, пели старинные романсы Варламова или Гурилева, хорошо мне памятные еще по Ефремову, хотя мы уехали оттуда, когда мне было три года. К ефремовским воспоминаниям обращались очень часто. Еще бы: там в 1880 году папа начал свою учительскую карьеру, там в 1882 году он женился, там родились я и Олечка, там жило много наших родственников: дядя Вася – Василий Васильевич Раевский с его женой, а моей крестной, Ольгой Алексеевной, с сыном Васькой и падчерицей Еленой Владимировной – первым вампом, какого я видел в жизни. Туда мы с мамой часто ездили, и там тетя Надя жила до переезда в Бабурино. Иногда Эдуард Карлович рассказывал те же «придворные» воспоминания, что и в прошлом году, но все слушали его с большим удовольствием: очень уж все это было живописно и простодушно рассказано.

Нам очень хотелось пойти к пасхальной заутрене в церковь в Горы, но грипп помешал. Постепенно лес стал оперяться и населяться. Несмотря на отсутствие дождей, показались листики, цветики тоже, хотя и с запозданием. Сухость, неблагоприятная для более крупных насекомых, оказалась выгодной для мелкого гнуса, который сделал совершенно невозможным полеживание на одеяле на открытом воздухе. В это же время я сделал ботаническое «открытие», очень удивившее маму. Как-то она, вспоминая хорошо ей знакомую флору Тульской губернии, сказала: «А вот чего тут нет, и не было и под Смоленском, это сергибуса». Сергибус – местное тульское название растения, стебель которого, будучи освобожден от верхнего покрова, имеет сладковатый и очень приятный вкус. Я попросил маму напомнить, каков из себя этот сергибус, и она дала приблизительное описание. Я вышел и через три минуты вернулся с этим растением. «Изумительно, где ты его нашел?» – «У тебя на дворе, мама, за сараем». К сожалению, мы еще не имели тогда привычки возить с собой определитель растений, и до сих пор я не знаю, каково же научное название сергибуса.[413]

Постепенно мы обзаводились знакомствами в Озерах и помимо врача, которого знали по прошлому году, познакомились с аптекарем Петкевичем, бывшим в некотором роде земляком по Смоленску. Литовского происхождения, он совершенно обрусел, говорил только по-русски, был женат на русской. С ним произошла неприятная история: в самое голодное время в 1920 году он оптировал литовское гражданство и потом забыл об этом. И вот пришло к нему утверждение в литовском гражданстве и... предписание отправляться в Литву. А ехать ему не хотелось: он слишком привык ко всему русскому и не мог себе представить, как там будет обучаться незнакомому языку. Жена его тоже не хотела ехать, как и дети, но власти не шутили. Пришлось ему продать аптеку, распродать имущество и двинуться в неизвестность; что с ним было дальше, не знаю. Мы познакомились также с учителями, коллегами папы и Нины, а также с инженерами фабрики. И, как всюду, у тебя завелась целая сеть поставщиков.[414]

Мы познакомились и с некоторыми непосредственными соседями. Вот несколько образчиков: семейство Айдаровых. Фамилия – татарская; татары и есть, хотя и православные; живут как

крестьяне, хотя очень кичатся давним дворянством, восходящим ко временам Ивана Грозного. Папаша Айдаров знаменит ласковыми приемами, умильным голосом и невероятной алчностью. Была в деревне тихая старушка, обладавшая хорошим домом и землей. И вот Айдаров начал беседовать с ней: «Как мы с женой жалеем вас, когда видим готовящей себе пищу, рубящей дрова, копающей землю в огороде. Вам ли в вашем возрасте заниматься этим? И неужели никто из родственников не догадается позаботиться о вас? Да, да, знаю, знаю, как часто чужие бывают лучше и сердечнее своих. А вы бы посмотрели вокруг себя и, может быть, легко нашли людей, которые любили бы вас и покоили вашу старость». Разговаривая таким образом, он притибрил и земельку, и домишко старушки, дал ей комнату, а потом – угол; что же до корма, то об этом лучше не говорить. У Айдаровых была дочь, деревенская барышня, блондинка, очень недурная собой; о ней еще будет речь.

Другой сосед – немец, садовник, работавший долго у фабриканта Щербакова, нажившийся и построивший себе в Бабурино очень недурной дом. Эта семья жила, не сходясь с соседями и презирая их. Внутри дома был клочок Германии: нравоучительные надписи готическим шрифтом на каждом шагу, невероятная чистота и порядок.

Третий сосед – русский шалопай из богатой семьи, талантливый, но ничему не учившийся, женатый на красивой и бойкой крестьянке, мастерице петь и танцевать. Это он выстроил дом, который купила мама, и выстроил очень хорошо, с большим артистическим вкусом. Любитель охоты и рыбной ловли, он всегда имел у себя животных: ежей, лисят, волчат. Мы часто приходили к нему полюбоваться зверюшками в его «зверинце». По воскресеньям он напивался и устраивал бешеное катанье, лежа в тележке, намотав вожжи на ноги и правя, не глядя, ногами; иногда это заканчивалось канавой.

Был еще старик Урусов – тоже татарин, очень бывалый, хороший рассказчик и неглупый человек. Рядом с ним жила очень завистливая и злая женщина с большой семьей; старшая дочь Клавдия, девочка лет четырнадцати, была прелестна, умна и добра, и ты сразу полюбила ее, как и она тебя. Минутах в пяти по дороге в Озеры стояла хибарка, где тоже жила большая семья. Мы звали их «консьержами», так как все, едущие по дороге, всегда справлялись у них, где найти такого-то. Там была девушка лет шестнадцати, малюсенькая, почти карлица, с изумительным меццо-контральто, которым она пела различные романсы по слуху. На этот талант никто не обращал внимание, и ее родители даже сердились, когда с ними заговаривали об этом.

Председателем местного совета был Эдуард Карлович, относившийся к своим функциям по-философски и с полнейшим учетом местных условий. Вот пример: однажды рано утром я, выйдя на один из наших четырех балконов, обнаружил под большой липой, на границе маминого участка, человека, который мирно спал, держа в руке ружье. Я позвал Эдуарда Карловича. Он посмотрел и сказал, что это – знаменитый местный бандит и что есть приказ райсовета убить его на месте. Порывшись в бумагах, он действительно показал мне этот приказ. «Так в чем же дело? – сказал я. – Надо исполнить приказ». – «Ну, нет, – ответил Эдуард Карлович, – я не так глуп: приказу уже три месяца, и неизвестно, как там они на него смотрят теперь. Пускай спит. Выспится и уйдет». И что же? Оказался прав: несколько дней спустя пришла бумага с обещанием помилования бандита, если явится. Он явился и был назначен... налоговым инспектором.

Примитивный характер земледелия поражал нас. Все коммунальные земли были поделены на три клена: озимые, яровые и пар. Никто из односельчан не имел права завести иной порядок или засеять свой участок не тем, что сеют соседи. Например, нельзя было засеять клевер, потому что его надо огораживать от скота, который после снятия урожая пасется на сжатых полях. Маме не дали бы пасти скот на чужих полях, если бы она огородила свой клевер.

Лес был взят в государственный фонд, но совершенно не охранялся; поэтому крестьяне

смотрели на него как на бесхозное имущество и тащили, что могли. Некоторые, особенно предприимчивые, сводили лес на участках в глубине его, выкорчевывали пни, вспахивали землю и засевали. Эти участки были засекречены и ни в каких ведомостях не значились.

Всякие государственные или местные повинности встречали крайне враждебное отношение. С одной стороны, так выражался крестьянский эгоизм, образчики которого мы видели во всех странах, но, с другой стороны, это отношение было вызвано крайней небрежностью со стороны органов местной власти. Картошка, которую отобрали осенью, была свалена в подвалах бездействовавших корпусов Щербаковской мануфактуры и гнила там. Каждый обыватель, проходя мимо, мог видеть и ощущать это безобразие носом. Молочная повинность обязывала лично приносить каждый день положенное количество молока, что очень раздражало крестьян, вынужденных ежедневно таскаться за несколько верст. За выполнение повинностей в порядке соревнования были обещаны премии: Бабурино получило... ночной горшок (один) и посудное полотенце. Горшок был поставлен около упомянутой липы, и полотенце повешено там же.

Попытки обратить внимание властей [на безобразия] кончались плохо. Через несколько недель после нашего отъезда в Озерах произошло «восстание», так как на базаре избили милиционеров и, после арестов, разгромили милицию. Репрессия была очень жестокая, но произвели расследование, обнаружившее еще более вопиющие безобразия. В результате сняли всю местную головку, а в «Известиях» и «Правде» было дано изложение «озерковского дела» как пример того, чего делать не следует.

Так мы прожили месяц и уехали в Москву с таким же сожалением, как и год тому назад. Что же касается до дождей, то за все время нашего пребывания не выпало ни капли, и крестьяне в ужасе ждали, что же будет дальше. А дальше, до августа месяца, продолжалась засуха, и там, как и всюду, начиналась национальная катастрофа – неурожай.[415]

По приезде в Москву мы стали готовиться к другой поездке – в Петроград на юбилей Чебышева. Предполагался коллективный отъезд: около 40 московских математиков, молодых и не столь молодых (Лузин, я, Меньшов, Привалов, Степанов, Некрасов, Фиников, Александров, Урысон, Хинчин, Вениаминов, Ковнер, Бари, Зеленская и многие-многие другие)[416] должны были выехать в Петроград без приглашения, потому что Академия наук, верная своим традициям, никого из Москвы не пригласила.

Владимир Николаевич Вениаминов взял на себя организацию поездки и узнал на собственном опыте, что тот, кто ничего не делает, не испытывает никаких нареканий, и все им довольны, но если кто-нибудь проявляет общепользную инициативу, то его бьют со всех сторон. Ему удалось, и это было нелегко, получить классный вагон для нашей поездки, так что в пути все могли спать. Он получил также некоторое количество провизии для питания в дороге и в день приезда. Что можно было ставить ему в вину?

Дамы (кроме тебя, потому что ты, моя роднуша, всегда и все по-человечески понимала) ворчали, что не было спальных принадлежностей и горячего чая. Поездили бы они в теплушках! Особенно ворчлива и претенциозна была Надежда Михайловна Лузина. Сначала я не понимал – почему, так как по старым воспоминаниям, начиная с 1905 года, не знал за ней этого. Но оказалось, что, несмотря на все сюрпризы, я еще много не знал и за Николаем Николаевичем. Среди ехавших с нами математичек были две – Агния Юльевна З[еленская], его бывшая любовница, и Нина Карловна Б[ари], его будущая любовница. Происходили сцены ревности, и Николай Николаевич, как петух со слабым характером, переходил от одной к другой, совершенно игнорируя законную жену, которая молча страдала. У нее даже не было возможности, как когда-то (в 1914 году) в аналогичных обстоятельствах в Париже, плакать и рассказывать все такому внимательному исповеднику, как я, потому что она отрезала путь ко мне своим отношением к тебе, и, кроме того, ее супруг значительно подорвал нашу дружбу.

Поэтому бедный Владимир Николаевич, через полчаса после нашего отъезда из Москвы, пришел, унылый, ко мне с заявлением, что он больше не может и не хочет вести общее хозяйство: «Две недели я потратил на эти хлопоты. Кроме меня, никто ничего не делал, а теперь, послушайте их, – все вешают на меня собак». Я постарался успокоить его.

В Петроград мы прибыли утром, наняли рикш для перевозки наших вещей и отправились, по заведенному обычаю, пешком в Дом ученых. Там нас ждал сюрприз: никто не подумал списаться, и помещений не было. Родэ весьма любезно дал комнату нам с тобой (сейчас же послышались голоса: «Почему Костицыну, а не Лузину?»). После длительных переговоров нашлась еще комната для Николая Николаевича с Надеждой Михайловной, и уже известный мне полукруглый коридор, поделенный занавесками на отдельные помещения, – для всех остальных. Столоваться приезжие должны были в общей столовой; Родэ весьма любезно предложил кормить нас с тобой отдельно, но мы отказались и ели вместе со всеми.

После утреннего завтрака отправились в Академию наук записаться в качестве делегации. Там были напуганы такой обширной делегацией и не проявили ни гостеприимства, ни корректности: под предлогом, что программа чествования уже выработана, представителям Москвы не было предоставлено слово для приветствия. Собственно, следовало сейчас же уехать, но это решение не пришло никому в голову, настолько все были рады перемене обстановки и возможности отдохнуть несколько дней вдали от надоевшей московской суеты. После этого визита Николай Николаевич отправился знакомиться с петроградскими математиками, а мы с тобой пошли бродить по городу, который ты совершенно не знала. К нам присоединилось еще несколько человек, и, чтобы иметь общее представление, мы вскарабкались на Исаакиевский собор. Вдали чуть-чуть синелось море, а перед нами был один из самых красивых городских пейзажей, как мы с тобой могли судить потом, побывав во многих европейских столицах. И сейчас мне даже странно, с какой легкостью тогда ты проделала это нелегкое восхождение.

К ужину в Дом ученых пришли знакомиться с нами многие математики, в том числе престарелый Александр Васильевич Васильев и Александр Александрович Фридман, с которыми у меня сейчас же установилась прочная дружба, длившаяся до конца их жизни. После ужина все отправились на взморье, пешком, пользуясь чудесной белой ночью. Этот розовый прозрачный свет, делавший призрачным монументальный Петроград, был совершенно новым для большинства приехавших. Николай Николаевич шел то с Агнией Юльевной, то с Ниной Карловной, и Надежда Михайловна держалась с нами и страдала: ничем помочь ей мы не могли.

Вертлявый Славочка Степанов перескакивал от группы к группе и потихоньку распространял ядовитости, не щадя ни «дорогого учителя» Николая Николаевича, ни друга детства – меня. «Израильтянин без лукавства», [417] по библейскому выражению, Павел Самуилович Урысон ничего не замечал, кроме разлитой вокруг красоты, а его alter ego, Павел Сергеевич Александров, с ненавистью смотрел на «дорогого учителя». Ненависть была обоснованная: с того момента, как в первой своей работе Александров отказался сказать, что некоторыми частями доказательства обязан Н. Н. Лузину (а он не был ему обязан ничем), последний травил его жестоко и систематически, возбуждая против него всех и меня в том числе, но я быстро понял, в чем дело, и всячески старался обезвредить лузинскую травлю. Я облегчил Павлу Сергеевичу магистерский экзамен, доставил ему положение в Коммунистическом университете, потому что Лузину удалось не пустить его в Московский университет, и провел через ГУС назначение в профессора Смоленского университета.

На следующий день программа была сложная. Утром состоялось заседание Петроградского математического общества, [418] где нам предоставили время для наших докладов. Из нас докладывали Некрасов, Александров, Урысон и я.

Присутствовавший на заседании Петр Петрович Лазарев пригласил нас на заседание

Биологического общества, где профессор Военно-медицинской академии Кравков докладывал свои изумительные работы. Это заинтересовало только меня и тебя. Работы Кравкова, как и он сам, были действительно изумительны. Голодая и отказываясь от совместительств и медицинской практики, чтобы все свое время отдать научному исследованию, Кравков проделал очень тонкие и остроумные опыты по вопросу о физиологическом воздействии малых и весьма малых доз. Он показал, что действие при убывании дозы исчезает, но потом опять появляется, достигает максимума, убывает, исчезает и снова появляется; против этого восставали врачи-аллопаты. Другая его работа была по культуре органов в жидкости, по свойствам напоминающей физиологический раствор; он предъявлял экспонат: большой человеческий палец. С заседания ты ушла, твердо решив начать с осени биологическую подготовку в Московском университете, а я – поддерживать Кравкова, где только смогу. Мне не пришлось выполнить своего решения, потому что Кравков, в корне подорванный работой и тяжелыми условиями жизни, вскоре же умер.

Так как следующий день был свободен и заседание Академии наук назначено на послезавтра, мы с тобой и Александром Ивановичем Некрасовым выехали в Пулковскую обсерваторию, где я должен был выполнить поручение Главнауки, а он хотел осмотреть обсерваторию.[419]

О нашем приезде я известил по телефону, и на станции нас ждал экипаж. Приехали к вечеру. Забота о нас была явно возложена на милейшего К. Д. Покровского. Прежде всего он поместил нас в знаменитую «кукушку» – закоулок из двух каморок, расположенных одна над другой и освещаемых круглыми окнами, откуда и прозвище. Мы с тобой расположились внизу, а Некрасов – наверху. Затем Покровский увел нас к себе обедать, и было истинным удовольствием побыть в этой радушной семье. После обеда – осмотр обсерватории, а посмотреть было что (даже для тебя, при твоих интересах, направленных в другую сторону): библиотека и музей, полные реликвиями; диапозитивы; гигантские инструменты и человеческие придатки к ним; парк и вид на Петроград «по меридиану».

Дело, по которому я поехал в Пулково, было следующим. У обсерватории создались очень плохие отношения с деревней Пулково. Деревне хотелось захватить земельный участок, принадлежащий обсерватории; постоянно производились порубки в парке; очень часто дети и даже взрослые швыряли камни в окна и были случаи повреждения инструментов и поранения наблюдателей. В Петросовет сыпались доносы: астрономов обвиняли в подаче световых сигналов (кому?), трате времени на пустяки, не нужные для населения и народного хозяйства.

После рассмотрения дела в Москве было решено сделать твердое представление Петросовету с преданием пойманных хулиганов показательному народному суду. Но это было сочтено недостаточным, и я должен был словесно объяснить правлению обсерватории необходимость усилить связь с населением, устраивая популярные лекции, осмотры обсерватории, «прогулки по небу» и даже давая консультации для крестьян по вопросам не научного характера. В первый момент это вызвало протесты членов правления, которые считали бесполезным затрачивать время на такую деятельность. Я указал несколько примеров, когда такого же рода плохие отношения были выправлены и превратились в прочную дружбу. Просмотрев списки сотрудников обсерватории, мы нашли там и специалистов по сельскому хозяйству и хороших лекторов. Правление без особого энтузиазма согласилось выполнить эту программу, и результат оказался очень хорошим.

Первую половину следующего дня мы провели в Пулково, продолжая наш осмотр, а в Петрограде застали ту же самую картину: Николай Николаевич, совершенно захваченный двумя своими романами, и Надежда Михайловна, тщетно старающаяся скрыть свои страдания. Так наступил день торжественного заседания в Академии наук. Мы заняли свои места среди публики. Сначала А. В. Васильев рассказал биографию Чебышева и дал очень

хороший обзор его деятельности. Говорить о работах Чебышева по теории чисел должен был академик Марков, который никогда, по-видимому, не способен говорить на тему и всегда должен выказывать оппозицию установленной власти. При царизме он выступал в защиту отлученного от церкви Льва Толстого и требовал от Синода отлучения и для себя. На выборах во вторую Государственную думу, узнав, что Климент Аркадьевич Тимирязев выставляется в выборщики по кадетскому списку, выставил свою кандидатуру – «тайный советник акад. А. А. Марков» – по большевистскому списку. А теперь он говорил не столько о Чебышеве, сколько о хорошей эпохе, в которую жил Чебышев, тогда как теперь «каждый безграмотный товарищ может явиться сюда, заявить, что я ничего не понимаю в теории чисел, и выгнать меня вон». И надо было слышать тон, каким было произнесено это ненавистное слово «товарищ».

После этого заседания нам больше нечего было делать в Петрограде. Мы остались еще немного, чтобы осмотреть Эрмитаж и Русский музей, побывали в «Кривом зеркале»[420] и затем благополучно вернулись в Москву.[421]

По возвращении в Москву мы стали думать о переезде на лето в Кучин, где в качестве члена коллегии института я имел право на помещение. Это помещение состояло из довольно большой комнаты с балконом и каморки, годной для спальни, во флигеле, занятом Александром Афиногеновичем Сперанским. Сперанские отнеслись к перспективе нашего соседства без особенного энтузиазма, но оказались вполне приемлемыми и корректными соседями. Кухня у нас была общая, и стряпать должна была общая прислуга. Ты с твоей легкостью и тактом сумела организовать это так, что мы прожили несколько месяцев абсолютно без всяких трений. Каморку использовали для гостей: по воскресеньям приезжал Иван Григорьевич; несколько недель пробыла у нас Катя и несколько недель – Анна Ноевна, с которой ты познакомилась случайно и к которой у тебя было много симпатии и жалости.

Первое же наше путешествие в Кучин ознаменовалось происшествием, которое я, по своей самонадеянности, считал невозможным и которое меня очень сконфузило. Поезда ходили переполненными, и у входов в вагоны всегда стояла толпа, через которую надо было продирается. Ехал я в русской рубашке, и бумажник находился в правом кармане брюк. Когда мы влезали, нас очень сжали, и я сейчас же почувствовал, что мой карман освободился. Я выскочил обратно посмотреть, не выронил ли бумажник. Его не оказалось нигде. Я стал искать вора по лицам. Куда там! Дежурный милицейский пожал плечами и сказал: «Если хотите, составим протокол. Только это бесполезно. Тут каждый день обворовывают несколько десятков человек, и, как ни ищи, ни воров, ни вещей не найти. Смотрите, каждая кучка у каждого вагона состоит из воров и пособников. Арестовать их? А вещи, будьте спокойны, уже уплыли». – «Хорошо, – ответил я, – обойдемся без протокола. Деньги – дело наживное, а вот документы...» – «А вы погодите горевать о документах и не хлопчите о них некоторое время. Они часто сами возвращают документы». Тут он кивнул на ближайшую кучку у вагона. Делать было нечего.

Мы поехали в Кучин без денег и документов, и я ежился под твоим насмешливым, но милым взглядом. Мне сейчас же выдали аванс в счет жалованья, а также временное удостоверение личности. Стали устраиваться и нашли, что все в общем неплохо. Одно было нехорошо: т[уалет] во флигеле находился в таком плохом состоянии, что я предпочитал лес. В Кучине я провел несколько дней и, оставив тебя с Катей, отправился по делам, которых всегда бывало много, в Москву. Там я нашел письмо, которое гласило: «Многоуважаемый профессор. Что вы – профессор, узнала из ваших документов, которые нашла, с вашим бумажником, у себя на лестнице. Спешу об этом сообщить вам, так как по собственному опыту знаю, сколько возни бывает, когда пропадают документы. Денег в бумажнике не было, но все остальное найдете в целости. По крайней мере, надеюсь на это. Меня можете застать ежедневно от трех до пяти». Следовал адрес: одна из самых скверных по репутации улиц в Москве.

Мне советовали идти с кем-нибудь, но я пошел один, взяв с собой ровно столько денег,

сколько предполагал дать в награду за возвращение документов. Подхожу к дому: он, действительно, оправдывает репутацию улицы. Поднимаюсь по грязнейшей лестнице в четвертый этаж. Звоню. Открывает весьма сомнительный субъект и указывает мне комнату в самом конце коридора. Пока я шагаю, из комнат направо и налево выглядывают мужские и женские лица, отнюдь не способные успокоить опасения. Стучусь.

Мне открывает женщина, профессия которой написана и на лице, и на всей обстановке. Она любезно приглашает меня садиться, и любезность ее – не «профессиональная». После двух-трех фраз «светского» разговора подает мне мой бумажник и просит проверить, все ли документы налицо. Проверяю: все в порядке. Я благодарю и предлагаю ей деньги, но она весьма искренне обижается и отказывается наотрез: «Не настаивайте, профессор. Не теряйте времени и не спорьте зря: не возьму ничего. Я же написала вам, что мой собственный опыт заставляет меня входить в чужое положение, и притом, – тут она дружески улыбнулась, – я не так часто вижу профессоров. Это – единственные люди, которых еще можно уважать». Мы поговорили еще несколько минут: я просил ее обратиться ко мне, если будет у нее какое-нибудь затруднение. Она засмеялась и ответила: «Мои затруднения – не такого рода, чтобы вы могли быть полезным, и в наши дела вам незачем мешаться». Затем мы с ней очень мило простились, и я ушел, уже не опасаясь тех сомнительных лиц, которые выглядывали из дверей.

В это лето мне пришлось много заниматься делами Курской магнитной аномалии. Комиссия подготавливала гравитационную съемку, которую разными методами должны были выполнять московский астроном А. А. Михайлов и петроградский сейсмолог П. М. Никифоров. Первый был добросовестным наблюдателем, не имевшим никаких предвзятых мнений; за вторым стоял Петроград, то есть геологи школы Карпинского, отрицавшие существование магнитных масс вблизи от поверхности. Чтобы поддержать Никифорова, на заседание приехал Владимир Андреевич Стеклов. Как раз в этот день я должен был докладывать свои вычисления. Я начертил на доске предполагаемый профиль магнитных масс, написал формулы, начертил горизонтальную и вертикальную составляющие, вычисленные и наблюденные.

Стеклов сидел, смотрел и хмурился. Когда я окончил, он подошел к доске и со словами: «Все это – вздор!», перечеркнул мою схему; нарисовал другую (в согласии со взглядами Карпинского), сказал: «Вот как надо» – и сел. Нисколько не выходя из себя, я быстро понял, к каким ошибочным результатам приводит его схема и, не говоря еще, в чем дело, поставил ему ряд вопросов: «Если я правильно вас понял, вы утверждаете, что горизонтальная слагающая будет несколько раз менять знак?» – «Да». – «И что вертикальная слагающая будет по мере удаления от максимума убывать и станет отрицательной?» – «Да». Задав ему еще вопросы этого рода и получив ответы, я развернул наблюденные кривые и показал, что схема Стеклова совершенно не соответствует наблюдениям. Он замолк, а после заседания подошел ко мне и с улыбкой сказал: «А здорово вы мне закатали по морде» – и засмеялся. Я тоже засмеялся и понял его характер, и с этого момента у нас сразу установились дружеские отношения, длившиеся до его смерти. Это был человек прямой и честный, с большим темпераментом и размахом.[422]

По Курской магнитной аномалии, несмотря на возражения школы Карпинского и концессионную кампанию в газетах и правительственных кругах, были сделаны дальнейшие конкретные шаги: посланы экспедиции по гравиметрии и начато бурение в избранной нами точке. Рассматривая материалы Лейста, мы поняли, почему бурение не дало результатов в его руки. Будучи хорошим инструменталистом, он совершенно не понимал, где для магнитных масс нужно искать точку, наиболее близкую к поверхности, как не понимал и очень многого другого.

Во главе бурения был поставлен очень опытный и энергичный горный инженер Бубнов, но подвигалось оно слабо: происходили частые поломки, остановки. Нужно ли было видеть в

этом результат разрухи или саботажа? По моим впечатлениям, разрухи было с избытком достаточно, но это никого не утешало, и особенно расстраивался Иван Михайлович Губкин, председатель Комиссии. Человек исключительной честности, он, как коммунист, считал себя обязанным сделать все, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но это не удавалось и иногда буровые работы висели на волоске. Большим ударом была преждевременная смерть Бубнова, заболевшего тифом во время частых поездок из Москвы в Курск и обратно. Его заменил инженер Гиммельфарб, возглавлявший буровой отдел Комиссии и после смерти Бубнова взявший на себя наблюдение за работами на месте.

Поселившись на лето в Кучине, я должен был ближе войти в жизнь института и вместе с тем дать себе отдых от факультетских дел. Стратонов уехал на юг, и факультет выбрал нам временного заместителя – профессора технической химии Настюкова. Мне все-таки приходилось очень часто ездить из Кучина в Москву и заниматься всевозможными, в том числе и факультетскими, делами. Это не всегда бывало легко.

Так как Кучин и геофизики сыграли некоторую роль в нашем существовании, нужно несколько поговорить о них. Директором Кучинского института был Сергей Леонтьевич Бастамов – человек очень умный, способный и сложный. Имея, как и другие геофизики, очень слабую подготовку, он многое восполнил чтением и размышлением; в житейском смысле был очень гибок и совершенно аморален во всех отношениях. Магнитным отделом ведал Василий Иванович Пришлецов: о его безграмотности я уже говорил. Это был человек неплохой, но глупый и способный лезть на рожон, когда его к этому подстрекали другие, получавшие все выгоды, тогда как сам Василий Иванович получал только ушибы. Сейсмическим отделом ведал Вячеслав Францевич Бончковский – спортсмен, невежда, но, как и Бастамов, способный к самосовершенствованию; умом и изворотливостью он не походил на него.

Теоретическим отделом ведал Владимир Андреевич Ханевский: для меня – друг детства, но не друг вообще. Старше меня на два года, из очень бедной семьи, он давал уроки и, не переставая работать, ухитрился окончить гимназию. В университете Ханевский не блистал, но работал очень много: математических способностей у него не было никаких, и как специальность он выбрал метеорологию. Это было легче всего, и все неспособные студенты кончали как метеорологи. Темой для зачетного сочинения Лейст дал ему обработку температур за какой-то из годов по наблюдениям на Пресне. Он выполнил задание очень добросовестно, и я несколько помог ему, указав выводы, которые можно было сделать. К общему удивлению, Лейст оставил его при университете. Так, со ступеньки на ступеньку, к описываемому времени Ханевский оказался профессором Московского университета и заведующим теоретическим отделом в Кучине.

Аэродинамическим отделом ведал не университетский человек – инженер Сабинин, потомок Сусанина. Это был технически вполне подготовленный и добросовестный работник. Ветряковым отделом ведал инженер Красовский – фанатик этого дела, не способный говорить ни о чем, кроме ветряков и энергии, которую они могут дать народному хозяйству. В Кучине эти два отдела были учреждены Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ), принадлежавшим военному ведомству. За ними надзирал Сергей Алексеевич Чаплыгин и инженер Ветчинкин – чудаковатый, но очень знающий и способный человек. Хозяйством ведал бывший председатель Тверской губернской земской управы Цирг, когда-то – кадет, отставленный царским правительством после нашумевшей ревизии тверского земства.[423] Атмосферным электричеством занимался в принципе Сперанский, но его саботировали все остальные геофизики.

Помимо помещений и лабораторий, устроенных Рябушинским, уже после его отъезда был выстроен специальный павильон для магнитных наблюдений и достраивалась сейсмическая станция. Дом внизу у аэродинамической лаборатории был занят под общежитие технического персонала; в доме на холме («дворец» Рябушинского) помещалась библиотека и общежитие научного персонала. Кроме того, были флигели, в одном из которых помещались мы.

Большой дом и флигели были окружены великолепным парком,[424] который переходил в лес. На озере, при впадении речки, находилась собственная электрическая станция, и при ней – мастерские. Персонал, очень хорошо подобранный, оставался еще со времен Рябушинского. Все это, вместе взятое, называлось первым имением.

Разница в климате (микроклимате) между парком и большим домом, с одной стороны, и низом с техническими службами, с другой, была весьма чувствительна. В то время, как внизу люди хворали, не переставая, болотной лихорадкой, наверху все были в добром здравии. Новые постройки находились в километре от первого имения – в так называемом втором имении. Еще дальше было третье имение, где все здания были разрушены и оставались только весьма солидные фундаменты.

Стройка проходила в очень трудных условиях, и, собственно, мы не имели права строить. Вся строительная деятельность по декрету была сосредоточена в Главном комитете государственных сооружений, во главе которого стоял бывший меньшевик Павлович, дядюшка профессора Сорбонны Эфрусси. Комитет составлял всероссийский план, и до составления этого плана всякая строительная деятельность была запрещена под страхом самых серьезных наказаний. Над комитетом и его толстым председателем все смеялись, но с запретом приходилось считаться, и сейсмическую станцию в Кучине строили на кредиты, которые отпускали под разными наименованиями: «установка приборов», «усовершенствование установки», «защита от непогоды» и т. д. Кредиты отпускались в падающих рублях, а каменщики желали иметь полное довольствие и полное удовольствие в натуре, а не в бумажках. Постоянно нужно было ухищряться.

Очень часто мне приходилось разговаривать с Иваном Ивановичем Гливенко, начальником Главнауки, следующим образом: «Иван Иванович, выручайте: каменщики прекращают работы и требуют полной уплаты». – «Что же, требование их справедливое». – «Конечно, справедливое, но вы знаете, что на средства, которые вы отпускаете нам, мы сделать ничего не можем». – «Нет, Владимир Александрович, каменщики – пролетариат, и их нужно удовлетворить». – «Я совершенно согласен с вами и уже дал им ваш адрес. Тут, в центре, будучи облечены всей полнотой власти, вы сумеете объяснить им необходимость жертв для государственного строительства. Вам поверят, а нам, саботажникам, не верят. И придут не с пустыми руками: чтобы показать вам кладку, которая требуется, они принесут по кирпичине». Иван Иванович хмурится и зовет «завфина»: «Товарищ Удовиченко, надо удовлетворить Владимира Александровича, а то нас тут забросают кирпичами», – и я получаю удовлетворение.

Конечно, Иван Иванович прекрасно понимал, что я не пошлю к нему каменщиков и что надо помочь. Истинным облегчением для нас было иметь его на этом посту. Крупный бюрократ (директор департамента в старом министерстве), очень умный, разумный и благожелательный человек, он делал все, чтобы помочь научным учреждениям. Иван Иванович обладал большой гибкостью (я всегда сравнивал его с Борисом Годуновым при Федоре Иоанновиче), но употреблял ее всегда на благо и очень умел сводить на нет глупейшие измышления М. Н. Покровского.

Кучинские дамы, жены геофизиков, встретили тебя любезно, но храня камешек за пазухой. В то время, как я был старше их мужей, ты оказалась моложе всех дам. Жена Пришлецова, врач, выказывала холодок, и это было лучше, чем скрытый яд жен Ханевского и Бастамова. Жена Бончковского, тоже – математичка по образованию, была очень занята своей внутренней драмой: она вступила в научную работу с большими надеждами, которые не оправдались, и теперь задумывалась над смыслом человеческой жизни. Жена Чаплыгина относилась к тебе определенно хорошо, но годилась тебе в бабушки и чувствовала себя генеральшей. Так и случилось, что приятных людей в разнообразном обществе для тебя не оказалось. За нами очень ухаживали, но цену этого мы оба прекрасно понимали. Ты и не стремилась к этому обществу. У нас всегда кто-нибудь гостил, и мы одни никогда не

оставались.

Упомяну еще как курьез, что помимо Ханевского Бончковский, Виткевич и некоторые другие из сотрудников института (например, Баскаков, младший брат моего товарища по гимназии) были моими земляками.[425]

Я не помню точно, к какому моменту нужно отнести приезд с юга твоей сестры Лены с мужем Николаем Владимировичем, а также, несколько позже, твоей тетки Розалии Григорьевны. Это было в 1921 году, и мне смутно помнится, что была весна или лето, а для тетки Розы – лето или начало осени. Это не было и во время нашей отлучки из Москвы. Оба мы присутствовали. Был ли это май? Между 15 мая и нашей поездкой в Петроград и перед переездом в Кучин? Не знаю. Во всяком случае, они вернулись и заняли соседнюю комнату – ваш огромный салон, в котором перед ними перебивало несколько квартирантов: Зверевы, Диесперовы – все друзья Сидорова и Нины Георгиевны.

С возвращением Елены Ивановны начались семейные осложнения. Она уезжала, оставляя семью в богатстве, а когда вернулась, нашла отца разоренным, вещи распроданными. У нее не было твоей деликатности. Ты считала, что все имущество было приобретено трудом твоих родителей, что вы, дети, пользовались этим, но в приобретении не участвовали, и что если после смерти матери вы являетесь юридически ее наследниками, то, действительно, право на все имущество принадлежит отцу и только отцу. Поэтому, когда отец продавал дом, формально принадлежащий детям, ты дала ему доверенность, но не предъявила никаких требований и ничего не получила, и я, твой жених в то время, вполне одобрил это.

Иван Григорьевич распределил меха и другие вещи твоей матери на четыре части, и твою часть дал тебе, а часть Елены Ивановны отправил ей, по ее требованию, с оказией в Киев. В распределении ты не участвовала и понятия не имела о том, действительно все ли вещи были распределены. То, что часть Елены Ивановны была отправлена ей, мы знали и даже случайно присутствовали при отправлении. Иван Григорьевич все время занимался распродажей вещей, и в это мы не вмешивались; один только раз не дали ему продать постели, на которых спали, и столы и стулья, которыми пользовались. По нашему совету Иван Григорьевич сохранил и для себя, и для детей необходимую мебель и носильные вещи.

Когда Елена Ивановна увидела «разгром имущества», она никак не хотела верить, что ты была настолько «глупа», чтобы не попользоваться, и при этом, чтобы я не помог тебе «делом и советом». Более того, получая от Ивана Григорьевича уклончивые объяснения, которые приблизительно все-таки совпадали с твоими, она сочла, что вы проделывали все коммерческие операции вместе и ты получала свою часть. Елена Ивановна знала с детства, что ты не выносишь ссор и дразг и готова отдать все, лишь бы не пачкаться в этого рода склоке. Поэтому она пошла по линии наименьшего сопротивления: заявив, что посылку Ивана Григорьевича не получила (это была несомненная ложь, так как некоторые вещи, привезенные ею, находились как раз в этой посылке), потребовала от тебя передела твоей части (что-нибудь требовать от Ивана Григорьевича было уже бесполезно: он успел все распродать), и ты уступила.

Тогда аппетиты ее разгорелись, и она все увеличивала запросы, ссылаясь на мужа, который требовал то и то: «Если я не получу от тебя, то Коля рассердится». Тут уж я не выдержал: «Коля может сердиться, сколько угодно; Вава тоже это умеет», – и потребовал прекращения торга. Она выскочила в ярости и потом в течение нескольких месяцев вела с нами самую мелочную войну, сумев даже восстановить против нас бесхарактерного Ивана Григорьевича. Чтобы положить этому предел, мы позвали к себе твоего отца и просили его сказать, в чем же дело. Оказалось, что никакого дела нет, а просто: «Леночка говорит...» Так мы примирились с ним, но Леночка оставалась непримиримой, настроила тетку Розу, и я часто слышал в соседней комнате очень громкий, намеренно громкий, разговор: «Этот человек, который пришел в этот дом без штанов и живет нашим добром...»[426]

Как мы проводили время в Кучине? Конечно, много гуляли – и вместе, и отдельно, и группами. Помню, как ты перепугала всех: отправилась с Катей и дочерью Сперанского, девочкой Катиного возраста, гулять – отправилась сейчас же после обеда, то есть часа в три дня, – и исчезла. Как всегда со мной бывало, я сразу же начал беспокоиться, как бы с тобой чего-нибудь не случилось, и старался мысленно оградить тебя от всевозможных опасностей; в этом отношении я гораздо больше похож на папу, чем на маму, равно как и по интенсивности переживания горя. По мере того, как шли часы, а вы все не появлялись, моя тревога возрастала. К шести вечера я был уже совсем в панике, а в семь часов супруги Сперанские пришли спросить, что мы сделали с их дочерью.

Была немедленно запряжена институтская лошадь, чтобы искать вас на дорожках в лесу. А я отправился один исследовать лесные тропы и всего в десяти минутах ходьбы от института, на перекрестке двух дорожек, вижу три фигуры: вы стоите и совещаетесь, куда же идти. Оказывается, вы заблудились и несколько часов блуждали в ближайших окрестностях, причем было бы достаточно держать любое направление в течение четверти часа, чтобы выйти на одну из больших дорог, ведущих к институту. Очевидно, вы меняли часто направление и запутали сами себя: дочь Сперанского сбивала тебя с толку своим знанием окрестностей, а ты – ее своим взрослым авторитетом; при этом Катя ворчала и вносила элемент паники. Как я был счастлив, найдя тебя, а ты радостно вскрикнула: «Вавка, что ты тут делаешь?»

Мы часто купались в речушке, которая имела несколько глубоких мест, – купались, конечно, в купальных костюмах, иногда большими компаниями. Развлечением было для тебя и ознакомление с метеорологической практикой – инструментами, методами наблюдения и обработкой их: преподавал это тебе и другим дамам и девицам Бончковский и делал это очень толково. Ханевский почувствовал ревность и хотел заинтересовать тебя своей работой, но неудачно. Работа его была рассчитана на долгое время и могла дать (и в конце концов дала) интересные результаты, но шаблонная, без всякого проблеска, обработка числовых данных не привлекала интереса. Он стремился определить среднюю скорость ветра по величине и направлению на разных широтах, на разных высотах и в разные эпохи года. Для этого нужно было сделать однородной всю массу аэрологических и метеорологических наблюдений, т. е. внести в них все нужные поправки. Работа должна была занять несколько лет, после чего предполагалось приступить собственно к вычислению средних. Возбудить энтузиазм этим процессом внесения поправок было довольно трудно.

Очень много времени я отдавал детальному ознакомлению с работой института и его сотрудниками, стараясь определить удельный вес каждого. Для меня стало ясно, что научное оборудование, оставшееся от Рябушинского, ничего не стоит: большая аэродинамическая труба не давала равномерного потока воздуха, а приспособления для униформизации вызвали добавочные вихри; аппарат для изучения трения воздуха совершенно не соответствовал цели; мелкие измерительные приборы – трубка Пито, анемометры и т. д. – давали колоссальные ошибки. А что сказать об «опытах» Рябушинского с возбуждением «колебаний в эфире» путем сбрасывания с башни чугунной плиты и улавливания микрофоном «эфирных волн»? Но хозяином он был хорошим: плотина и электрическая станция продолжали без отказа работать; постройки были по-купечески основательны; рабочие, слесари, столяры и механики – хорошо подобраны; библиотека – хорошо составлена (помимо научных, она содержала большое количество исторических книг, беллетристики и даже порнографии – конечно, на французском языке).

Обо всем этом мы очень много разговаривали с Бастамовым и уговорились с ним о реформах, структурных и программных, которые нужно внести в институт: для нас было ясно, что, имея могучего конкурента – ЦАГИ, он не может вести самостоятельную гидро- и аэродинамическую работу. Поэтому мы решили употребить аэродинамическое оборудование на изучение метеорологической и геофизической аппаратуры и решение вытекающих отсюда задач. Эта реформа требовала, чтобы в институте был хороший теоретический отдел,

способный решать математические проблемы, возникающие в процессе геофизической работы («теоретический» отдел Ханевского состоял из нескольких вычислительниц и был совершенно неспособен, как и он сам, выполнять новую программу). Мы решили учредить теоретический отдел из хороших прикладных математиков и физиков под моим руководством, а Ханевскому оставить его вычислительный гарем и дать возможность продолжать работу. Все это были очень полезные реформы, но мы сделали и одну ошибочную вещь, а именно: проявили империализм.

Помимо Кучинского института, в Москве еще существовали Бюро погоды, возглавляемое очень крупным специалистом – Сергеем Ивановичем Небольсиным, и Аэрологическая обсерватория на Ходынке, возглавляемая Витольдом Игнатьевичем Виткевичем, тоже моим земляком. Преобразуя Кучинский аэродинамический институт, мы решили объединить в нем всю метеорологическую и геофизическую работу в Москве. С. И. Небольсин, человек прямой, открытый и честный, не возбуждал ни в ком сомнений, но как могли геофизики, имевшие еще так недавно склоку с Виткевичем, настаивать на его введении в институт? Еще в гимназии Виткевич занимался политическими доносами. После Октябрьской революции его доносы пошли по другому направлению, но не прекратились: в Наркомпросе ими было заполнено огромное «дело». Он обвинял своих противников (того же Бастамова) в контрреволюции, хищениях, ничегонеделании, ремонте ванн и т. д., и т. д. Относительно себя самого он менял показания: сначала был поляком и католиком, потом – белорусом и православным; во время войны с Польшей стал окончательно белорусом, но перестал быть православным. Я предостерегал Бастамова против введения Виткевича, и как будто он слушал меня, но, воспользовавшись каким-то из моих отсутствий, провел-таки объединение с Аэрологической обсерваторией и Виткевичем.

Очень часто к нам приезжал Иван Григорьевич – приезжал в субботу к вечеру, ужинал с нами и рано ложился спать. Утречком он надевал легкий пиджак и с удовольствием отправлялся гулять, выбирая наиболее «культурные» части парка и избегая лесных тропок или лугов. Удивительно, до какой степени ему была чужда и незнакома деревенская жизнь. После утреннего завтрака мы ходили с ним вместе, и всем это было очень приятно: чувствовалось, что у нас он действительно отдыхает и забывает о московских заботах. Пока мы гуляли, наша Матрена (отчества не помню) готовила обед.

Готовить было особенно не из чего, но все-таки это был уже не 1920 год. С нашей части огорода мы имели свежие овощи и салат; академический паек давал нам мясо, масло и многое другое, магнитный паек – кроликов, зайцев и дичь; в других учреждениях тоже бывали выдачи (в Коммунистическом университете – хлеб, крупа, сахар, колбаса). Лес давал нам землянику и малину, сад – вишню. Таким образом, мы уже не голодали и могли хорошо накормить Ивана Григорьевича. После обеда немного болтали – о C?te d'Azur, о Париже, о лангустах и сотерне, о «Sole aux moules et ?crevisses».[427] Иван Григорьевич немного отдыхал, и вечером после чая мы провожали его к поезду.

В Кучине, как и в других научных загородных учреждениях, было в обычае кормить приезжающих специалистов. Эта повинность была переходящей, и очередь иногда падала на нас. За это лето мы принимали у себя директора Главной палаты мер и весов Ф. И. Блумбаха, директора Пулковской обсерватории А. А. Иванова и директора (кратковременного) Главной геофизической обсерватории Н. А. Коростелева. Когда приезжали целые группы, устраивался общий обед. Так было, когда мы праздновали окончание постройки сейсмической станции: приехал Иван Иванович Гливенко в сопровождении ряда сановников из Наркомпроса. В таких случаях обед бывал в столовой Рябушинского, убранной в топорном русском вкусе и уставленной крайне неудобной мебелью в том же вкусе, с вертикальными спинками стульев и т. д.

Кстати, об огороде. Мы возделывали его сами: взяли тачку и отправились с ней за удобрением в конюшни второго имения: лошадей там уже давно не было, но ссохшиеся

следы их пребывания имелись, и мне стоило большого труда отковыривать их лопатой. Мы посадили огурцы, томаты, редиску, морковь, репу, горошек; кроме того, на общем поле были засеяны картошка и капуста. Для того, чтобы из деревни Кучино не являлись мародеры, на наших плантациях были установлены ночные дежурства. Одну из ночей я дежурил с Чаплыгиным, другую – с Сабининым. Я помню также, как весь персонал с семьями высыпал в поле копать картошку, и с каким увлечением ты предавалась этому занятию: перед тем, как вскапывать землю под каким-нибудь кустиком, ты загадывала, сколько и каких картошек мы найдем.[428]

Погода в общем стояла хорошая, но бывали дожди и грозы, тогда как на Оке и Волге было знойно и сухо. Из Бабурино приходили тревожные вести: посевы погибли, сена оказалось недостаточное количество, лошадь пала. Я тщетно старался достать лошадь из демобилизованного контингента, а денежная помощь, которую мог оказать, была совершенно недостаточна. Вести с Волги приходили все хуже и хуже. С июля месяца в Москве стали появляться беженцы: целыми семьями, поездом или пешком, они добирались до столицы и ложились у заборов на привокзальных улицах, забирались в разрушенные дома, скоплялись на пустырях. У них редко хватало энергии что-нибудь предпринять: покорно лежали и умирали зачастую тут же; дети и подростки образовывали банды, о которых всё с большим и большим испугом говорили обыватели. Появились слухи о людоедстве (оправдавшиеся) и колбасах из человеческого мяса. В этом обвиняли, в частности, очень толстую чайную колбасу, и как раз в одной из выдач мы получили ее довольно много и съели всю, хотя и с сомнениями.

В июле или августе мне пришлось неделю провести в Москве: Наркомпрос, вернее – Главпрофобр, созвал конференцию представителей высших учебных заведений, и я должен был присутствовать на ней как член Государственного ученого совета. Отношения между властью и профессурой становились все хуже и хуже. Борьба с царским правительством шла в высшей школе под знаменем автономии, и одной из первых мер Временного правительства было установление ее. Поэтому профессура была очень удивлена, а потом и раздражена, когда Наркомпрос встал на путь борьбы с автономией. М. Н. Покровский, сторонник и в значительной мере инициатор этой политики, мог бы проводить ее спокойным и деловым образом; вместо этого он принял ряд противоречивых и бестактных мер, которые раздражали профессуру и усиливали хаос в высшей школе.

Не разбираясь в людях, Покровский назначал на ответственные посты лиц с сомнительной репутацией, двурушников, к которым можно было относиться только с презрением. Отсюда получались весьма для него (а следовательно, и для власти) конфузные диалоги, как, например, с профессором Зерновым, директором Петроградского технологического института. Дело было на первом же заседании конференции:

Покровский: Мы, конечно, будем жестко реагировать на контрреволюционные происки профессуры. Вот вам пример: мы послали преподавать в Технологический институт одного из наших давних и хороших товарищей, а профессор Зернов, здесь присутствующий, не допустил его к преподаванию.

Зернов: Да, и очень хорошо сделал – для вашей же деловой репутации: это лицо не имеет никакой подготовки для преподавания того основного курса, который вы для него предназначили.

Покровский: Неправда: вы не захотели его из-за его левой репутации.

Зернов: Помилуйте, Михаил Николаевич, ведь до 1917 года я знал его как октябриста.

Покровский (с иронией): И как патриота?

Зернов: Не очень. Не желая ехать на фронт, он все время приставал ко мне, чтобы я устроил

его при Военно-промышленном комитете. Откуда я мог знать, что он – ваш давний и хороший товарищ?

Покровский: Я лишаю вас слова.

В общем, все заседания конференции велись в этом духе: мелкие уколы, бессмысленно раздражающие меры, нажим и наскок и никакой деловой программы. Конференция не дала никакого положительного результата и оттолкнула многих, хорошо расположенных, людей.

В последний день конференции ты приехала в Москву, чтобы забрать меня в Кучин. Поезд уходил около шести часов вечера. Мы уложили свой багаж (он всегда бывал очень обильный), я нагрузил его на плечи, и мы отправились пешком на Курский вокзал. День был грозовой. Не успели мы сделать и половины пути, как хлынул дождь, да какой! Что бы ему выпасть в Бабурино? Переждать невозможно: времени – в обрез; извозчиков не было. Кое-как мы добрались до вокзала, втиснувшись в поезд, и в Кучине имели еще одну, хотя и кратковременную, но основательную поливку. И, как всегда в таких случаях, ты встречала неприятность с твоей ясной и хорошей улыбкой, без воркотни. У тебя никогда не было побуждения (а я грешил этим) сказать: «вот, я тебе говорила» и т. д. С тобой всегда бывало удивительно легко, и одного твоего присутствия оказывалось достаточно, чтобы проходить через мелкие и крупные огорчения, не замечая их.[429]

Другое летнее дело, которое заставило меня провести две недели в Москве, – председательствование в приемной комиссии. Положение было парадоксальное. Я был заместителем декана. Обязанности декана до 1 сентября исполнял профессор Настюков, а я значился в отпуске, но от Наркомпроса был назначен председателем комиссии для приема студентов на наш факультет. В комиссию входили тот же Настюков как представитель факультета и три студента-комсомольца. Студенты очень напирали на социальное происхождение, и мне с большой затратой аргументов, цитат из Маркса и Энгельса (и из Ленина: Сталин еще не был классиком), удалось умерить их и убедить, что так же, как и рабочие, представители народной интеллигенции заслуживают, чтобы их дети имели право на высшее образование. Отводы имели место, но их было сравнительно мало. В результате просмотра документов оказалось значительное количество кандидатов, достойных приема. Появился вопрос, сколько факультет может вместить. Если бы оказалось, что число возможных вакансий значительно меньше числа кандидатов, нужно было бы снова проводить отбор.

Я обратился к Настюкову и сказал: «Мы, математики, не имеем лабораторий, а вместимость аудиторий очень велика. Да и не к нам пойдет большинство. Вы – представитель экспериментальной дисциплины. Можете ли вы созвать представителей лабораторий и выяснить, каким количеством мест мы располагаем?» Через несколько дней Настюков принес ответ, который меня очень удивил, а именно, что можно принять всех кандидатов. Мне казалось, что тут что-то не так, но протестовать я не мог, и мы приняли всех. А с началом занятий выяснилось, во-первых, что число мест совершенно недостаточно, и, во-вторых, что Настюков и его комиссия подсчитали число мест во всех лабораториях, тогда как речь шла о лабораториях, обслуживающих первый курс. Я и до сих пор не знаю, были ли эта ошибка случайной или намеренной.

Во всяком случае, в течение всего следующего года нам очень пришлось повозиться, чтобы обеспечить всех принятых местами на практических занятиях. Огромное большинство этих студентов оказалось криптомедиками: дело в том, что на медицинский факультет прием был очень ограничен, а по старым правилам лица, проделавшие два курса естественного отделения и сдавшие переходные экзамены, принимались на медицинский факультет без экзамена и вне контингента. Поэтому специальность «биология» оказалась переполненной, и к нормальному состоянию наши лаборатории вернулись только к 1923–24 учебному году.[430]

Другие дела также требовали моего присутствия в Москве, но я всегда старался вернуться в Кучин к вечеру, и для меня всегда было большой радостью увидеть тебя на станции. Это бывало, но не так часто, потому что точного часа моего приезда мы не знали: слишком в Москве все было нерегулярно, сообщения трудны. Мне приходилось проделывать пешком колоссальные расстояния. Удивляюсь, как я мог выдерживать эти хождения и всю разнообразную деятельность; бросить ничего нельзя: так все было связано и так все было непрочное. И притом мне очень хотелось, чтобы из всей этой неразберихи, разрушений, хаоса получилось что-то путное, что-то новое.

Я уже давно ничего не говорил об Институте научной методологии: он тоже требовал моего присутствия, и особенно – этим летом. Не будучи коммунистом, я не мог быть его директором, но являлся его хроническим и фактическим ответственным лицом по должности вице-директора.[431] Сначала директором был, то есть считался, Луначарский, но его это не интересовало. Он занимался искусством, и попасть к нему на прием ученым было невозможно: мелодекламатор Сережников проходил раньше всех других.

Чтобы положить этому конец, директором был назначен доктор Зандер, мой современник по университету и товарищ по университетской партийной группе 1905 года. Мне и до сих пор непонятно, по какой причине произошло это назначение. Он ничем никогда, кроме медицинской практики самого шаблонного рода, не занимался. Называл себя энциклопедистом, но у него не было даже той поверхностной нахватанной эрудиции, какая была у Луначарского. Зандер был ленив, не разбирался ни в научных вопросах, ни в практических делах. Я не имел права принимать решений по вопросам идеологическим, а он имел это право, но воспользоваться им был не в состоянии. Марья Натановна Смит, которая провела это назначение, через несколько месяцев разобралась в нем и стала уже цитировать по его адресу слова Гете о филистере. Мы с ней обдумывали вопрос, как от него избавиться, и вдруг Зандер получил дипломатический пост посланника в Литве. Как будто дипломатической карьеры он все-таки не сделал.[432]

После него директором был назначен Яков Моисеевич Шатуновский – племянник одесского профессора и сам математик (доктор математики Страсбургского университета), который уже давно бросил научную работу и очень скромно считал себя неспособным к ней. Это был очень хороший и очень приятный человек; мы быстро стали друзьями. Но он не имел никакой эрудиции и был совершенно не в состоянии импонировать крупным специалистам, которых привлекли в институт.

Именно в это лето и в начале осени мы организовали очень интересную серию докладов по вопросу о роли статистического метода в различных науках. На долю мою пришлось говорить о роли этого метода в астрономии и математике, А. К. Тимирязева – в физике, М. Н. Смит – в политической экономии и социологии, В. Г. Громана – в общественных науках, демографии и построении Госплана; не помню, кто именно говорил о биологии. Эти доклады были изданы в виде книжки,[433] которая вызвала большой интерес.[434]

Выше я упоминал о визите к нам в Кучин директора Пулковской обсерватории А. А. Иванова. Привело его к нам следующее обстоятельство. В сентябре 1922 года должно было иметь место солнечное затмение, особо благоприятное по своей длительности (6 минут) и неблагоприятное по месту: Австралия, да еще западная. Так как всех интересовала возможность проверки принципа относительности, то московские и петроградские астрономы решили организовать совместную экспедицию, и докладную записку надо было представить через Луначарского в Совет народных комиссаров. Это может показаться невероятным, но Луначарский так и не нашел времени принять делегацию русских астрономических учреждений и обществ; прием назначался, а нарком отсутствовал. В конце концов, потеряв терпение, записку подали по «команде», но из этого предприятия ничего не вышло. Голод, начавшийся в 1921 году и разразившийся как народная катастрофа в 1922 году, помешал экспедиции осуществиться, как и очень многим предприятиям этого рода.

Как-то, покупая в Москве газету, я вдруг увидел в витрине «Русские ведомости», вернее – сложенную газету, заголовок которой нельзя было рассмотреть, но которая по бумаге, формату, шрифту и типографскому выполнению походила, как две капли воды, на «Русские ведомости». Это оказался орган общественного комитета для помощи голодающим[435] – так называемого «Прокукиша» по именам главных участников: Прокоповича, Кусковой, Кишкина. В Комитете председателем был Каменев, а главным сватом – Горький. Увидев такой номер, я сказал, что это – не «Прокукиш», а просто – кукиш и притом несерьезный кукиш в кармане, и что из этой затеи ничего не выйдет. В ней несомненно не хватало искренности, и эта имитация «Русских ведомостей», маленький и смешной укол в трагический момент жизни страны, – тому явное доказательство.

Не помню, какой день недели мы выбрали для совместных (и с Катей) поездок в Москву. Приезжали к вечеру, и я хорошо помню то ощущение хода времени, которое меня часто мучило. Сначала приезжали в Москву при полном солнечном свете, позже – в сумерки, последний раз – в темноте. И очень-очень часто, ощущая счастье от твоего присутствия, от твоей близости, мне хотелось остановить время, как сейчас хочется во что бы то ни стало вернуть его назад. В Кучине мы оставались до конца сентября.[436]

Теперь я приступаю к описанию очень важной эпохи в нашем существовании. С переездом в город мне пришлось вернуться к моим обычным занятиям и, прежде всего, к университету. Ты захотела выполнить наше давнишнее желание и на этот раз поступила на физико-математический факультет. Из этого ничего не вышло, и описание причин, почему не вышло, послужит хорошим введением к последующему. Дело в том, что НЭП не улучшил, а ухудшил положение университета: бюджет его продолжал исчисляться в падающей валюте. Как раз летом того года я купил свои часы фирмы Ulysse Nardin[437] (они и сейчас лежат передо мной) и заплатил за них 55 миллионов рублей.

Миллиарды, которые получал университет, были недостаточны для оплаты городских счетов (вода и прочее), и на отопление не оставалось ничего: наши аудитории не отапливались уже который год. Здания не ремонтировались: в большой математической аудитории через полчаса после лекции рухнул потолок. В хирургической клинике у профессора Спижарного эконома провалился сквозь пол из второго этажа в первый. И хотя остряки утверждали, что провалился именно тот, кому и следовало, но в таком состоянии университета ни эконома, ни Спижарный (кстати, он же являлся деканом медицинского факультета) были неповинны. Лаборатории по-прежнему не имели ни аппаратуры, ни реактивов, ни литературы, ни всяких других видов снабжения. Профессора и персонал получали до смешного ничтожные жалованья, а между тем плату за квартиры и прочие хозяйственные услуги начали взимать в твердой валюте.

Почему-то все надеялись, что с новым учебным годом положение улучшится: для некоторых категорий рабочих вводилась плата в твердых рублях, и в магазинах стало возможным иметь за них хорошие вещи, о которых давно забыли и думать. Но для нас стали невозможными и самые нормальные покупки. Протесты раздавались все время. На каждом заседании Государственного ученого совета я поднимал вопрос о положении высшей школы, а М. Н. Покровский упорно его снимал, делая при этом язвительные примечания по моему адресу. Обращались к Луначарскому, но этот господин ничего не делал и ни о чем не думал, кроме своих пьес и романов с балеринами. Я часто спрашивал себя, да и других, в чем же причина такой полной глухоты Луначарского к интересам того дела, во главе которого он поставлен, и даже сейчас я не могу ответить на этот вопрос.

В нашем личном плане, и именно на твоих университетских занятиях, это отразилось так: ты взялась за работу с величайшей охотой. Мы поручили наше хозяйство тетке Розе, надеясь, что она будет вести его лучше и добросовестнее, чем Марья Григорьевна. Освободившись от хозяйственных забот, ты смогла проводить в лабораториях столько времени, сколько было нужно, и это все погубило. Сырые каменные здания, не протапливавшиеся уже несколько лет,

снова вызвали острый суставный ревматизм, и врач, профессор Д. Д. Плетнев, велел бросить учебу и заняться лечением в домашней обстановке. Еще раз, таким образом, попытка твоя перейти к разумному и интересному труду кончилась ничем. Более того, был сделан еще один шаг по направлению к трагическому исходу.

Начало нового учебного года сразу же показало, что настроение научных работников и профессуры резко изменилось. Вместо покорного ожидания давно обещанных улучшений все заговорили о том, когда же такое положение кончится и что нужно найти способ положить ему конец. Недовольство усилилось еще и тем, что Комиссии по улучшению быта ученых было дано задание образовать квалификационные комиссии для распределения их по категориям: первая – ученые с мировой репутацией, вторая – ученые со всероссийской репутацией, третья – крупные ученые с большим преподавательским и научным опытом, четвертая – ученые с хорошей квалификацией и опытом, пятая – начинающие ученые. Этим категориям должна была соответствовать денежная выдача в червонных рублях: первая категория – 20 рублей в месяц, вторая – 15, третья – 10, четвертая – 7, пятая – 5. Этот тариф, который Луначарский опубликовал со своим обычным болтливym предисловием, где говорилось о жертвах, которых не пожалеет советская власть, чтобы создать достойные условия для научной работы, и, кстати, делался кивок на гнилой Запад, – этот тариф вызвал всеобщее возмущение.[438]

Мы с Волгиным пошли к моему сопроцесснику и товарищу по партийной работе Ярославскому. Он принял нас довольно сухо и сказал, что шахтеры зарабатывают меньше. Последовал принципиальный спор о роли науки в государстве вообще и в пролетарском государстве в особенности. Практический результат оказался неожиданным: Волгин, который к этому времени вступил в коммунистическую партию, был назначен ректором Московского университета.[439]

Среди профессоров было всего понемногу. Самыми неприятными являлись реакционные интриганы, привыкшие орудовать исподтишка во времена старого режима. Таким был, например, химик Николай Дмитриевич Зелинский.

Я уже упоминал о практических уклонах, которые навязал нам Шмидт, не потрудившись снабдить нас даже минимальными кредитами на их выполнение. Главпрофобр почему-то счел, что административная реформа может заменить кредиты, и нам стали навязывать разделение факультета на шесть отделений – химическое, биологическое, геолого-географическое, физическое, астрономо-геофизическое и механико-математическое, не понимая, что это не уменьшает, а увеличивает расходы и штаты. Для нас, математиков, прямым результатом была бы необходимость читать курс математики для каждого из отделений по-разному, иными словами – вместо одного курса для физиков и натуралистов иметь отдельные курсы для каждой специальности. Вместо общей факультетской канцелярии нужно было бы иметь еще шесть дополнительных канцелярий и т. д. Поэтому на заседании факультета было решено сохранять временно старый порядок.

Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что Зелинский побывал несколько раз у ректора и в Главпрофобре и добивался выделения химических дисциплин и лабораторий в особый факультет. Председательствуя на ближайшем же заседании факультета, я поставил этот вопрос и публично сказал Зелинскому: «Некоторое время тому назад, когда ставилась моя кандидатура в помощники декана, вы изволили высказать мнение, что не следует выбирать лицо новое и происходящее слева, так как-де могут пострадать старые и драгоценные академические традиции. Будьте любезны объяснить факультету, в какой мере ваше поведение соответствует тем традициям, в качестве защитника которых вы выступали». Он пробовал откаться, но это было невозможно. Факультет подтвердил свое решение, а я, вместо прочной антипатии с его стороны, стал пользоваться очень прочной ненавистью.[440]

Деятельность квалификационной комиссии при ЦЕКУБУ[441] очень раздражила профессуру.

Если по некоторым дисциплинам председателям подкомиссий, как мне – по математике и механике, удалось выполнить свою задачу весьма объективно, оставляя личные вкусы в стороне, то по другим получилась сплошная какофония. А. Д. Архангельский не терпел географию и почвоведение. Он считал, что и физическая география, и наука о почвах не имеют самостоятельного бытия, а являются просто главами геологии, причем работают в них неудачники, которые не сумели стать геологами. Поэтому и географы, и почвоведы были спущены на несколько ступеней ниже, чем следовало. Результат: скандалы.

Сию как-то в деканском кабинете. Входит милейший Иван Иванович Жолцинский (муж танцовщицы Франчески Беаты, о которой я уже упоминал в связи со встречей Нового года) и поет: «Ко мне возвратилась счастливая юность, ко мне возвратилось блаженство любви...»[442] Я говорю: «Партия – теноровая, а вы – баритон. Кто вас омолодил?» А он отвечает: «Вот об этом я вас хочу спросить. Если бы меня, после 25 лет профессорской деятельности, поставили в третью категорию, я был бы немножко обижен, но примирился. Но быть поставленным в первую категорию, то есть в начинающие ученые, – это свыше моих сил. Скажите, кто этот Мефистофель, и я покажу ему, что мои кулаки сразу помолодели». Тон был шутливым и милым, но обида и огорчение так и выплескивались наружу. Что я мог сказать? Я пообещал добиться пересмотра его дела и добился, но обида его была настолько велика, что он немедленно опировав польское гражданство и уехал в Львов, где занял пост директора крупного агрономического института, а мы потеряли очень ценного специалиста, который до этого момента считал русский язык родным и не думал о том, что он – поляк. Инциденты в таком же роде возникали и у физиков: университетские старались свести к нулю лазаревцев, а те обстреливали университетских из Наркомздрава и других комиссариатов, где были в силе.

Некоторые из профессоров, и именно из старой гвардии, пошли по стопам Зелинского. Для всех было полной неожиданностью, что почтеннейший Дмитрий Николаевич Анучин – старейший из профессоров, бывший декан, с достоинством ушедший в 1911 году в отставку, – отправился в Главпрофобр, не предупредив факультет и декана, чтобы получить лишнего ассистента. Вопрос об этом был поставлен (не мной) на заседании факультета, где я председательствовал, и вызвал бурные и неприятные для Анучина прения: настолько неприятные, что он встал и вышел вон. Я сейчас же попросил его вернуться и сказал: «Дмитрий Николаевич, вам совершенно не следует обижаться. При вашем опыте, конечно, вы понимаете, в каком трудном положении находится факультет и насколько каждое проявление сепаратизма ухудшает наше положение, и ваше – тоже. Вы получите ассистента, но потеряете возможность пользоваться разумно и им и вашей лабораторией, и мы уже будем не в силах защитить вас». Он встал и весьма корректно признал мою правоту.[443]

Общеуниверситетский совет профессоров ректором не созывался, а в правление университета входил один из университетских сторожей, но не входили деканы факультетов. Поэтому деканы собирались частным образом, чтобы обсуждать общеуниверситетские дела. Медицинский факультет был представлен деканом – профессором хирургии Спижарным. В течение гимназического курса я постоянно слышал о нем отзывы преподавателя древних языков Мартина Мартиновича Крамарича: «Изучайте грамматику, как следует изучайте грамматику. Это – наилучшая гимнастика для ума. Никакие точные и естественные науки не могут с ней сравниться. Пользуйтесь временем, пока это доступно, а то кончите гимназию, попадете в университет, и вас не смогут там ничему путному научить. Вот вам пример: был у меня тут ученик Спижарный. Идиот идиотом, ни одного аориста не мог запомнить, в каждом классе по два года сидел. Наконец, эта дубина кончила, попала-таки в университет, и что бы вы думали, теперь он там – профессор. Хотел бы я знать, чему этот болван может учить».

Еще будучи студентом, я познакомился со Спижарным: имел смелость позвать его к одному, тяжело больному, товарищу; он немедленно велел запрячь свой экипаж, поехал, был очень мил и сделал все, как нужно. При первой же встрече тут, уже на равных правах, я напомнил ему о Смоленске и Крамариче. Он заволновался и сказал: «А вы знали его? Скольким,

скольким он испортил жизнь! И я потерял из-за него четыре года». Пушкин великодушно предлагал: «Наставникам, хранившим юность нашу, не помня зла, за благо воздадим».[444] Не знаю, может быть, это было возможно по отношению к Царскосельскому лицейскому времени, но не по отношению к царским классическим гимназиям.

Деканом факультета общественных наук был профессор Винавер, которого не надо смешивать со знаменитым адвокатом. Это был очень левый человек, очень сочувствующий власти, и для него, как и для меня, было весьма огорчительно, что политика Наркомпроса приняла такие формы и привела к таким результатам.[445]

Обдумывая то, что уже написал, я обратил внимание, что в моих воспоминаниях за этот год совершенно отсутствуют посещения каких-либо театров, концертов и кинематографов. Значит ли это, что мы с тобой никуда не ходили? Как будто да: во всяком случае, выходили очень мало. Мои занятия поглощали весь день с утра до вечера.

Я очень старался расчистить свое время; как будто тогда же я отказался от Коммунистического университета,[446] передав руководство занятиями Владимиру Ильичу Котовичу. Все мои ассистенты очень жалели об этом и были правы: со мной считалось правление Коммунистического университета, а после моего ухода занятия по математике не продержались и года. Точно так же я оставил и Институт путей сообщения – именно из-за сообщений: не было никакой возможности тратить два часа на хождение в Марьину рощу ради одного часа занятий и того ничтожного вознаграждения, которое они давали. Только и это не помогло. Университет с регулярным ежедневным присутствием в деканате (плюс всевозможные комиссии плюс вечернее преподавание) уже был достаточен, чтобы поглотить все силы. К этому надо прибавить ГУС, Астрофизическую обсерваторию, Геофизический институт, Институт научной методологии, Госиздат, Научно-техническое управление ВСНХ, Институт научной философии, куда я регулярно ходил,[447] плюс Курскую магнитную аномалию и свою личную научную работу.

Поэтому я оказался совершенно не в состоянии ходить с тобой в театры так часто, как мне хотелось бы. К тому же измененный порядок выдачи билетов сделал довольно трудным их доставание: чтобы попасть в кинематографы, нужно было постоять в очереди часа два. Я помню, ты заставила меня пойти с Иваном Григорьевичем в «Колизей» на Чистых прудах, чтобы посмотреть какой-то африканский охотничий фильм. Мы начали стояние в очереди за пятьдесят метров от входа; еще через час были на лестнице внутри здания; еще через полчаса попали в залу. Фильм был интересный, длился час, ничего другого не показывали; мы вернулись совершенно измученные. Иван Григорьевич любил зрелища и развлечения и мирился с этими неудобствами, но у меня не было такой ясности духа, и я решил больше не влезать в такие истории.

У меня есть воспоминание о нескольких фильмах, которые мы видели, но я не могу сказать, имело ли это место в тот год или следующие. Помню, что в большом кинематографе на Тверской был объявлен фильм «Атлантида»[448] по роману Пьера Бенуа, который мы только что прочитали. Роль Антинеи исполнялась знаменитой польской танцовщицей Наперковской, которую я видел в Париже на сцене в Opéra-Comique,[449] Одеоне[450] и, кроме того, в фильмах («Les Vampires»[451]), где она была великолепна. Я подробно расписал тебе, как она танцевала и какой была, а ты ответила: «Да, но Айседора Дункан...» Увы, в фильме мы увидели отяжелевшую женщину с остатками красоты (для меня, поскольку когда-то я видел эту красоту), но ты отрицала даже остатки ее. Становился совершенно понятен отказ монашествующего офицера от ее прелестей и становилась непонятной зала с орихалковыми[452] статуями. После этого фильма ты совершенно утратила доверие к моему артистическому вкусу.

Помню также сборный концерт в консерватории, на который мы попали. Запомнился мне он особенно из-за двух обстоятельств: среди прочих пела Нежданова – как всегда, очень

хорошо, и, растроганный, а главное, каботинствующий, Александр Львович подошел к эстраде, попросил ее руку, прижал к щеке, пролил несколько слез и произнес: «Спасибо». Но главное, что мне запомнилось: конференсье, один из профессоров консерватории. Этот господин в безукоризненном фраке, в безукоризненном белье, явно презирал новую демократическую публику, что старался показать всем своим видом, всем своим тоном, вежливым и корректным, но... Будь моя воля, я вышиб бы его в два счета.[453]

Я не смог достать те материалы, на которые рассчитывал, и мне придется излагать события в высшей школе 1921–22 года по памяти. Я уже говорил о том печальном состоянии, в котором находились высшие учебные заведения, но не упомянул еще о положении студенчества. В теории студентам полагались стипендии, общежития, учебники и т. д.; на деле стипендии были ничтожны, пайки недостаточны и в качестве общежитий были предоставлены дома без окон и дверей. Трудно сказать, отчего это происходило. Наверху, несомненно, все были полны доброй волей (я имею в виду Совнарком и ЦК партии), но, когда дело спускалось вниз для осуществления, все менялось, и практика весьма отличалась от теории.

Между тем студенчество – и пролетарское, и непролетарское – несомненно хотело работать. Мне много раз приходилось с этим сталкиваться, и помню, как в ГУС М. Н. Покровский был невероятно поражен, что представители пролетарского студенчества вполне поддержали меня, когда я требовал более серьезного отношения к нуждам высшей школы. Один из них сказал: «Я – рабочий и, когда являюсь на работу, привык находить в надлежащем виде орудия труда и достаточное количество сырья. Меня послали в университет, и я ничего на месте не нашел. Все время нам кивают на них

(он показал на меня), но мы умеем разобраться, в чем дело, и находим, что товарищ

(кивок на меня) совершенно прав». Мне очень часто хотелось понять, в каком же месте механизма начинается этот странный саботаж. В голове Луначарского, если у него была таковая, или у него на языке? Или в голове у Покровского? Часто возникало желание взять палку и стучать по этим головам.

Во всяком случае, совершенно нестерпимое положение высшей школы вызвало серьезное брожение среди профессуры. Пока шла гражданская война, мирились со всем и делали свое дело, делали с героизмом, сами не замечая этого героизма. Кого из своих коллег я ни припомню, мысленно вижу людей изможденных, голодных, больных, но ежедневно месящих снег от Щипка до Марьиной рощи, чтобы дать молодежи некоторую долю знаний. Раз я встретил Алексея Константиновича Власова, который как раз шел из Института путей сообщения в Институт народного хозяйства и тащил на плечах пуд картошки, чтобы забросить по дороге домой. Встреча имела место на Мясницкой. «Несу жизнь и смерть», – сказал он мне, и, действительно, он нес и то, и другое. Его сердце было в очень плохом состоянии, не могло выдержать этого существования и действительно не выдержало.

На каждом факультетском заседании все эти вопросы поднимались в форме все более и более острой. От нас, представителей факультета, наши избиратели все чаще и чаще требовали обращения к властям.[454] Однако было совершенно ясно, что в Наркомпросе мы ничего не добьемся. Ни Стратонов, ни я не страдали недостатком мужества: мы испрашивали аудиенции. Получали обещания, слушали ласковые слова, но дела из этого не выходило. Новый ректор Вячеслав Петрович Волгин, человек очень хороший и благожелательный, после вступления в партию и назначения на этот пост почувствовал себя чиновником и даже робким чиновником. Уже не было речи о новом визите в ЦКК к Емельяну Ярославскому. Волгин боялся, что ему, партийному неوفиту, напомнят о «Русских ведомостях». Напоминания эти бывали, я слышал их сам: как-то после его выступления в ГУС один из беззастенчивых товарищей сказал: «Прекрасная передовица для профессорской газеты», – и Волгин скис.

Не только в университете, но и в других московских учебных заведениях имело место это брожение. Им оказались захвачены Московское высшее техническое училище, Межевой институт, 2-й университет, другие факультеты 1-го университета и т. д. Наши межфакультетские деканские совещания становились все более и более бурными, если можно применить это слово к тяжеловесному Спижарному и тщедушному Винаверу. Было ли в этом брожении что-то, внесенное извне? На заседании Совнаркома, куда несколько недель спустя нас, шестерых представителей московской и петроградской профессуры, пригласили для обсуждения положения в высшей школе, Дзержинский заявил, что движением руководила рука из-за границы. Этот вопрос я ставил себе, и не раз. Несомненно, в некоторых кругах были рады создать затруднения советскому правительству. Такого рода настроения я видел и неоднократно протестовал против них, но основной вопрос был не в этом: огромное большинство профессуры волновалось по совершенно серьезным основаниям.

Дзержинский ссылался на статьи в «Последних новостях», и это кажется мне передержкой. Как раз в то время, получив от Давида Борисовича Рязанова право читать все, что нужно мне, в библиотеке Института Маркса и Энгельса, я регулярно просматривал «Последние новости» и ничего не видел о положении высшей школы.[455] Весьма вероятно, что какими-нибудь путями (может быть, через ту же советскую прессу) Милюков узнал о волнениях среди профессуры и дал две-три информационные заметки. Но никаких «милюковских лозунгов» я не видел, и в нашем движении их не было. Если бы в Наркомпросе были люди со здравым смыслом в голове (недаром Ленин говорил: «Думать надо, товарищ Покровский, головой надо думать»), они должны были бы понять, что наше движение идет навстречу власти, и солидаризироваться с нами. Мы все хотели, чтобы советская высшая школа работала как следует. Власть должна была быть довольна, что профессора не ведут себя как чиновники, которым, по существу, все равно, что бы ни делалось. Этого, к сожалению, Наркомпрос не понимал, да и вне Наркомпроса понимали немногие.[456]

В ту осень 1921 года, когда усиливались волнения в высшей школе, было положено начало организации научно-исследовательских институтов при высших учебных заведениях. Несмотря на неудачу с Математическим институтом, я снова возбудил этот вопрос в более общей форме, и на этот раз мне удалось заинтересовать целый ряд лиц с авторитетом. Была образована комиссия, куда, помимо меня, вошли А. Д. Архангельский, Н. К. Кольцов и ряд представителей других физико-математических и естественных дисциплин.

Речь шла о том, как и где вести научную работу и подготавливать будущие научные кадры. В рамках университета при бюджете, недостаточном даже для организации практических занятий со студентами, на научную работу не отпускалось ничего. Те профессора, которые были связаны с различными ведомствами, получали оттуда кредиты на выполнение определенных заданий и ухитрялись часть денег использовать не по назначению. Но таких было меньшинство. Что же касается до подготовки к научной деятельности, все сходилось в том, что старый порядок оставления при университете никуда не годится: оставленный работал под руководством одного лица; никакого контроля занятий не было; программы магистерских экзаменов были шаблонны и на уровне науки, достигнутом полвека назад; экзамены сдавались по всем дисциплинам сразу, а успех их зависел от добрых отношений между профессорами. В подтверждение каждого из этих утверждений можно было привести и приводились примеры, весьма показательные, как достойных людей, которые проваливались, так и невежд, которые проходили и потом отравляли воздух в университете.

Мы решили поэтому ходатайствовать об учреждении научно-исследовательских институтов по каждой из дисциплин. Персонал институтов должен был состоять из «действительных членов», по научному разряду соответствующих профессорам (Н. А. Иванцов, который участвовал в наших совещаниях, протестовал против этого названия, находя, что странно называть «действительным членом» человека, который уже перестает быть таковым по возрасту, но большинство решило иначе); из «научных сотрудников 1-го разряда», соответствующих доцентам; из «научных сотрудников 2-го разряда», соответствующих

ассистентам, и из «аспирантов», соответствующих оставленным при университете.

Научно-исследовательские институты должны получать кредиты по Главнауке для научной работы и вознаграждения персонала, аспиранты – стипендии и пайки. Работа должна вестись коллективным образом; программы утверждаются советом института; совет заслушивает отчеты аспирантов; по окончании трех лет аспиранты должны представить самостоятельную научную работу и защитить ее перед советом института. После окончания аспирантуры молодой ученый должен отслужить некоторое количество лет в одном из высших учебных заведений или научно-исследовательских институтов. Программы для аспирантов должны состоять из двух частей: во-первых, обязательного ознакомления с данным циклом наук для того, чтобы быть в состоянии преподавать в высшей школе; во-вторых, специальной программы, вытекающей из интересов страны.

Нам было очень нелегко уговориться между собой, еще труднее убедить наших коллег; каждый из нас собирал частные совещания специалистов и ставил вопрос на обсуждение предметных комиссий и советов отделений. Против ожидания наше начинание встретило сочувствие в Наркомпросе, и нам были обещаны и кредиты, и «единицы», и стипендии для аспирантов. К этой организации многие относились отрицательно, а между тем через аспирантуру в научно-исследовательских институтах прошли тысячи молодых людей, ныне с честью работающих в высшей школе.

Мы сумели продвинуть организацию настолько быстро, что с начала 1922 года научно-исследовательские институты при Московском университете начали свою работу. Вслед за нами такие же институты были учреждены при Петроградском университете, а затем – и в провинции. Некоторое время спустя была учреждена ассоциация этих институтов. У нас была мысль превратить ее в своего рода Академию наук в Москве, которая пользовалась бы общественным доверием и могла бы действительно координировать научную работу, но по ряду причин это не удалось.

Наш Научно-исследовательский институт математики и механики состоял из 12 действительных членов, 12 научных сотрудников 1-го разряда и 20 аспирантов (потом число их было поднято до 50). Первым директором был выбран Б. К. Млодзеевский, вице-директором – Д. Ф. Егоров, генеральным секретарем – я. После смерти Болеслава Корнелиевича директором стал Димитрий Федорович, вице-директором – Н. Н. Лузин, а я оставался генеральным секретарем. Наша работа быстро и дружно наладилась и так и продолжалась, за исключением некоторых моментов.[457][458]

В ту же осень 1921 года было положено начало еще одной важной странице в истории нашей культуры: реально началось научное издательство. Я уже упоминал наше обсуждение создания сети научных журналов, которую после долгих мытарств в разных ведомствах удалось, наконец, поставить на ноги и привести к конкретному осуществлению. Первые отпечатанные книжки увидели только в 1922 году, но собирать материал начали с осени 1921 года, и для нас всех этот сдвиг был большой радостью.

Я говорю «всех» и ошибаюсь: были люди непримиримые, стоявшие на точке зрения «чем хуже, тем лучше» и считавшие, что незачем делать советской власти подарки, вроде научных журналов, научных монографий и т. д. К таким принадлежал Н. Н. Лузин: он был одним из четырех редакторов «Математического сборника» (трое других – Млодзеевский, Егоров и я), выдвинутых Математическим обществом и утвержденных Наркомпросом, но упорно не хотел давать в сборник свои работы и мешал это делать своим ученикам. Совершенно иначе поступал Димитрий Федорович: в стадии переговоров он мог обсуждать всевозможные точки зрения, выдвигать возражения, выслушивать их критику, но как только принималось общее решение, исполнял его честно и без задних мыслей. Много раз мы обсуждали с ним поведение Николая Николаевича и не находили достаточных слов, чтобы заклеить его.

Осенью 1921 года уже достаточно выяснились первые результаты НЭПа в том отношении, что уже заговорили о новых крупных состояниях, измерявшихся фантастическими цифрами. Вскоре мы встретились с этим осязательно: один из таких нэпманов, бывший секретарь Шмидта, хорошо знавший Архангельского и меня, предложил нам взять на себя редакцию нескольких серий научной литературы. Издательство должно было называться «Архимед».

Образовалась рабочая группа: Н. К. Кольцов, А. Д. Архангельский, П. П. Лазарев, Л. А. Тарасевич и я. Мы начали обсуждать две первые серии – «Классики естествознания» и «Современные проблемы естествознания» – и приступили к заказам первых книжек, когда вмешался новый заведующий Госиздатом О. Ю. Шмидт. Он вызвал нас всех к себе, равно как и своего бывшего секретаря, и заявил нам: «Дорогие товарищи, Госиздат никак не может потерпеть и не потерпит, чтобы такое важное начинание находилось в руках частного издательства. Советское государство вообще и его издательский орган в частности располагают всевозможными способами, чтобы поставить на своем. Я говорю об этом только так, для памяти

(взгляд на нэпмана) . Думаю, что и вам самим приятнее работать с огромным налаженным предприятием, чем с начинающим частным издательством». Мы согласились, и тогда Шмидт действительно предоставил в наше распоряжение очень широкие возможности.

Помимо [ведения] двух серий, мы превратились в коллегия научного отдела Госиздата, и вся научная литература стала проходить через наши руки. Конечно, первые книжки наших серий появились далеко не сразу, но появились, и их даже появилось довольно много, и они имели большой успех.[459]

Я давно не упоминал также научно-популярный отдел Госиздата, где Тимирязев-сын, Степан Саввич Кривцов и я образовывали весьма дружную коллегия. Вскоре к нам ввели четвертое лицо – некоего Росского, которого я хорошо знал по Парижу. Это был очень бородатый и очень смуглый брюнет, больше похожий на неаполитанского бандита, чем на настоящего русака, каковым был. Он оказался очень близок к семейству Луначарского. Близость эта особенно усилилась в Москве, где Росский предотвратил семейную драму, уведя от него жену Анну Александровну, сестру философа А. А. Богданова-Малиновского, и предоставив Луначарскому таким путем полную свободу для романов с балеринами.

На этот счет в Москве ходило много анекдотов, и вот один из них, грубый, но совершенно точно передающий атмосферу в Наркомпросе. Приезжает ответственный провинциальный работник в Москву; перед отъездом заходит в ЦКК к Ярославскому, и тот спрашивает его: «Ну как, успели все сделать, смогли всех повидать?» – «Да, в общем успел, – отвечает тот, – только вот, товарищ, надо вам как-нибудь вылечить желудок товарища Луначарского». – «А что?» – «Да вон, как ни зайдешь, все слышишь: или “они с Рутц” или “они с Сац”». Рутц и Сац были актрисы, фаворитки Луначарского, из которых вторая вышла за него замуж и была впоследствии причиной его немилости.

Росский был очень милым человеком, но негодным ни к какой работе. Поэтому вскоре он был снят из Госиздата и получил дипломатический пост за границей. После него к нам назначили Льва Соломоновича Цейтлина: это был меньшевик, то, что называется «советский» меньшевик. Я хорошо знал его по работе в 1906 году: после объединительного Стокгольмского съезда меньшевики слились с большевиками, и у нас в Замоскворецком районе появился «тов. Георгий», очень умный, большой эрудит, – брат Льва Соломоновича. Сам Лев Соломонович работал в так называемых трех Городских районах, и я познакомился с ним, когда перешел туда из Замоскворецкого. На общегородских конференциях к ним присоединялся еще третий – чернобородый «тов. Ипполит» (Цейтлин был с рыжей бородой), и они образовывали весьма опасную, для зарывавшихся товарищей, тройку, потому что обладали знаниями, логикой и умели говорить. В течение ряда лет Лев Соломонович работал в редакции нашего лучшего энциклопедического словаря – Гранатовского.[460] Там он

приобрел очень хорошие деловые качества, которые были очень кстати в Госиздате, и с появлением его от составления программы перешли к осуществлению ее.[461]

Я упомянул уже, в каком состоянии находились общежития для студентов. С общежитиями для проезжающих профессоров и научных работников дело обстояло так же. Осенью 1921 года мне как-то звонит Марья Натановна Смит-Фалькнер и спрашивает, знаю ли я астронома Неуймина. Я отвечаю, что лично его не знаю, так как он работает в Крыму – в Симеизе, но имя хорошо мне известно. «Очень хорошо, если так; он сейчас – тут, без сознания: у него тиф, который усилился от пребывания в общежитии, где окна выбиты». Мы с ней посоветовались, созвонились с университетскими клиниками, и Неуймина взяли туда. Это было для него спасением. Он выздоровел и побывал у Марьи Натановны и у меня, чтобы поблагодарить нас за своевременное вмешательство в его судьбу и за заботы во время его болезни. Несколько позже, через год, я имел возможность оказать ему другую, очень серьезную, услугу, которая осталась ему неизвестна и о которой я расскажу в свое время.

Другой случай этого же рода имел место с профессором-математиком Николаем Митрофановичем Крыловым. Я познакомился с ним в Париже в 1911–12 году на лекциях Пикара и Пуанкаре. В то время я был бедствующим студентом, а Николай Митрофанович – благоденствующим профессором Горного института в Петербурге и очень богатым человеком. Случайно он сидел рядом со мной, и мы с ним перекинулись несколькими замечаниями. Крылов очень любезно представился и очень быстро охладел, когда узнал мое нелегальное положение. Он как раз искал человека для переписывания его рукописей, и мои друзья предложили ему меня. Крылов ответил, что из-за нескольких сотен франков эмигранту не желает ссориться с правительством. И вот судьба захотела, чтобы этот человек очутился в Москве в том же самом общежитии с выбитыми окнами – и с сильнейшим плевритом. Поместить его в больницу не пришлось, так как против этого он всеми силами протестовал, и все, что я мог сделать, – перевести его к себе и лечить на дому. Он пробыл у меня больше месяца, выздоровел и уехал в Петроград с изъявлениями вечной благодарности и вечной дружбы. С ним мы еще неоднократно встретимся.[462]

Положение в высшей школе обострилось настолько, что профессура решила устроить общее собрание, выбрать комитет, который должен был вместе с тем явиться делегацией перед властями.[463] Заседание состоялось, весьма бурное, и выступления принимали острый характер. Скворцов-Степанов, старый большевик, а ныне (1921 год) – профессор на факультете общественных наук, вдруг задал вопрос: «А как поведет себя этот комитет, если Москва будет захвачена белыми?» Я ответил ему: «Вероятно, не хуже, чем вели себя многие комячейки на юге во время гражданской войны». Мне говорили потом, что моя реплика была воспринята болезненно, потому что была в больное место. По моему адресу раздались крики: «Ренегат». Усердствовал доктор Ружейников, которого я еще недавно знал на фронте как меньшевика, а ныне он был коммунистом. Я ему ответил: «Ренегат – тот, кто присоединяется к партии после того, как она завоевала власть, а я наоборот, отдав партии годы борьбы, годы тюрьмы и эмиграции, не гонюсь ни за властью, ни за почетом, даю свои силы и свой труд, но хочу, чтобы это было не зря и не впустую». Он замолк, и перешли к делу.

Председательствовал профессор медицинской химии Владимир Сергеевич Гулевич, бывший ректор. Выбор был очень удачен. Это был человек корректный, деликатный, но твердый и авторитетный председатель. Он выражался всегда мягко, не раздражался, моментально улавливал смысл сказанного, хорошо помнил все, что говорилось, и все внесенные предложения, прекрасно резюмировал прения и очень толково проводил голосования. Сначала он дал всем высказать поводы для недовольства.

Я снова взял слово, чтобы дать характеристику ректоров – Боголепова и Волгина. Первого сравнил с щедринским градоначальником; сейчас я уже не помню, какой именно из «глуповцев» на него походил, но сходство было несомненное; все смеялись, и он сам. О Волгине я сказал: «Он совершенно не похож на своего предшественника; ни один из нас не

заподозрит его порядочности, и я сам доверю ему все: жену, кошелек, библиотеку. Но высшей школы ему доверить нельзя; в ней он ничего не понимает, и если иногда ему случается иметь здравые мысли, он не обладает достаточным характером, чтобы провести их в жизнь. Приходится сказать, что он хуже своего предшественника».

Очень остроумно говорил Димитрий Федорович [Егоров]. С большим подъемом говорил химик Шпитальский, которому отрезали ногу после того, как он, везя на санках свой паек, попал под автомобиль. После прений было принято решение выбрать делегацию: выбраны В. С. Гулевич, В. В. Стратонов, А. Д. Архангельский и я, и затем прибавлен Д. Д. Плетнев.[464]

Делегация должна добиться свидания с Лениным, а пока было решено прекратить занятия. С протестом против этого выступил академик Алексей Петрович Павлов, геолог. Он сказал: «Я согласен, что положение – трудное и скверное; согласен со всем, что тут говорилось о бедственном положении профессуры. Но мы ведь – не шкурники, и даже если мне будет нечего есть, я все равно приду в университет делать свое дело». – «Очень хорошо, – ответили мы ему. – Мы вас очень хорошо понимаем и сами испытываем боль при мысли о прекращении занятий, но, любя университет, считаем, что забастовка неизбежна. Во всяком случае, переговоры с правительством нужны, и, чтобы показать наше уважение к каждому искреннему мнению, мы просим вас присоединиться к делегации». Таким образом Павлов стал шестым членом делегации, и мы стали добиваться приема в Кремле.[465]

Вопросом о приеме в Кремле занялся профессор Плетнев,[466] который лечил, и успешно, многих из народных комиссаров, в том числе заместителя председателя Совнаркома Цюрупу. Мы хотели во что бы то ни стало видеть Ленина, но Горбунов, управляющий делами Совнаркома, сказал нам, что Ленин слишком тяжело болен и видеть его невозможно.[467] «Впрочем, – прибавил он, – А. Д. Цюрупа вполне правомочен, чтобы с вами разговаривать, и уже вопрос обсуждался в Совнаркоме, и именно ему дано это поручение».

Плетнев, со своей стороны, уже переговорил с Цюрупой и получил для нас аудиенцию. Сам Димитрий Димитриевич уклонился от участия в этом разговоре, сказав, что он уже изложил свою точку зрения (которая вполне совпадала с нашей). Мы спросили, находится ли Цюрупа в «каннибальском» настроении по отношению к нам. «Нисколько, – ответил Плетнев, – он только огорчается, что дело это возникло в очень неудобный момент, перед международной конференцией в Генуе».

В назначенный день[468] мы распределили между собой роли (председателем делегации и первым оратором должен был явиться В. С. Гулевич, и каждый из нас должен был дополнительно говорить, каждый – в пределах своей компетенции), сели в присланный за нами автомобиль (я помню, с какой тревогой ты провожала меня, и вообще это время было для тебя полно волнений) и поехали в Кремль. Дело было к вечеру. После бесчисленных переходов по зданию Судебных Установлений (первый раз я был в нем в 1906 году, когда мы организовывали неудавшийся побег для одного из наших бомбистов) нас ввели в кабинет к Цюрупе. На первый взгляд казалось, что он сидел один, но на самом деле за ширмой сидели стенографистки.

«Ну, бунтовщики, рассказывайте, в чем у вас дело», – обратился Цюрупа к нам. Владимир Сергеевич Гулевич начал именно с этого, заявив, что мы ни в какой мере не являемся бунтовщиками, а что мы – просто люди, которые желают делать наилучшим образом свою работу на общую пользу и которым в этом не только не помогают, но мешают. Указав затем на академика А. П. Павлова, он объяснил, что в вопросе о забастовке у нас нет полного единодушия и для тех, кто за забастовку, это средство также неприемлемо, как и для тех, кто против, но в основном вопросе о тяжелом, невыносимом положении высшей школы, учащихся и учащихся, у нас двух мнений нет, мы все между собой согласны. После этого выступления весьма сдержанно и корректно, но замечательно выпукло и ясно он изложил все наши поводы для недовольства.

Цюрупа помолчал и затем сказал: «Почему же вы молчали? Неужели вы не могли обратиться к Наркомпросу?» Тут заговорил я, указав, что являюсь членом Государственного ученого совета, что на очень многих заседаниях я обращал внимание Наркомпроса на положение и всегда безрезультатно, что после моей поездки в Петроград по поручению Наркомпроса я подал Луначарскому и Покровскому докладную записку о положении высшей школы и научных работников в Петрограде, упомянув о том, что Москва мало чем отличается от Петрограда, и что сейчас, через 8 месяцев после моей поездки, я ничего не знаю о судьбе моей записки и не вижу никаких практических результатов. Я рассказал затем о глупости и несообразностях в политике Наркомпроса, об отсутствии у Луначарского интереса ко всему, что не касается искусства.

Цюрупа помолчал еще и пригласил других членов делегации высказаться столь же откровенно, прибавив, что нет ничего лучше взаимного доверия для того, чтобы ликвидировать недоразумения. В ответ на это говорил еще Стратонов, довольно долго; А. П. Павлов ограничился коротким заявлением, что ему было очень больно разойтись с коллегами по поводу забастовки, но, по существу, он совершенно согласен со всем, что было сказано. А. Д. Архангельский также сделал короткую декларацию. Затем мы передали Цюрупе докладную записку, и он сказал в ответ, что передаст Совету народных комиссаров все, что выслушал. Сам он считает, что все наши пожелания могут быть легко удовлетворены; счастлив, что представители науки заявляют о своей полной готовности работать для социалистического государства, и надеется вскоре сообщить нам очень приятные вести. После этого мы с большой сердечностью расстались с ним, и те же кремлевские автомобили развезли нас по домам. Ты была очень обрадована моим возвращением и сказала, что у тебя были очень большие опасения относительно моей участи.[469]

После этого визита к Цюрупе Москва была полна всевозможных слухов. Д. Д. Плетнев, как всегда, из высоко осведомленных источников принес ряд сообщений, из коих вытекало, что в общем разговор шел между двумя перепуганными группами; правда, перепуг был не одного порядка. Советское правительство, в момент Генуэзской конференции, не желало иметь у себя под ногами профессорскую забастовку, и было решено сделать все, чтобы ликвидировать ее безболезненно. Что же касается до профессуры, то, конечно, перепуг собственной смелостью был, и, несмотря на благожелательный прием у Цюрупы, опасения за дальнейший ход дела, как и за собственную судьбу, были у очень многих.

Вместе с тем движение расширилось, и ряд высших учебных заведений в Москве и провинции заявил о солидарности с Московским университетом. Петроград, город чиновничий, как всегда, шел в хвосте, но и там имели место изъявления солидарности, например – в Технологическом институте. Университет выжидал, а Политехнический институт, возглавляемый законопослушными и осторожными академиками (Иоффе, А. Н. Крылов), был совершенно определенно настроен по-«желтому».[470] «Помилуйте, разве можно ссориться с начальством», – говаривал неоднократно А. Н. Крылов.

Явочным порядком, как это всегда бывает, образовался совет представителей высших учебных заведений. Тут уже мы, университетские, тонули среди техников, равно как и мы, советские, тонули среди реакционеров. Мне неоднократно приходилось очень резко реагировать, когда некоторые представители (например, представитель Межевого института) заявляли, что дело нашей организации – бороться с коммунистами. И Гулевич, и я, и Стратонов, и Архангельский систематически отстаивали ту точку зрения, что наше движение должно помочь советской власти в упорядочении крупного участка культурного фронта, каковым является высшая школа и научная работа.

Нам оказывали сопротивление лица, впоследствии, во все моменты, падавшие к ногам, лизавшие... и согласные со всем, что бы ни делалось. Был один очень почтенный человек, по кличке Трипетрил, а на самом деле – Петр Петрович Петров, профессор химии и директор Политехнического музея, который говаривал: «Вот мне уже за восемьдесят, и я надеюсь

добраться до девяноста, а почему? А потому, что с начальством всегда жил в мире».

Ходили слухи, что один из нас будет назначен, вместо М. Н. Покровского, заведовать и Академическим центром, и Главпрофобором. Ходили слухи, что будет создан при Наркомпросе специальный совет с участием выборных представителей профессуры для обсуждения и решения всех, нами поднятых, вопросов. Ходили и другие слухи, что Дзержинский неистовствует и находит, что все движение возбуждено из-за границы и что хорошая репрессия все приведет в порядок.

Нам пришлось видеться с очень многими деятелями. Горький отнесся к нам с высочайшим сочувствием[471] и обещал устроить свидание со Сталиным.[472] М. Н. Смит-Фалькнер, сохранившая и доверие, и симпатию ко мне – бунтовщику, передала мне привет и сочувствие от Сталина, с которым она была в большой дружбе. О. Ю. Шмидт очень интересовался ходом нашего дела и, хотя и с оговорками, находил, что мы правы. Члены нашего расширенного комитета, работавшие в Госплане, вели агитацию, и очень успешную, среди коммунистов-плановиков. Только Д. Д. Плетнев поговаривал (и был прав): «Куй железо, пока горячо», – но, где железо и чем его ковать, не указывал. Так дело дотянулось до конца 1921 года.[473]

Мой дневник в той части, где я говорю о московских годах, как будто мало говорит о тебе. Но это не так. Те годы были очень трудные. Мне приходилось очень много работать и отсутствовать, но все это было на фоне нашего счастья. Где бы ни был, я думал о тебе. Откуда бы ни возвращался пешком, в трамвае или на автомобиле, я всегда радовался, что сейчас увижу тебя. И для меня всегда было большим огорчением, если тебя не оказывалось дома. А это бывало: ты жила со своей семьей и в значительной мере ее интересами. Тебя часто утаскивали к родственникам, знакомым, в театры, и я всегда был этим доволен. Мне всегда хотелось побольше радости для тебя.

Я подошел к концу 1921 года. Праздники мы проводили дома. Была елка; к Кате приходили ее знакомые – танцевать, и мы приютили Кирфедда – Кирилла Федоровича Огородникова, который не имел уюта в новой семье своего отца. Дни рождественских каникул Кирфедд проводил у нас, играл на рояле фокстроты и другие танцы того же типа, которые я находил отвратительными, но молодые веселились и танцевали. Я не помню, где мы встречали Новый год; кажется, у тети Аси. НЭП позволил им стать снова на ноги: Константин Леопольдович организовал маленькое производство, а для жилья купил гараж и превратил его в очень уютную квартиру с огромной столовой. Было ли это в 1921 или 1922 году, но Новый год у них мы встречали очень роскошно.

Столы ломились от еды и напитков, гостей было очень много и все прошло очень весело. Константин Леопольдович провозгласил тост за здоровье лучшей женщины в мире и галантно поцеловал руку Анны Сергеевны. Он был прав в том отношении, что у тети Аси – прекрасный характер, много такта и доброты, и кругом нее всегда была атмосфера уюта. Танцевали всю ночь. Я сидел, читал романы, разговаривал то с тем, то с другим, смотрел на тебя и радовался, что ты танцуешь, а не лежишь в постели с ревматизмом, что тебе весело. Ты же время от времени подходила «проверить свое имущество» и ласково трогала мою голову. Утром, уже при дневном свете, по свежему снежку мы весело побежали домой.[474]

Мы вступаем в 1922 год, тоже очень богатый событиями: созыв совещания при Наркомпросе по делам высшей школы; конфликт с Наркомпросом;[475] подача докладной записки Рыкову; беседы с Кржижановским, Рыковым; совещание с петроградцами, подача совместной с ними записки; нас вызывают на заседание Совнаркома, и там «беседа» в некоторые моменты принимает драматический оборот.[476] Начинается распад и упадок настроения. А. И. Некрасов назначается в Главпрофобр. Однако можно констатировать и значительное (хотя и недостаточное) улучшение.

Научно-исследовательские институты крепнут. Комитет по организации астрофизической обсерватории превращается в Астрофизический институт. Геофизический институт расширяет работу, но начинается склока внутри и с Петроградом. Появляются научные журналы и книги. Институт научной методологии влачит существование. Курская магнитная аномалия: внутренние конфликты; работа идет успешно; поднимается и погашается история с рукописью Лейста. Госиздат: приезд Вениамина Федоровича Кагана и конфликт с ним, скоро улаженный.[477] Неожиданные аресты и высылки за границу. Летние каникулы в Бабурино. Поездка в Петроград на Метеорологическое совещание в качестве представителя Наркомпроса.[478] Свидание со Стратоновым.[479] Появление Коли Юденича и дальнейшее. Выборы декана: факультет и большинство предметных комиссий избирают меня...[480]

Во Франции

(1940–1948)

1940 год

Итак, я начинаю с апреля – мая 1940 года, то есть с конца dr?le de guerre.[481] Нужно ли припоминать все те глупости и измышления, которыми были полны газеты. Начну с немецкого пророчества, перепечатанного в начале апреля и встреченного общими насмешками: «В середине июня немецкие войска будут в Париже».

Пасха в 1940 году была ранняя, 24 марта, и около Пасхи дочь Тони[482] – Таня – появилась на свет. Нечего удивляться, что они в твоём Agenda[483] фигурируют на каждой странице. Ты не была бы самой собой, если бы в эти дни не позаботилась о нашем лучшем друге.

Так закончились каникулы, и ты опять была поглощена практическими занятиями в Сорбонне, а я выполнял работу по заданиям Fr?chet для национальной обороны. В газетах печатались сравнения: шел восьмой месяц войны, и сравнивалось положение на восьмой месяц той войны с этим апрелем. Оптимизм, оптимизм и оптимизм!!!

9 апреля приехал с фронта Игорь Марш-Маршад со свежим Croix de guerre,[484] но с пессимистическими речами; из своей практики в передовых отрядах особого назначения он вынес впечатление, что немцы гораздо сильнее, чем думает публика, и еще не проявили своих возможностей.

Между тем разразилась норвежская «бомба», [485] которая показала полную непригодность и военную неподготовленность союзников. Сейчас смешно вспоминать все те объяснения и оправдания, которые давались ответственными лицами и прессой. Именно в эти недели мы виделись со многими белоэмигрантами (дядя и тетушка Игоря Марш-Маршада, Потемкин, Катков и т. д.) и были поражены их германофильскими настроениями.

В конце апреля приехал в кратковременный отпуск Пренан. Он работал в большом штабе (армии), был настроен критически, но положения не понимал так же, как и простые смертные. Перспективы ему представлялись в виде затяжной войны того же типа, как и в предыдущие месяцы, и для него персонально предвиделась серия кратковременных отпусков.

О возможности немецкого наступления через Голландию и Бельгию явно никто не знал и не думал – ни справа, ни слева. Происшествие в Норвегии рассматривалось просто как

разбойничий набег без больших последствий.

Наступил май, и положение стало резко меняться еще до вторжения немцев в Голландию и Бельгию. Почувствовалась в воздухе какая-то неуверенность, какое-то ожидание чего-то. Когда выяснилось, что это – нападение на Бельгию и Голландию, все даже обрадовались, и приказ генерала Гамелена[486] нашел полное одобрение публики.

Еще бы! Со времени той войны уж эта-то возможность должна быть разработана и предусмотрена в Генеральном штабе во всех деталях, а всем известно, что *École Militaire*[487] – первая генштабистская школа в мире. Правда, «линия Мажино»[488] не доведена до моря. Но существует бельгийская оборонительная линия, и притом на укрепление границы за восемь месяцев было затрачено вдвое больше бетона и других материалов, чем на «линию Мажино». И цифры были опубликованы! Все ждали сообщений о большой победе в Бельгии, но сообщения не приходили.

Не помню точно, какого числа, – кажется это было на *Pentecôte*,[489] 12–13 мая, – мы поехали с Quintanilla и его женой в натуралистскую колонию где-то за *Saint-Remy*. [490] За исключением вегетарианского питания, прогулка была очень приятная. То одни, то с ними мы погуляли по лесам, провели очень хороший день и поздно вечером возвращались в Париж. И тут из свежего номера вечерних газет мы узнали, что происходит действительно что-то новое: о военных действиях ни гу-гу, но немецкие авионы[491] бомбардировали ряд крупных и мелких французских городов. Большие разрушения и много жертв. Раньше этого не было – они церемонились. Что же произошло, что позволило им не церемониться?

Приблизительно в середине мая еще сюрприз: бои у Седана. Что это значит? Каким образом немцы, которых успешно сдерживали в Голландии, Бельгии и Люксембурге, появились у Седана? Не ошибка ли, нет ли другого Седана? Не может же быть, чтобы у французов создалась привычка терпеть решающие поражения у Седана! И я помню, как мы с тобой долго возились со словарями и картами, чтобы понять, в чем дело.

Вместе с тем прекратились письма от Пренана и началось беспокойство о нем. *M-me Prenant* (эта женщина во все времена и всюду была ниже всего) не видела никаких поводов к беспокойству и считала начало поисков излишним. Нечего делать, мы сами предприняли поиски, – пока без результата. Каждый день этого мая, на редкость прекрасного, уносил какую-нибудь надежду и приносил какую-нибудь гадость.

Всегда со страхом мы слушали по радио голос *Paul Reynaud*, сообщавшего что-нибудь совершенно неожиданное. От времени до времени я заходил обмениваться информацией к *Rabaud* в его лабораторию, и мы старались даже определить дату появления немцев в Париже. «Что же, может быть, придется пожать руку Гитлеру?» – говаривал *Rabaud*. «Ну уж нет, – отвечал я, – придется вести партизанскую войну». – «Для этого мы, французы, не годимся, – возражал *Rabaud*, – *nous aimons trop nos aises*[492]». – «Об этом придется забыть», – отвечал я, и мы расставались.

Многие события конца мая напоминали роман *Pierre Dominique*, кажется, «В дни кометы». [493] Торжественное молебствие святой Женевьеве на *Parvis de Notre Dame*[494] с участием *Daladier* и других министров, атеистов и антиклерикалов, показывало, что, действительно, сопротивление кончено, хребет перебит и настали последние времена.

Но публика все-таки была настроена легкомысленно. Исчезали некоторые линии автобусов, и публика радовалась: повторение истории с парижскими такси, только на этот раз с автобусами, – вот увидите, будет победа. Наконец, исчезла и последняя линия – наш 91-й [маршрут].

Производились панические полицейские операции. И к нам вечером, часов в одиннадцать, ввалилась полиция – искать оружие и подозрительных лиц. Наш *square*[495] был наполнен

фургонами, а фургоны – подозрительными иностранцами. Нас спасло сорбоннское удостоверение о моей работе на национальную оборону.[496]

В воскресенье 2 июня мы отправились на Foire de Paris[497] у Porte de Versailles[498] и там купили переносные табуретки для сидения в подвале во время воздушных тревог. Как раз за час до нашего прибытия на выставку имела место воздушная тревога, и немецкие авионы сбросили на выставочную территорию афишки такого содержания: «Парижане, пользуйтесь последним спокойным воскресеньем, которое вам осталось. Скоро мы будем у вас».

Применить эти табуретки нам пришлось на следующий же день – в понедельник 3 июня. Это был день, который ничем как будто не отличался от всех других, и, однако, именно он переломил что-то в общественных настроениях. Короткая тревога после полудня прошла, как и все прежние: быстрый спуск с вещами в убежище; там – обычная публика и обычные разговоры и обычные звуки, потому что в подвале не различишь пушек D.C.A.[499] от закапризничавшего мотора. Однако, выйдя на улицу, я сразу понял – что-то произошло: головы у прохожих как-то иначе поставлены и тон иной.

Оказывается, было сброшено довольно много бомб, и жертв много – военных и гражданских. Один из курьезов – прерванный завтрак в министерстве авиации: посол Соединенных Штатов Буллит завтракал у министра авиации Laurent Eynac, каковой несомненно являлся военной мишенью; немецкая бомба нарушила t?te-?-t?te,[500] проскочив через потолок и пол вниз, не причинив вреда, но доставив высоким гастрономам[501] несколько минут серьезного волнения с желудочно-кишечными неприятностями.

Газеты – полны рассказов об эвакуации Dunkerque,[502] а из Парижа бегут, пока на шикарных автомобилях. Остающиеся смотрят, и, конечно, их пешеходная эвакуация тоже скоро начнется. В среду 5 июня – последний акт в эвакуации Dunkerque, что рассматривается как большая победа. Почему? И никто не понимает – это развязывает немцам руки.

Начинается новый вид паники: отсылка вещей в провинцию. Отсылаем и мы, но вопрос – куда? 5 июня мы поехали к Marcel Benoid, и он согласился дать нашим сундукам приют в своем семейном доме в Lempdes в Оверни. На следующий день 6 июня мы отправляем их. Операция трудная: в городе нет такси, и только после долгих поисков к трем часам дня я нахожу машину. Мы отвозим вещи на товарный вокзал, где, увы, прием грузов закрылся в два часа дня. Нам предлагают обратиться в частное агентство Malissard. Новое путешествие. После очень долгого торга и распределения чаевых агентство соглашается взять наши вещи и, как выяснилось позже, вполне добросовестно исполнило свои обязанности.

На обратном пути заглядываем на Gare Austerlitz:[503] он запружен толпой, пригнанной ветром паники. Хвосты – длины и ширины невероятной. Никто не знает, в котором часу будут выдавать билеты и на какие направления, но все покорно стоят и ждут, а мимо проезжают к югу шикарные автомобили.

«La bataille de France»[504] продолжается, по газетам, на «линии Weygand»,[505] и о ней газеты говорят очень серьезно: «последний козырь Франции». Этого мы никогда не поймем во французах. Зачем были нужны словесные украшения, излишние и при победе, и при поражении? Зачем были они нужны, когда мы знаем теперь, что с середины мая «la bataille de France» была проиграна и что в начале июня никакой линии Weygand не было.

Очень хорошее представление о том, что происходило, дает рассказ русского военного летчика С[акова?], которого я знал еще во время той войны. Как только началась эта война, он поступил во французскую армию добровольцем, надеясь, что ему дадут авион, и ему это обещали, а, на самом деле, всю войну он проработал как шофер грузовика. Итак, в один из дней конца мая С. получил поручение поехать из департамента Somme, где находился, куда-то к югу за грузами. Едет спокойно по route nationale,[506] – его перегоняет танк, один,

другой, третий... Он смотрит: что за притча? Немцы, немецкие танки, которым тут, казалось бы, неоткуда взяться. Продолжают катиться, и не обращают на него никакого внимания.

С. доезжает до ближайшей route de grande communication,[507] сворачивает в сторону и выезжает на дорогу, параллельную его первоначальному направлению. Катится по ней с максимальной быстротой. Через некоторое время сворачивает, попадает на прежнюю route nationale, убеждается, что немцы остались далеко позади, и катится к югу во всю скорость, чтобы добраться до французских сил. Он находит, что искал, у моста, охраняемого батальоном пехоты, артиллерией в приличном количестве и несколькими французскими танками.

Полевая жандармерия очень долго и придирчиво просматривает его документы. С. теряет терпение и говорит: «Кончайте, я ведь с самого начала предупредил, что должен сделать здешнему командиру срочное сообщение». – «Вы сделаете его нам», – отвечают жандармы. «Так вот, немецкие танки находятся в получасе отсюда». Жандармы моментально бросили его и побежали к полковнику. Никто не спрашивал, сколько танков, какие силы. Пехота, артиллерия, танки и жандармы немедленно снялись с места и двинулись к югу. С. пожал плечами, сел на свой грузовик и тоже отправился туда. Худшей паники и худшего беспорядка за свою боевую жизнь никогда он не видел.[508]

В субботу 8 июня у нас завтракал Marcel Benoid. Он как будто был в нерешительности: с одной стороны – желал остаться в Париже, с другой стороны – патрон звал его эвакуироваться на юг. Я записал в тот момент: «равнодействующая ясна», – так оно и было. Пришла M-me Pasaud. Она тоже в колебании, но большей амплитуды, и положение ее было трудное. Муж, ?I've-officier,[509] находился пока в Vincennes,[510] но ожидалась эвакуация на юг, и он настаивал, чтобы жена тоже уезжала. Но как ей, при ее физической беспомощности, осуществить это? Она твердо надеялась, что ее учреждение позаботится о ней, а пока искала, с кем бы связать свою участь.

На следующий день в воскресенье 9 июня радио и газеты продолжали твердить о стойкости французской армии на линии Weygand, каковая уже давно и географически, и морально, и физически перестала существовать. Продолжался этот колоссальный обман общественного мнения, который никого не обманывал. Пришла Тоня – посоветоваться и спросить, что мы будем делать. Пришла M-me Pasaud и сообщила, что муж со своей школой эвакуирован в Бордо, она видела его перед отъездом, и что министерства покидают Париж. Это заставило и нас встрепенуться. Звонок в Recherche Scientifique[511] подтвердил известие.

Мы побежали на Quai d'Orsay.[512] Улицы были пусты, и все пахло паникой. Такси проезжали, наполненные вещами и людьми. Местами, у учреждений, камионы[513] и автокары[514] грузили эвакуируемых служащих. С трудом находим такси, и вот мы – в Recherche Scientifique. Обстановка пожара: спускаются спешно ящики, забиваются, грузятся. Канцелярские служащие действительно эвакуируются на камионах; что же касается до научного персонала, то ему предоставлена возможность использовать свои средства. После переговоров с большим трудом соглашаются дать нам удостоверения о неимении препятствий к выезду.

На обратном пути заглядываем на Gare d'Orsay.[515] Толпа – у касс, толпа – у платформ. Для отъезда, увы, нужен sauf-conduit.[516] Отправляемся в комиссариат. Это учреждение не изменило ни вида, ни нравов: чтобы получить sauf-conduit, нужно иметь заверенное удостоверение с места назначения о согласии нас принять; после представления этого удостоверения нужно ждать от 8 до 10 дней. Эта бюрократическая жвачка преподносится нам с крайней грубостью и издевательством: «Почему собственно вы не хотите остаться с вашими друзьями-немцами?»[517]

Направляемся к дому и по дороге заходим к M-me Pasaud. Ее нет. Сестра ее – польская

беженка, уже проделавшая путь из Польши через Румынию, – готовится к отъезду в Angers.[518] В глазах ее – застывшее безвыходное отчаяние: она ничего не знает о судьбе мужа – офицера разбитой польской армии. Два поляка, оба – военные, дружески разговаривают с нами, забыв, что мы – русские. От них мы узнаем, что несколько старых авионов, защищающих Париж, – польские, с польскими летчиками.

Все мы сходимся на одном, что, как ни верти, вступление немцев в Париж – вопрос дней. Вспоминаем историю той войны и план Joffre отступить до Луары и дать там решительный бой. Надеемся, что линия Сены будет защищаться, что для нас весьма существенно: мы надеемся добраться до Roscoff и лаборатории.[519] При луарском варианте Бретань оставлялась немцам, и эвакуация в Roscoff была бы невысказана. Приходит M-me Pasaud. Ее попытки уехать пока безрезультатны, но менее безрезультатны, чем наши, ибо она все-таки имеет теоретическое право на железнодорожный билет, а мы – нет.

10 июня – день моего рождения[520] – в твоём Agenda отмечен ласковой пометкой: «Вуся»... Утром мы звонили Fr?chet относительно эвакуации. Он сказал, что ничего пока не знает, но подумает, и чтобы мы зашли в Institut Poincaré?.[521] Приходим туда. Картина! Двор загроможден автомобилями со всяким скарбом. Коридоры тоже загромождены скарбом – домашним и общественным, а также пробегающими взад и вперед светилами науки и научной администрации. Все признаки приготовления к бегству.

Находим, наконец, Фреше. Он нервен и тороплив. Дает совет обратиться в Mus?e P?dagogique[522] к директору его M[onsieur][523] Couffignal, который выпроваживает из Парижа всякие научные ценности, в особенности – живые. Мы находим этого весьма любезного человека в его обширном кабинете. Он окружен цветником очень красивых dactylo[524] и находится в состоянии непрерывного флирта. «Господин Костицын? Но я вас очень хорошо знаю; помилуйте, ваши работы по математической биологии... Конечно, я сделаю все, чтобы вы и ваша супруга получили места...».

Ждем. По мере хода часовой стрелки обещания убывают, как шагреновая кожа. Конечный результат – к четверем часам дня: неопределенная бумажка за подписью Fr?chet, говорящая о замке около Blois,[525] куда эвакуируются математики. Эта бумажка в один острый момент все-таки пригодилась. Мест же в автомобилях нет, – надо перемещаться «своими средствами». Идем в Сорбонну. Узнаем от Мау, что секретариат Сорбонны эвакуируется в Roscoff; что же касается до персонала лабораторий – «своими средствами». Гарсоны едут на автомобилях, научные работники – пешком. Отпала еще одна надежда.

Несмотря на крайнюю усталость, идем на rue Sarrette заверять подпись Fr?chet. Толпища. Комиссар (здесь – добродушный) заверяет нашу бумажку и осведомляет, что для иностранцев остаются еще в силе прежние правила. В толпе – слухи самые фантастические, но которые уже не кажутся невероятными... На пути обратно встречаем M-me Pasaud с вещами: ее администрация – в стиле нашей – удирает и предоставляет сотрудникам использовать «свои средства». К счастью для нее, ей удалось получить билет, и она торопится к поезду. Радости у нее нет: есть предчувствие (к счастью, не осуществившееся), что все ни к чему, что вся ее жизнь разрушена.

Дома слушаем радио. Завершение сумасшедшего дня – речь Paul Reynaud о вступлении Италии в войну. Каким весом ляжет эта новость на тех солдат, которые еще не обескуражены до конца?[526]

Рано утром во вторник 11 июня первый и единственный раз у тебя проявилась усталость и обескураженность – осадок предыдущих дней. Ты открыла ставню и взволнованным голосом прокричала мне: «Иди, иди смотреть, что делается! Бежим, бежим немедленно! Соберем вещи и бежим, как есть». Зрелище было действительно единственное в своем роде по мрачности: над городом нависла мгла, бледноватая и, вместе с тем, темная и

малопрозрачная; это был не туман, не облако, не дым, но пахло гарью.

После первого волнения и некоторого спора ты согласилась со мной, что бежать просто так было бы неразумно. Мы позавтракали, и я вышел на рынок. Картина – паническая и тоже единственная в своем роде: прекрасные фрукты продаются ни по чем; мяса нет, масла нет, но великолепные куры и гуси отдаются почти даром, и никто не берет. Покупаю газеты – последние парижские свободные газеты. Возвращаюсь, и мы снова начинаем обсуждать вопрос, что же делать. Остаться с немцами, которые близко, неохота. Помимо личных причин мы хотим быть полезными стране, где прожили столько лет, а это возможно только к югу от Луары, куда переносится все...

Я все-таки высказываю соображение в пользу того, чтобы остаться: двигаясь своими средствами, то есть ногами, мы вряд ли сможем добраться до Луары раньше, чем через пять дней, а немцы, конечно, двигаются быстрее и нагонят нас. Вопрос о том, перейдут ли они Сену, для нас ясен: конечно, да, если уже не перешли. Что сделают они затем? Я утверждаю, по памяти о 1914 годе, что или они пренебрегут Парижем и обойдут его с юга, чтобы отрезать отступление французской армии, или быстро пройдут через него и направятся к югу. Для нас практический результат будет тот же самый: они нагонят нас где-нибудь между Парижем и Орлеаном. Здравый смысл говорит, что лучше сидеть дома.

Придя к соглашению, мы решаем все-таки, на всякий случай, приготовить вещи. Чтобы посмотреть, что делается, ты берешь велосипед и отправляешься на Gare Austerlitz. Находишь то, что мы уже видели: колоссальные толпы, никакого порядка, никаких перспектив для отъезжающих; встречаешь там Mlle Constantin и уговариваешься, что она присоединится к нам, если мы решим все-таки двигаться. К двум часам приходит Тоня. Говорит, что она решила уходить и, может быть, удастся даже уехать на камионе – провиденциальном[527] камионе, принадлежащем одному из приятелей Марселя. Зовет нас эвакуироваться вместе, и мы решаем встретиться у них на следующее утро. Прodelываем еще раз укладку: свертки оказались слишком тяжелы, чем-то нужно пожертвовать.

После очень беспокойной ночи – D. C. A. и разрывы бомб – наступает утро, среда 12 июня. Встаем очень рано. Быстрый завтрак и торопливый уход после прощального взгляда на наше жилище, где каждая вещь далась с большим трудом и все приспособлено к нашим вкусам. В городе – атмосфера паники, уже виденная в предыдущие дни, но достигшая максимума. Все улицы, ведущие к югу, наполнены бегущими: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты. Шикарных машин мало: эти господа уже сбежали; зато выползли все музейные уники,[528] способные еще двигаться.

Путь к жилищу Тони – долгий, особенно – при нашей нагрузке. Приходим: coup de th??tre,[529] далеко не неожиданный. Камион не прибыл; Марсель бегал и никого не застал; может быть, еще приедет, но вероятия мало. Идти пешком, с ребенком на руках, Тоня не решается. Роли меняются: теперь уже она уговаривает нас остаться и приводит все те же аргументы, которые накануне приводил я, против ухода. Наша решимость, и так слабая, слабеет. Сказывается хроническая нервная усталость предыдущих дней. Мы не можем решиться идти, не можем решиться остаться.

Пока остаемся на месте, то есть у Тони, чтобы сообразить, отдохнуть и посмотреть, что принесет еще полуденное радио. Оно не приносит ничего, кроме готовности парижского губернатора генерала Hering (Airain,[530] как этот паяц любил себя называть) защищать Париж от дома к дому... Немцы где-то близко и двигаются катастрофически быстро. Ждем четырехчасового радио, потом – шестичасового. Та же неопределенность в известиях и наших решениях. В семь часов вечера решаем направиться, но куда? К дому, к вокзалам, к югу?[531]

Выйдя от Тони, мы решили прежде всего проверить утверждение Марселя, что от Gare de

Vanves[532] идут поезда до Rambouillet.[533] Служащие говорили нам, что поезда идут только до Versailles,[534] а там, как будто, можно ловить поезда на Bretagne; справки же всего лучше получить на Gare Montparnasse.[535] Нечего делать, тащимся в этом направлении. Темнеет. Навстречу нам, к югу, проходят камионы. Читаем: центральный телеграф; телефоны; проходит кар[536] с эвакуированными полицейскими; тянутся тяжелые грузовики со станками. Крапает дождь, сыреет, и все становится мрачно, серо, угрожающе.

Подходим к Gare Montparnasse. Колоссальная толпа, еле сдерживаемая полицейскими, осаждает все входы. Никто ничего не знает, но все ждут. Какой-то brigadier[537] неуверенно говорит, что ближайший поезд в шесть утра. Однако толпа прибывает и располагается лагерем у вокзала. Лучшей декорации для фильма «Конец мира» или «Нашествие марсиан» не придумаешь. Ждать бессмысленно.

Усталость решает за нас: идем к дому. У Бельфорского льва[538] смотрим на станцию загородного метро. На всякий случай подходим: загородные поезда еще идут; народу мало; принимаются к регистрации багаж и велосипеды. И тут, вопреки только что принятому решению, вопреки здравому смыслу, вопреки безумной усталости, после долгих колебаний, мы все-таки берем билеты до Saint-Remy-lès-Chevreuse. Начинается авантюра. Что побудило нас изменить решение? Моя обоснованная тревога за тебя и твоя, тоже обоснованная, за меня.

Поезд идет медленно и с потушенными огнями; вот Massy-Palaiseau, недавно бомбардированное. К полночи приезжаем в Saint-Remy: городок прелестный, долина восхитительная, но в этот час под дождем деваться некуда. К счастью, здесь вступает в силу солидарность низших классов. Chef de train[539] разрешает остаться в вагонах метро до пяти часов утра. Наступает день, странный и незабываемый день, четверг 13 июня. Пробуждение, если это можно назвать пробуждением, ото сна, если это можно назвать сном, на коротеньких скамейках метро. Снаружи – холод и дождь. Короткое освежение физиономии под краном, в очереди, и в путь.

Издали видна дорога с проходящими по ней силуэтами повозок, пешеходов. Приближаемся; перед нами – хаос, где все перемешано: отступающие воинские части, артиллерия, танки, фургоны со станками и товарами, частные автомобили, лошади, велосипедисты, пешеходы и даже дорожный трамбовочный цилиндр, который тяжело тащится, нагруженный до отказа людьми и узлами. Кто создал эту мешанину? Кто мог допустить такой хаос? Достаточно увидеть эту картину, чтобы понять, что армия, отступающая по такой дороге, сойдет с нее уже неспособной к бою.

Каюсь, в этот момент я испытываю некоторое злорадство. У меня в памяти наше поражение 1917 года, разложение нашей армии после нескольких лет тяжелых и часто победоносных боев. Там разлагалась армия, которая сражалась и в боях потеряла доверие к тем, кто руководил ею. Но тут? И когда я вспоминаю все, что писалось о нас теми же перьями, которые еще вчера лгали о линии Weugand и о самом Weugand, которые еще вчера напоминали о Брест-Литовском мире...

Несколько минут мы простояли, не решаясь вступить на эту дорогу. Я предложил вернуться с первым же метро в Париж, и все-таки мы вступили на ту дорогу и двинулись по ней. С трудом находим себе и нашему велосипеду место в этой каше, и в путь! Скорость движения обратно пропорциональна тем средствам, какими располагаешь. Быстрее всего движутся ненагруженные пешеходы. Дорога зажата между поднятыми краями, но местами можно пройти несколько десятков метров по траве. Велосипедистам хуже, но все-таки они могут воспользоваться «пробками» и славировать между остановившимися автомобилями.

Хуже всего автомобилистам: их средняя скорость не превышает одного километра в час при громадном расходе бензина. Пробки образуются на каждом шагу. Иногда их создает

усердный жандарм, желающий вдруг проверить документы какого-нибудь автомобиля, при общих протестах: «Trop de z?le, eh, mar?chauss?e».[540] Этим усердием моментально создается затор на два километра. Чаще виновником является panne[541] какого-либо автомобиля.[542]

Помимо жандарма, другим элементом порядка является старый подполковник, который с несколькими военными мотоциклистами пытается, но безуспешно, что-то наладить. Он идет медленно, усталой поступью, почти спит на ходу и тихим голосом отдает распоряжения, которых никто не слышит и не исполняет.

Показывается солнце и высушивает грязь, которая превращается в облако пыли. Пить! Воду можно достать на фермах. По-видимому, владельцы их эвакуированы, и проходящие, как саранча, распространяются по садам и огородам, рвут клубнику, роют картошку, и никто, ни один человек не протестует. Нормы социальной жизни прекратили свое существование.[543]

Оказавшись перед особенно крупным затором, делаем привал под деревом около деревушки Mobilieres. Деревушка очаровательна. Поля и фермы кругом полны идиллии. Слышна кукушка.

Нашими соседями оказываются солдаты какого-то инженерного полка. Во время привала им приносят приказ, который они принимают без энтузиазма и даже с воркотней: остаться на ферме в километре от дороги. Значит, кто-то все-таки отдает приказы, и кто-то их исполняет. Но значит ли это, что готовится сопротивление под Парижем или просто речь идет о нормальном прикрытии тыла отступающей армии? Солдаты, не стесняясь, высказывают свой гнев и недоумение: «Вот так мы идем от бельгийской границы, неизвестно почему останавливаясь; организуем оборонительные укрепления и, неизвестно почему, бросаем их. Где наши танки, авиация, где наши походные кухни? Хорошо еще, что можно накопать картошки...». Grad?s[544] молчат.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, перейдя по ссылке https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26542100&from=329574480 и купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

См.: The Golden Age of Theoretical Ecology: 1923–1940: A Collection of the Works by V. Volterra, V. A. Kostitzin, A. J. Lotka and A. N. Kolmogoroff / Ed. F. M. Scudo, J. R. Ziegler. Berlin; Heidelberg; N. Y., 1978.

2

См.: Le prix Montyon de statistique // Comptes rendus hebdomadaires des s[?]ances de l'Acad[?]mie des sciences. 1942. Т. 215. Р. 614.

3

Центральный государственный архив города Москвы (далее – ЦГА Москвы). Ф. 418. Оп. 316. Д. 441. Л. 17.

4

Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. М., 1931. Вып. 2. С. 49.

5

Воспоминания Н. К. Крупской цит. по примечаниям к кн.:

Ленин В. И . Письма к родным. 1894–1919. М., 1931. С. 366.

6

См.:

Костицын В. А. Об одном общем свойстве систем ортогональных функций // Математический сборник. 1912. Т. 28. № 4. С. 497–506; Несколько замечаний о полных системах ортогональных функций // Там же. 1913. Т. 29. № 1. С. 134–139.

7

См.:

Kostitzin V. Quelques remarques sur les syst?mes complets de fonctions orthogonales // Comptes rendus hebdomadaires des s?ances de l'Acad?mie des Sciences. 1913. T. 156. P. 292–295.

8

Цит. по:

Колягин Ю. М., Саввина О. А . Дмитрий Федорович Егоров: Путь ученого и христианина. М., 2010. С. 291.

9

См.:

Kostitzin V . Sur la distribution des ?toiles dans les amas globulaires // Bulletin astronomique. 1916. T. 33. P. 289–293;

Kostitzin V . Sur la p?riodicite de l'activite solaire et l'influence des planets // Comptes rendus hebdomadaires des s?ances de l'Acad?mie des sciences. T. 163. 1916. P. 202–204.

10

Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 24307. Л. 4.

11

В «Обзоре деятельности антисоветской интеллигенции за 1921–22 гг.» В. А. Костицын назван в числе «инициаторов и организаторов» профессорского движения в Москве (см.: Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК – ГПУ. 1921–1923 / Вступ. статья, сост. В. Г. Макарова, В. С. Христофоров. М., 2005. С. 142).

12

Т. 1, с. 239 настоящего издания. Далее том и страницы данной книги указываются в скобках в тексте.

13

Стратонов В. В. По волнам жизни: Воспоминания // Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р – 5881. Оп. 2. Д. 669. Л. 225–226.

14

Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 267.

15

Вернадский В. И. Дневники: Март 1921 – август 1925 / Сост. В. П. Волков. М., 1998. С. 98.

16

См.: «Из разговоров с Владимиром Александровичем Костицыным». Страничка из дневника В. И. Вернадского 1923 года / Публ. и коммент. М. Ю. Сорокиной // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. СПб., 2015. Вып. 19. С. 50.

17

Помимо административно-преподавательской и редакторской работы, докладов на конференциях и т. д., Костицын регулярно публиковал научные и научно-популярные статьи и брошюры по математике, астрофизике и геофизике; в анкете от 24 сентября 1925 г. он указывал, что имеет «свыше 30 печатных трудов и свыше 100 рецензий и заметок» (ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 1353. Л. 2).

18

См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 531. Л. 73.

19

Там же. Д. 587. Л. 14.

20

По декрету Совнаркома РСФСР от 3 июля 1922 г. дела, касавшиеся одной или нескольких родственных дисциплин, находились в ведении предметной комиссии, включавшей как всех научных работников (профессоров, преподавателей, научных сотрудников), принимавших участие в их преподавании, так и представителей обучавшихся по этим дисциплинам студентов («в количестве, равном половине научных работников»); предметная комиссия избирала председателя (из числа профессоров), его заместителя и секретаря, составлявших ее бюро, которое утверждалось правлением вуза (см.: Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства (далее – СУ). 1922. № 43. Ст. 518).

21

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 588. Л. 1–3.

22

Там же. Д. 530. Л. 2, 11.

23

См.:

Стратонов В. В . Указ. соч. Л. 226.

24

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 588. Л. 1.

25

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 396. Л. 199; Д. 681. Л. 46.

26

Там же. Д. 776. Л. 23, 29.

27

ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 824. Л. 1–3.

28

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1007. Л. 117.

29

Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 8062. Оп. 2. Д. 6. Л. 38.

30

См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1047. Л. 34; Д. 1049. Л. 8.

31

Там же. Л. 3.

32

Там же. Д. 1047. Л. 23.

33

Там же. Д. 1157. Л. 178–179.

34

В письме от 13 января 1929 г., адресованном В. В. Стратонову, В. А. Костицын вспоминал, как он и В. Г. Фесенков создавали Астрофизический институт: «Нам удалось выхлопотать: 1) помещение в старом гараже на Новинском бульваре – помещение не очень роскошное, но все же дающее возможность работать; оно состоит из одного этажа, где находится библиотека, канцелярия, измерительная, кабинет директора, две рабочих комнаты и кухня; в полуподвале помещены мастерские, фотографическая комната, лаборатория; 2) старую конюшню в Кучине, которая превращается постепенно в настоящую обсерваторию; 3) средства на оборудование в виде измерительного прибора, микрофотометров, телескопа Шера и пр.» (цит. по:

Стратонов В. В. . Указ. соч. Л. 260–261).

35

Костицын В. А. Успехи астрономии в СССР // Наука и техника СССР. 1917–1927: В 3 т. М., 1927. Т. 1. С. 218.

36

Архив Российской Академии наук (далее – АРАН). Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 1–5.

37

Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 226.

38

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1048. Л. 35.

39

Там же. Д. 1007. Л. 157.

40

Там же. Д. 682. Л. 106.

41

См.:

Kostitzin V. Sur les solutions singulières des équations intégrales de Volterra // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences. 1927. Т. 184. P. 1217, 1403–1404.

42

См.: ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 832. Л. 39.

43

Там же. Д. 834. Л. 7.

44

Там же. Л. 8.

45

Там же. Л. 2.

46

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 7.

47

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 283.

48

Цит. по: Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1952 / Сост. В. Д. Есаков. М., 2000. С. 53.

49

ГАРФ. Ф. Р – 8429. Оп. 1. Д. 58. Л. 14.

50

Там же.

51

Там же. Л. 16.

52

Там же. Д. 69. Л. 6.

53

ГАРФ. Ф. Р – 5283. Оп. 2. Д. 36. Л. 161.

54

Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.

55

См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 169–170.

56

Там же. Д. 1279. Л. 25–27.

57

АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 7.

58

См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 280.

59

Там же. Д. 1279. Л. 28–29.

60

Там же. Д. 1338. Л. 113.

61

ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 1876. Л. 2.

62

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1338. Л. 89.

63

Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 260.

64

Там же. Л. 261.

65

ГАРФ. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.

66

ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1338. Л. 41.

67

См.: ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 1879. Л. 10.

68

См.: Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.

69

См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1339. Л. 5.

70

См.: Правда. 1929. № 272. 22 нояб. Подробнее см.:

Генис В. Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920–1933): Опыт документального исследования: В 2 кн. М., 2009–2012.

71

ГАРФ. Ф. Р – 1235. Оп. 44. Д. 73. Л. 226.

72

Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 8.

73

Там же. Л. 12.

74

Там же. Л. 14.

75

Там же. Л. 18.

76

Там же. Ф. Р – 1235. Оп. 74. Д. 156. Л. 2–6.

77

Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 22.

78

Там же. Л. 20.

79

Чистка Наркомпроса: Берегите валюту. Прекратите заграничные командировки чуждых людей // Комсомольская правда. 1930. № 8. 10 янв.

80

За партийность в философии и естествознании // Естествознание и марксизм. 1930. № 1(5). С. V.

81

Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Ноябрь 1906 г. М., 1932. С. 356.

82

Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 262.

83

Тесное сотрудничество итальянского и русского математиков подтверждает их совместная статья и обширная личная переписка (см. в приложении Библиографический список публикаций В. А. Костицына).

84

См.:

Kostitzin V. A. Symbiose, parasitisme et ?volution: (Etude math?matique). P., 1934; Applications des ?quation int?grales (applications statistiques). P., 1935; Evolution de l'atmosphere: Circulation organique, ?roques glaciaries. P., 1935 (на рус. яз.: Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М., 1984); Biologie math?matique / Pr?face de Vito Volterra. P., 1937 (на англ. яз.: Mathematical Biology. L.; Toronto; Bombay; Sydney, 1939).

85

Цит. по:

С. М. С. [Сорокина М. Ю.] «Не вижу в нем надобности для СССР...» // Природа. 2004. № 7. С. 78.

86

Франтиреры (вольные стрелки) – добровольческие отряды, действовавшие в тылу противника во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг.

87

Как утверждалось в полицейском отчете, многие из запросивших советское гражданство делали это «из предосторожности, чтобы заставить забыть об их прислужничестве немцам либо сохранить нажитое благодаря коллаборационизму» (Российская эмиграция во Франции в 1940-е. Полицейский отчет 1948 года «La colonie russe de Paris» («Русская колония в Париже») // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2007. Т. 8. С. 403).

88

РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 15. Д. 402. Тетради: I (19.03–16.04.1950), II (17.04–13.05.1950), III (14.05–02.07.1950), IV (03.07–08.08.1950), V (11.08–25.09.1950), VI (26.09–28.11.1950), VII

(29.11.1950–21.02.1951), VIII (22.02–15.05.1951), IX (16.05–29.06.1951), X (30.06–19.09.1951), XI (20.09–03.12.1951), XII (04.12.1951–15.02.1952), XIII (16.02–23.05.1952), XIV (17.02–22.06.1952), XV (24.05.1952–12.01.1953), XVI (28.06.1952–02.02.1953), XVII (13.01–26.08.1953), XVIII (04.02–13.11.1953), XIX (27.08.1953–24.01.1954), XX (25.01–03.06.1954), XXI (04.06–26.10.1954), XXII (27.10.1954–09.05.1955), XXIII (10.05–31.12.1955), XXIV (01.01–31.12.1956), XXV (01.01–31.12.1957), XXVI (01.01–31.12.1958), XXVII (01.01–31.12.1959), XXVIII (01.01–31.12.1960), XXIX (01.01–31.12.1961), XXX (01.01–31.12.1962), XXXI (01.01–26.05.1963), XXXII (Автобиография), XXXIII (12.01–09.07.1950, на фр.).

89

Частично публиковались: «Говорить мне не с кем!»: Из воспоминаний В. А. Костицына / Публ., вступ. ст. Н. А. Сидорова // Российская научная эмиграция: Двадцать портретов. М., 2001. С. 35–54;

Костицын В. А. Воспоминания о Компьенском лагере (1941–1942) / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., аннот. именной указатель В. Л. Гениса. М., 2009; Автобиография профессора В. А. Костицына / Подгот. текста, вступ. статья, коммент., биограф. справки В. Л. Гениса // Вопросы истории. 2010. № 10, 11; 2011. № 1, 4.

90

А. В. Костицын преподавал в Ефремовской мужской прогимназии. Его сын В. А. Костицын был крещен в Покровской церкви г. Ефремова 7 июня 1883 г.; восприемниками являлись родственники матери – титулярный советник С. В. Раевский и жена присяжного поверенного В. В. Раевского – О. А. Раевская.

91

Правильно: Рейнсдорп Иван Андреевич (1730–1782) – губернатор Оренбургской губернии (1768–1781), генерал-поручик (1771), руководил обороной Оренбурга в 1773–1774 гг.

92

После годичного обучения в реальном училище В. А. Костицын продолжил образование в смоленской гимназии, по окончании которой, в мае – июне 1902 г., успешно сдал выпускные экзамены, получив лишь две четверки – по латыни и греческому (см.: ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 316. Д. 441. Л. 3).

Сыновья генерала Н. Н. Раевского, Александр и Николай, привлекались по делу декабристов, но были оправданы, а дочери Екатерина и Мария являлись женами соответственно М. Ф. Орлова, заключенного на полгода в Петропавловскую крепость, и С. Г. Волконского, приговоренного к 20 годам каторжных работ; единокровный брат Н. Н. Раевского В. Л. Давыдов был приговорен к пожизненной каторге.

Слова Николая II из речи, обращенной к представителям дворянства, земств и городов на приеме 17 января 1895 г.: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо, как охранял его мой незабвенный покойный родитель» (Полн. собр. речей императора Николая II. 1894–1896. СПб., 1906. С. 7). В тексте написанной для императора речи были слова «несбыточные мечтания», но от волнения он произнес «бессмысленные мечтания».

Имеется в виду кн.:

Михайлов А . Пролетариат во Франции. 1789–1852. (Исторические очерки). СПб., 1869.

Неточность: речь идет о И. И. Скворцове, печатавшемся под псевдонимом И. Степанов. См.:

Блос В . Германская революция: история движения 1848–1849 года в Германии / Пер. В. Базарова, И. Степанова. М., 1920.

Первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии проходил в Минске 1–3 марта 1898 г.

Ср.: «50 лет тому назад над Европой пронеслась живительная буря революции 1848 года» (Манифест РСДРП // Первый съезд РСДРП. Март 1898 года. Документы и материалы. М., 1958. С. 79).

99

См.:

Шпильгаген Ф. Загадочные натуры // Шпильгаген Ф. Собр. соч.: В 23 т. СПб., 1896. Т. 5–6; Он же. Сомкнутыми рядами // Там же. Т. 1–2.

100

См.:

Ферворн М. Общая физиология: основы учения о жизни / Пер. с нем. М. А. Мензбира и Н. А. Иванцова. М., 1897. Вып. 1–2.

101

Под псевдонимом Н. Бельтов книга вышла в 1895 г. в Петербурге.

102

Неточность: П. И. Барсов скончался 27 декабря 1911 г. в Смоленском каторжном центре от чахотки.

103

И. Х. Озеров общался с начальником Московского охранного отделения С. В. Зубатовым и принял участие в написании устава контролируемого полицией Общества взаимопомощи рабочих в механическом производстве и в организации воскресных чтений для рабочих в Историческом музее. Но сотрудничество с полицией сказалось на его репутации, и в воспоминаниях Озеров писал: «...мне причинили большую боль, оклеветав меня за чтение лекций рабочим, а я честно нес в их среду знания» (цит. по: Русские писатели. 1800–1917: Биографич. словарь. М., 1999. Т. 4. С. 409).

104

Педель – служитель университетской инспекции, низший надзиратель.

105

Выступая на заседании Московского математического общества 24 сентября 1902 г., П. А. Некрасов говорил, что «изоляторы суть спутники свободы», ибо «во всяком элементе конкретной гражданской свободы необходим спутник, ее охраняющий: стеснение, выражающееся в нравственной и гражданской дисциплине» (

Некрасов П. А. . Философия и логика науки о массовых проявлениях человеческой деятельности. (Пересмотр оснований социальной физики Кетле) // Математический сборник. 1902. Т. 23. № 3. С. 452–453).

106

Московское математическое общество основано в 1864 г.; с 1866 г. издавало журнал «Математический сборник».

107

Еще первокурсником Костицын стал членом студенческого математического объединения, созданного в 1902 г. под председательством Н. Е. Жуковского. 19 ноября 1904 г. Н. Н. Лузин сообщал П. А. Флоренскому: «Второй секретарь у нас – Костицын – хороший работник, идейный человек». В другом письме, от 23 сентября, извещая Флоренского о том, что «в механической аудитории при механическом кабинете имеет быть 14 неочередное заседание Математического (студенческого) общества», Лузин среди намеченных выступлений назвал доклад В. А. Костицына «Заметка о рядах Фурье» (см.: Переписка Н. Н. Лузина с П. А. Флоренским // Историко-математические исследования. М., 1989. Вып. XXXI. С. 130, 127).

108

«Русские ведомости» (Москва, 1863–1918) – ежедневная общественно-политическая газета; орган либеральной московской профессуры и земских деятелей.

109

Статья была напечатана неделей раньше, см.:

Тимирязев К. Академическая свобода. (Мысли вслух старого профессора) // Русские ведомости. 1904. № 330. 27 нояб.

110

Перефразированные строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин» (1856):
«Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан».

111

Ироничное название демократической избирательной системы, включавшей требование всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права.

112

Неточность: С. Г. Сбитников входил в меньшевистскую фракцию РСДРП.

113

См.:

Ильин Вл. [Ленин В. И.] Материализм и эмпириокритицизм. Критические заметки об одной реакционной философии. М., 1909.

114

Речь идет о статьях в журнале «Образование» в 1901–1906 гг.: «Что такое идеализм» (1901. № 12), «Критика а priori (письмо в редакцию журнала “Образование”» (1902. № 3), «Развитие жизни в природе и обществе» (1902. № 4–8), «Новое средневековье» (1903. № 3), «Из психологии общества (Авторитарное мышление)» (1903. № 4–6), «Отзвуки минувшего» (1904. № 1), «Цели и нормы жизни (1905. № 7), «Революция и философия» (1906. № 2) и в журнале «Правда» в 1904 г.: «О пользе знания» (№ 1), «Собирание человека» (№ 4), «Философский кошмар» (№ 6), «История одной опечатки» (№ 11), «Проклятые вопросы философии» (№ 12)

и др.

115

III съезд РСДРП, на котором присутствовали только представители большевистской фракции, проходил в Лондоне 25 апреля – 10 мая (12–27 апреля по старому стилю) 1905 г. и принял резолюции «О вооруженном восстании» и «О временном революционном правительстве»; почти одновременно в конце апреля – начале мая в Женеве состоялась меньшевистская Первая общерусская конференция партийных работников.

116

См.:

Костицын В. Декабрьское восстание 1905 г. // Декабрь 1905 года на Красной Пресне: Сб. ст. и воспоминаний / Под ред. В. Невского. М.; Пг., 1924. С. 21–47.

117

См.:

Костицын В. Декабрьское восстание. М.; Л., 1926. 22 с.

118

С 15 октября 1905 г. в течение двух недель студенческая боевая дружина обороняла Московский университет от налетов черносотенцев, полиции и казаков, для чего были сооружены баррикады во дворе и у входов в здание; 29 октября на университетскую территорию были введены правительственные войска, и занятия прекратились до 15 января 1906 г.

119

Имеется в виду А. А. Ильин, партийная кличка – Ермил Иванович.

120

5 декабря 1905 г. Московская общегородская конференция РСДРП постановила начать 7 декабря всеобщую политическую забастовку, с тем чтобы она переросла в вооруженное восстание.

121

Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП проходила в Таммерфорсе 16–22 ноября 1906 г.

122

См.:

М-ый [Покровский М. Н.] . Военная техника и вопрос о милиции // Текущий момент: Сб. М., 1906. С. 1–17.

123

То есть участником нелегальной группы представителей либеральной интеллигенции, объединившейся вокруг журнала «Освобождение» (издавался под редакцией П. Б. Струве в Штутгарте и Париже в 1902–1905 гг.), и организованного в 1904 г. «Союза освобождения», члены которого составили ядро Конституционно-демократической партии.

124

В своих показаниях, данных на межпартийном суде по делу В. К. Таратуты в Париже 23 апреля 1910 г., Костицын вспоминал, что в январе 1906 г. «был на явке у Виктора», который произвел на него «неприятное впечатление». Когда он поведал об этом знакомым партийцам, один из них заявил: «Товарищ, вы удивитесь, что Виктор – провокатор, выдавший Сормовскую организацию». Обвинителем был сормовский рабочий П. А. Заломов, уверявший, что известный ему «комитетчик из Нижнего Новгорода, когда пришел на явку, ушел тотчас с нее, ибо признал в Викторе провокатора, провалившего нижегородскую организацию». Но Костицын полагал, что Заломов «страдает сыщикоманией», в подтверждение чего рассказал о таком эпизоде: «Раз на явку пришел мой помощник, и он в нем признал провокатора с Пресни, указав место, где работал на Пресне, его кличку, но все это оказалось неверным». Заломов, по словам Костицына, «в октябре – ноябре 1905 года был в боевой организации в Замоскворецком районе, потом работал по технике в В[оенной] О[рганизации], после в[ооруженного] в[осстания] – в центральном городском районе ответственным боевым организатором». Он оставался в Москве до конца апреля 1906 г. и

ушел из организации, «потому что после этого инцидента боялся провалиться и отчасти по личным причинам» (РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 37. Л. 118–119).

125

Женой В. С. Бобровского являлась Цецилия Самойловна Зеликсон (1876–1960) – член РСДРП с 1898 г., агент «Искры», участница Декабрьского восстания 1905 г. и секретарь Московского областного комитета РСДРП в 1908 г.; см.:

Зеликсон-Бобровская Ц. С. Записки рядового подпольщика (1894–1914). М., 1922–1923. Ч. 1–2.

126

В показаниях на межпартийном суде по делу В. К. Таратуты Костицын упоминал и другой эпизод, когда едва не оказался в роли следователя, судьи и организатора приведения в исполнение смертного приговора: «В июле [1906] к нам в боевую организацию поступило заявление, что рабочий Витте хочет заявить относительно провала типографий. Заявление передано нам было в письменной форме, где [Витте] писал, что он – анархист и выдал типографии, ибо одинаково ненавидит и революцию, и полицию и хочет вредить полиции через революционеров и революционерам через полицию. Этот Витте вполне сознался, что он провалил типографии и как провалил, назначил свидание. Там его хотели убить, но он на второе свидание не явился. <...> Именно мне было поручено видеть его на втором собрании и допросить» (РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 37. Л. 114).

127

Четвертый съезд РСДРП, проходивший в Стокгольме 10–25 апреля (23 апреля – 8 мая по н. стилю) 1906 г., формально объединил партию после раскола, произошедшего на Втором съезде РСДРП.

128

Делегаты созванной в Москве конференции военных организаций РСДРП были арестованы в первый же день ее работы, 27 марта 1906 г., и водворены в Сущевский арестный дом, откуда в ночь на 2 апреля совершили побег В. П. Адамов, В. А. Антонов-Овсеенко, Ем. Ярославский и латышский большевик «Музыкант», а 4 апреля – Р. С. Землячка (см.: Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Ноябрь 1906 г. М., 1932. С. 334–336).

129

Неточность: секретарем МК РСДРП состоял «Мирон» (В. Н. Соколов), который, согласно показаниям Костицына, «был арестован 8 августа 1906 года с большим количеством адресов» (РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 37. Л. 117).

130

Фабрика, принадлежавшая Товариществу ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель».

131

См.: Протоколы Первой конференции военных и боевых организаций Российской социал-демократической рабочей партии. СПб., 1907.

132

См.: Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Ноябрь 1906 г. М., 1932.

133

На конференции В. А. Костицын («Семенов») выступил с докладом о вооруженном восстании в декабре 1905 г. в Москве, в котором, в частности, говорил: «Вооруженное восстание застало боевую организацию врасплох. Ничего не было готово, а дружинники были страшно утомлены и деморализованы долгими дежурствами, выжиданием, отсутствием дела. <...> В верхах партии – полная растерянность. Полная неспособность ориентироваться и оценить момент. <...> Вся война велась партизански, случайно. Баррикады строились легкие, вполне проницаемые для пуль, и единственный их смысл был в затруднении движения... Даже в захваченных районах не было правильных сражений, и защита носила чисто партизанский характер. Все пресненские баррикады оказались ничем, как только Пресню оцепили. Все, чем держалась Пресня, – это слухом о 10 000 дружинников, находившихся там, тогда как их число в действительности редко, когда превышало 100. Приучились широко пользоваться проходными дворами и заборами, никогда не защищать до крайности баррикад и никогда не сблизиться с противником. <...> Бомб было очень мало, и с теми дружинники не умели обращаться. Лучшим оружием оказался Маузер» (Там же. С. 53–55). Считая «вполне допустимым экспроприацию частных средств, имущества наших врагов», «Семенов» активно выступал в прениях (с. 84, 103–104, 114, 154–156, 170–171) и предложил свой проект резолюции о военно-боевых центрах, принятый конференцией за основу (с. 162–163).

134

В статье «По поводу протоколов ноябрьской военно-боевой конференции Российской социал-демократической рабочей партии» (Пролетарий. 1907. № 16. 2 мая) Ленин, критикуя «нелепые увлечения» о делении парторганизаций «на военные, боевые и пролетарские», одобрил принятую делегатами резолюцию о подчинении всей работы «политическому руководству общепролетарских организаций» (

Ленин В. И . Полн. собр. соч. М., 1968. Т. 15. С. 281–290).

135

Правильно: «Петр I». Согласно протоколам конференции, во Временное бюро военных и боевых организаций РСДРП были избраны И. Х. Лалаянц («Николай Иванович»), Ем. Ярославский («Ильян»), В. А. Костицын («Семенов»), Ж. А. Шепте-Миллер («Петр I») и Э. С. Кадомцев («Петр II») (см.: Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Ноябрь 1906 г. С. XL).

136

И. А. Саммер присутствовал на конференции в качестве гостя под псевдонимом «Остапченко».

137

Правильно: «Аллина» – И. С. Сырмус («Ида»).

138

«Кириллов» – И. К. Гамбург.

139

Согласно протоколам конференции, Московскую военную организацию представлял «Грива» – Гиммер Дмитрий Дмитриевич.

140

Правильно: «Викторов» – А. В. Цветков, так как «Гладков» (Е. А. Фортунатов) представлял Южно-техническое бюро РСДРП с совещательным голосом.

141

Правильно: «Петр I» – Ж. А. Шепте (Миллер).

142

Правильно: «Алексеев» – В. В. Бустрем.

143

Имеется в виду «Азаров» – А. С. Шкляев.

144

Правильно: «Степницкий» – С. С. Зверев.

145

Правильно: «Петр II», делегат с совещательным голосом Э. С. Кадомцев.

146

И. С. Кадомцев – «Уралов».

147

Докладчиками Организационного бюро конференции с совещательным голосом являлись

«Иностранцев» – Н. Ф. Насимович (Чужак), «Львицкий» – М. Н. Лядов, «Варин» – В. Ю. Фридолин, «Победов» – И. Г. Урысон.

148

Правильно: «Петр I».

149

Пятый съезд РСДРП проходил в Лондоне с 30 апреля (13 мая) по 19 мая (1 июня) 1907 г.

150

Имеется в виду М. И. Ульянова.

151

Мемуарист ошибается: Ф. Н. Петров не участвовал в покушении на великого князя.

152

В августе 1907 г. профессор Д. Ф. Егоров написал ректору: «Студент математического отд[еления] физико-матем[атического] фак[ультета] Моск[овского] ун[иверситета] Владимир Александрович Костицын арестован в Петербурге (с месяц), числится за губ[ернским] жанд[армским] управлением. Человек болезненный, долгое заключение может повлиять вредно. Отец хлопочет, чтобы выпустили на поруки. Я лично знаю Костицына как выдающегося студента, весьма талантливого и преданного науке. Нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения его участи?» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 316. Д. 441. Л. 17). В. С. Гулевич, исполнявший тогда обязанности ректора, обратился 10 августа к товарищу министра внутренних дел А. А. Макарову: «Милостивый государь, Александр Александрович. Имею честь ходатайствовать пред Вашим Превосходительством об оказании снисхождения к участи студента Московского университета Владимира Костицына, находящегося в настоящее время в заключении в г. С. – Петербурге. Заключение вредно отзывается на его слабом здоровье. Профессор Московского университета Д. Ф. Егоров аттестует Костицына как выдающегося по своим дарованиям и преданного науке студента. Примите уверение в совершенном уважении и преданности» (ГАРФ. Ф. 102. 7 д-во. 1907 г. Д. 4388. Л. 203).

По этому поводу в Департаменте полиции 24 августа была подготовлена следующая справка:

«Костицын Владимир Александрович, студент Московского университета, был арестован 1 июня сего года в гор. С. – Петербурге при ликвидации С. – Петербургским охранным отделением боевой организации при Петербургском комитете Российской социал-демократической рабочей партии. По сведениям охранного отделения, Костицын принадлежал к “временному бюро военно-боевых организаций” означенной партии, состоял пропагандистом боевой организации и участвовал в вооруженном восстании в Москве, а также в освобождении Романовых. Ввиду изложенного Костицын привлечен, в числе других лиц, арестованных по одному с ним делу, к дознанию при С. – Петербургском губернском жандармском управлении по обвинению в преступлении, предусмотренном 1 ч. 102 ст. угол[овного] улож[ения]. Мерой пресечения против Костицына по дознанию принято содержание его под стражей в С. – Петербургской тюрьме. При обыске у Костицына отобран блокнот с записями, но сведений о том, являются ли эти записи компрометирующими, в департаменте не имеется. Дознание возбуждено 4-го минувшего июля и находится в производстве» (Там же. Л. 214).

153

2 января 1908 г. А. В. Костицын обратился с прошением к товарищу министра внутренних дел А. А. Макарову: «Сын мой, Владимир Александрович Костицын, приехавший в Петербург для научных занятий, был 1 июня 1907 года арестован и заключен в тюрьму “Кресты”. Ни он, ни я до сих пор не имеем надлежащих сведений о причинах ареста. Сын мой находится в тюрьме до сих пор. Профессор Московского университета Д. Ф. Егоров прислал мне, для представления в Петербургское жандармское управление, письмо, характеризующее моего сына как личность, глубоко преданную науке, и, в полном смысле слова, нравственную. Но письму значения дано не было. Комиссия врачей исследовала состояние здоровья моего сына и признала, что его необходимо немедленно освободить, так как дальнейшее заключение грозит ему сумасшествием. Заключение комиссии было представлено в жандармское управление, и, однако, сын мой томится в тюрьме до сих пор. Обращаюсь к Вашему Превосходительству с моей почтительнейшей просьбой: прошу освободить моего сына; если же безусловное освобождение невозможно, то отдать мне его на поруки; прошу также, пока он находится в тюрьме, разрешить ему участие в общей прогулке, которая, благодаря своей продолжительности, может благотворно повлиять на здоровье моего сына» (Там же. Л. 283).

Ходатайство отца Костицына было поддержано и председателем 3-й Государственной думы Н. А. Хомяковым, бывшим губернским предводителем дворянства в Смоленске, который написал А. А. Макарову: «Многоуважаемый Александр Александрович. Податель сего, Костицын, учитель Смоленского реального училища, попечителем коего я много лет состоял, просит замолвить слово за его сына. К сожалению, я лично не могу [высказаться] в пользу этого молодого человека, но знаю, что здоровье его внушает серьезное опасение, а потому пребывание в заключении может тяжело отозваться. [Отец] просит отпустить сына на поруки; к этой просьбе и я присоединяюсь. Искренне уважающий Вас Н. Хомяков» (Там же. Л. 282).

Но 16 января в ответ на запрос товарища министра внутренних дел в Департамент полиции начальник Петербургского губернского жандармского управления доложил, что, помимо записной книжки, изъятой при аресте Костицына, у привлеченных по тому же дознанию лиц «обнаружена рукопись конспиративного характера», которая, как установлено экспертизой, «писана обвиняемым»; кроме того, «по агентурным данным начальника Рижского сыскного отделения, Владимир Костицын – “член боевой организации, известен в партии под кличкой ‘Семен Петрович’, участвовал в Московском восстании”», поэтому «изменить меру пресечения в отношении Владимира Костицына не представляется возможным» (Там же. Л.

287). Соответственно и Макаров известил Хомякова: «Вследствие переданного мне учителем Смоленского реального училища статским советником Костицыным письма Вашего Превосходительства относительно его сына, политического арестованного Владимира Костицына, имею честь уведомить, что я лишен возможности сделать распоряжение об освобождении последнего, так как содержание под стражей принято в отношении названного лица в качестве меры пресечения ему способов уклоняться от суда и следствия» (Там же. Л. 297).

154

Неточность: товарищем министра внутренних дел тогда был А. А. Макаров.

155

Неточность: арестованная в Петербурге 5 марта 1908 г., С. И. Надеина была освобождена под залог 10 июля того же года.

156

В заметке «Судебные вести», напечатанной 4 ноября 1908 г. в петербургской газете «Новое время», сообщалось: «3 ноября в закрытом заседании военно-окружного суда под председательством ген. – м[айора] Биршера началось слушание процесса о членах боевой организации при СПб. комитете с[оциал] – д[емократической] партии. Обвиняемых – 25 человек: сын подполковника б[ывший] студент Богоявленский, сын статского советника Костицын, дворянин Н. А. Вакулин, рядовой Губельман, профессиональный борец Роланд Веборн, преподающий французскую борьбу в школе Лебедева, и др. В комнате последнего, проживавшего вместе со своим братом в Лесном, по Реймерской улице, было найдено большое количество оружия. По слухам, настоящее дело является отголоском Таммерфорского съезда и находится в некоторой связи с делом об известной школе бомбистов в д. Хаапала близ ст. Куоккала. Обвинение, предъявленное по 2 ч. 102 ст. уг[оловного] ул[ожения], поддерживает пом[ощник] военного прокурора полк[овник] Зандер, а защищают пр[исяжные] пов[еренные] О. О. Грузенберг, Тиран, Петропавловский, Н. Д. Соколов, Керенский, Соколовский и пом[ощники] пр[исяжных] пов[еренных] Шмидт, Симсен и др. Разбор дела затянется дней на 8».

157

Неточность: 13 ноября 1908 г. «за участие в преступном сообществе, составившемся с целью насильственного посягательства на изменение в России установленного законами основным образом правления» Петербургский военно-окружной суд приговорил к каторжным работам: И. И. Бернштейна – на 8 лет, Н. А. Вакулина и М. И. Губельмана – на 7 лет, В. В. Бустрема и Б.

А. Колтышева – на 6 лет, Б. Г. Богоявленского, В. К. Воробьева, Х. Э. Гельфанда, О. К. Кантера, А. Р. Кокса и Р. Г. Нилендера – на 4 года, Р. И. Веборна, Я. М. Дреймана, К. Я. Лаца и И. Л. Либгота – на 2 года 8 месяцев. Остальные – В. А. Дилевская, Б. Я. Мицит, В. З. Сидлин (по мужу Вакулина), К. К. Уденс, Я. Э. Фришмунд и К. Я. Штальберг – были приговорены к ссылке на поселение, а Л. Я. Ванаг, И. П. Озолин и В. А. Костицын оправданы. Но при утверждении приговора помощником главнокомандующего войсками Петербургского военного округа назначенные меры наказания были смягчены: Вакулин и Губельман были приговорены к каторжным работам сроком на 5 лет, Бустрем и Колтышев – на 4 года, Воробьев, Гельфанд и Кокс – на 2 года, Богоявленский, Веборн, Дрейман, Лац и Либгот – к ссылке на поселение, Дилевская и Штальберг – к двухлетнему заключению в крепости (см.: ГАРФ. Ф. 102. 1907 г. Д. 4388. Л. 320).

158

См.:

Mach E . Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Leipzig, 1883 (рус. перевод:

Мах Э . Механика. Историко-критический очерк ее развития / Пер. Г. А. Котляра под ред. проф. Н. А. Гезехуса. СПб., 1909);

Mach E . Die Principien der W?rmelehre, historich-critisch entwickelt. Leipzig, 1896.

159

«Дневник социал-демократа» – неперіодический орган, издававшийся Г. В. Плехановым в Женеве, Петербурге и снова в Женеве и Петербурге, выходил в 1905–1916 гг. с большими перерывами; всего вышло 17 номеров.

160

В «Мелких заметках», посвященных выходу в Петербурге легальной большевистской газеты «Новая жизнь», Г. В. Плеханов писал: «Объявление об издании “Новой жизни” наводит на весьма поучительные размышления. Оно пестрит именами людей, до сих пор остававшихся чуждыми марксизму: Ленин тонет, как муха в молоке, в массе эмпириомонистов и вполне законченных декадентов» (Дневник социал-демократа (Женева). 1905. № 3. Ноябрь.).

161

Группа «Вперед» образовалась в результате острой фракционной борьбы, развернувшейся в 1908 г. между ленинцами и левыми большевиками – «отзовистами» (А. В. Соколов), которые

резко порицали социал-демократическую фракцию 3-й Государственной думы за отрыв от рабочих масс и, настаивая на ее отзыве, ратовали за усиление подпольных методов борьбы, и «ультиматистами» (Г. А. Алексинский, А. А. Богданов, Л. Б. Красин, А. В. Луначарский, М. Н. Лядов, М. Н. Покровский и др.), которые предлагали ограничиться ультимативным требованием к депутатам проявить решительность в своих выступлениях и тактике. К этому примешивались философские разногласия между ленинцами и «эмпириомонистами» (Богданов), последователями взглядов Э. Маха и Р. Авенариуса, и «богостроителями» (Луначарский, М. Горький, В. Базаров), пропагандировавшими социализм как новую религию. 28 декабря 1909 г. в ЦК РСДРП была направлена составленная Богдановым платформа «Современное положение и задачи партии» с извещением об образовании группы «идейных единомышленников» под названием «Вперед», которое подписали Богданов и В. Л. Шанцер от имени 16 лекторов и слушателей партийной школы на острове Капри, включая Алексинского, Горького, Луначарского, Лядова, Покровского и др. В январе 1910 г. Пленум ЦК РСДРП утвердил литературную группу «Вперед», но уже в конце этого года из группы вышли Горький, Менжинский и Покровский, в 1911 г. – Богданов и Лядов, а к концу 1913 г. фактически она распалась.

162

Речь идет о деятельности отряда «коммунистов-анархистов», осуществивших свыше 30 экспроприаций и нападений на разные учреждения в 1906–1907 гг., которым руководил уроженец Мотовилихи Пермской губернии, бывший унтер-офицер и рабочий оружейного цеха Пермских пушечных заводов, член исполкома Уральского боевого союза А. М. Лбов (1876–1908), в 1908 г. арестованный в Нолинске и повешенный в Вятке.

163

В «Прошении» от 1 октября 1909 г., адресованном ректору Московского университета, В. А. Костицын писал: «Я поступил в Университет в 1902 году по окончании курса Смоленской классической гимназии. В 1903 и 1904 гг. я сдал полу-курсовые испытания. В 1904 г. получил зачет 5-го семестра, в 1906 г. – зачет 6-ого (летнего) семестра и право держать государственные экзамены; этим правом я не воспользовался, так как желал посвятить себя научной деятельности и считал более целесообразным пробыть еще год в Университете. В 1907 г. я опять имел право держать экзамены, но не мог воспользоваться им, так как был арестован весной 1907 г. и вышел на волю в конце 1908 г.

Когда я приехал в Москву, то узнал, что права на государственные экзамены я лишился, так как вошли в силу новые правила; сверх того, пропала запись на летний семестр 1906 г. (что запись была, видно из того, что вплоть до весны 1907 г. я был освобожден от платы за учение). Таким образом, оказывалось, что я должен пробыть еще 1 1/2 года в Московском Университете, чего я не мог сделать по причинам политического характера. Между тем я проделал весь учебный план, что легко проверить по записям, и сдал все экзамены, а также имел право держать государственные экзамены, причем не держал их отнюдь не по неподготовленности.

В настоящее время я поступаю в Парижский университет с целью достичь степени *docteur ?s sciences de l'universit? de Paris*. По правилам для этого нужна степень *licenci? ?s sciences*, для получения которой здесь достаточно следующих экзаменов: 1) дифференциальное и

интегральное исчисление, 2) рациональная механика, 3) высший анализ или высшая геометрия. Между тем сданные мной в Москве экзамены вполне соответствуют этим, содержат гораздо большее количество предметов и, сверх того, мною выполнен весь учебный план.

Если я представлю выпускное свидетельство или же в худшем случае свидетельство с подробным перечислением выдержанных экзаменов и прослушанных курсов, мне могут здесь их зачесть, и тогда я смогу год посвятить действительной научной работе – обработке и собиранию материала для докторской диссертации. Если же я представлю простое свидетельство о числе лет, проведенных в Университете, мне опять придется сдавать уже сданные экзамены, и год уйдет на возню с учебниками, с экзаменами и т. д., и таким образом действительная научная работа будет отсрочена на год, а докторат – на 2 года, между тем я имею возможность (и то условную) жить здесь только год.

Ввиду всего этого прошу: 1) Выдать мне выпускное свидетельство, на которое я имею фактическое право и имел бы формальное право, или свидетельство о выдержанных экзаменах и прослушанных курсах, которое давало бы здешнему университету возможность судить о моей подготовке. 2) Выслать мне мои бумаги, из коих метрика, формулярный список отца и свидетельство о явке к отбыванию воинской повинности были вытребованы в СПб. Губернское Жандармское Управление, возвращены мне при освобождении и находятся у меня на руках. 3) Выслать все это по возможности скорее, до 1 ноября по новому стилю, ибо иначе я могу опоздать с имматрикуляцией.

Подлинность моего почерка и справедливости (в том, что касается научной стороны) изложенных обстоятельств может засвидетельствовать профессор Димитрий Федорович Егоров. Все расходы будут мною немедленно оплачены» (ЦГА Москвы. Ф. 418. Оп. 316. Д. 441. Л. 24–25).

164

В своем «Жизнеописании» (1920) Костицын пояснял: «В Вене и Париже возобновил научную работу, окончил Парижский университет и опубликовал ряд ученых трудов, помещенных в Математическом сборнике Московского математического общества, в Comptes Rendus de l'Academie des Sciences de Paris (Известиях Парижской академии наук), в Bulletin Astronomique (Астрономическом бюллетене Парижской обсерватории). Помещал популярные статьи в журнале «Современный мир». Был избран членом Французского математического общества» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 158).

165

На заседании межпартийного суда 25 апреля 1910 г. Костицын заявил, что «убеждение в невиновности Виктора в Москве было всеобщим», а «недовольство им обуславливали его дурным характером», причем «говорили, что о нем могли легко создаться слухи о провокации, ибо вокруг него существовала атмосфера озлобления». На вопрос самого «Виктора», в чем же состоял его «дурной характер», Костицын ответил: «По-моему, это были поступки и деяния, которые не касаются общественной стороны, но беда в том, что они отзывались на его вообще действиях». И пояснил: «Если имелось какое-либо партийное дело с Виктором и как бы вы ни были выдержаны, все же невольно вносилось личное. Ты гул

свою линию, а Виктор – свою, и выходили дразги. Это могло тормозить работу, но все-таки она делалась». А когда «Виктор», напомнив их резкое столкновение на городской партконференции, где он предложил роспуск боевых дружин и переход к партийной милиции, задал Костицыну вопрос: «Что вы знали обо мне хорошего?», тот ответил: «Большая работоспособность, умение разбираться в организационных и тактических вопросах. Слышал о нем хорошие отзывы как о пропагандисте... Это я знаю от пропагандистов Замоскворецкого района, где работал сам, и они говорили, что Виктор был здесь вполне на своем месте. Виктора считали незаменимым секретарем комитета...» (РГАСПИ. Ф. 332. Оп. 1. Д. 37. Л. 129–130).

166

В июле 1911 г. Бродский, учившийся тогда в Льежском университете, дал разоблачительное интервью эсеровской газете «Будущее», издававшейся В. Л. Бурцевым в Париже, а 18 августа подал прошение на высочайшее имя, в котором просил о предании его суду за «преступные деяния», повлекшие арест членов социал-демократической фракции 2-й Государственной думы и ее роспуск 3 июня 1907 г. Бродский утверждал, что он с ведома начальника Петербургского охранного отделения А. В. Герасимова и начальника Департамента полиции М. И. Трусевича «1) был инициатором посылки в с. – д. фракцию депутации от солдат петербургского гарнизона, 2) на своей квартире производил переодевание солдат перед отправлением депутации, 3) участвовал в передаче с. – д. депутатам наказа революционного содержания, черновик которого был выработан в охранном отделении». В этой связи 13 ноября 1911 г. социал-демократическая фракция 3-й Государственной думы внесла запрос о «провокационной деятельности охранного отделения в целях приготовления обвинения депутатов с. – д. фракции 2-й Государственной думы в сношениях с военной организацией», что послужило предлогом к «государственному перевороту 3 июня» и аресту 37 депутатов, 17 из которых были приговорены к каторжным работам, 10 сосланы на поселение и 10 оправданы (Большевистская фракция IV Государственной думы. М.; Л., 1938. С. 392–397).

167

О своей провокаторской деятельности сама «Ирина» (Е. Н. Шорникова) рассказывала следующее: «Стала работать в социал-демократической партии. На конспиративной квартире виделась с генералом Герасимовым один раз, а с ротмистром Еленским все время, почти ежедневно. В это время я встретила партийного работника Анатолия, который просил работать у них. Охранное отделение согласилось, дабы провести меня в центр: я была организаторшей Атаманского полка. Подполковник Еленский настаивал на проведении меня в секретари организации. Случилось, что мне предложили быть секретарем петербургской военно-революционной организации. Я назвала всех организаторов солдат, дала боцмана Архипова (с катера Его Величества), всех членов партии боевой организации и социал-демократической фракции, Озоля и др., передала весь военный архив.

Само охранное отделение было преступно небрежно в отношении сотрудников, проваливая их. На Фурштадтской улице, в д. 4, кв. 5, принимали всех сотрудников в один час, рассортировывая по комнатам. О том, что Бродский оказывал услуги розыску, я не знала...

На массовке (летучке) солдат и офицеров в Лесном были два члена Государственной думы,

где и был выработан литератором, фамилию коего я не знаю, наказ. Я имела в военном комитете голос. На одном из заседаний комитета было решено, что сами солдаты должны идти в форме и нести наказ. Наказ не был составлен по инициативе охранного отделения, но, какую роль играло охранное отделение в выработке наказа, я не знаю, ибо работали [депутат Государственной думы И. П.] Озоль и Бродский. Я лично обращалась к фракции через Озоля. Подполковнику Еленскому я сообщила день и час, когда должны были явиться солдаты во фракцию. На это подполковник Еленский мне заявил, что начальник охранного отделения (генерал Герасимов) ездил к министру Столыпину, который выразил желание иметь наказ, который был еще написан от руки. Так как солдаты плохо читали по писаному, то мне, как секретарю, было предложено членами организации перепечатать его на пишущей машине. Заботясь об охранном отделении, я, вместо одного экземпляра, напечатала два экземпляра, причем первый экземпляр, с печатью комитета, я отдала в организацию, а второй – подполковнику Еленскому».

После вручения наказа депутатам («как только успели выйти, то прошло не более 5 минут, как явилась полиция») в связи с начавшимися арестами был поднят вопрос о причинах провала Петербургской военной организации РСДРП, и ротмистр В. И. Еленский, отблагодарив провокаторшу 35 рублями, предложил ей уехать из столицы «куда угодно». Шорникова вернулась на родину, но судебный следователь, не зная о секретной службе «товарища Ирины», прислал в Казань требование о взятии ее под стражу. В последующие несколько лет Шорникова, находясь под неофициальным прикрытием охранки, но опасаясь мести революционеров, металась по стране: Петербург, снова Казань, Самара, Уфа, где она вышла замуж за машиниста железнодорожного депо и даже устроилась «по специальности» под кличкой «Эртель». Но муж, узнав о секретной «службе» жены, развелся с ней, а в Самаре, куда Шорникова приехала, опознавший ее рабочий пригрозил «зарезать» провокаторшу, и та бежала в Саратов. «Она была, как полупомешанная... – вспоминал начальник Саратовского губернского жандармского управления М. С. Комиссаров, – без копейки денег, совершенно обтрепанная, деваться ей некуда было, показаться на улицу боялась...» Шорникова повторяла: «Для меня единственный выход – уехать в Южную Америку, или социал-демократы меня уничтожат».

Направившись из Саратова в Петербург, Шорникова обратилась к полицейскому начальству со слезной просьбой выделить ей денег для отъезда из России. Вопросом о судьбе бывшего секретного агента пришлось заниматься директору Департамента полиции С. П. Белецкому, товарищу министра внутренних дел В. Ф. Джунковскому и даже председателю совета министров В. Н. Коковцову. Определением Особого присутствия Сената от 26 июля 1913 г. дело об уголовном преследовании Шорниковой было наконец прекращено, после чего, получив вождеденные 1800 рублей, она спешно выехала за границу (подробнее см.: Падение царского режима: Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства. М.; Л., 1926. Т. 5. С. 94–98; см. там же: М.; Л., 1925. Т. 3. С. 1, 4–10, 84, 115, 119, 121, 123–124, 139, 150–154, 157, 208, 219, 222–227, 384, 412–424, 426, 428–430, 436, 453, 455, 457–459, 484, 504; Т. 5. С. 68, 87, 89–93, 123, 139–142, 231, 235, 259, 261, 420–421, 454).

Н. К. Крупская вспоминала: «Тянуло и нас поближе стать к французскому движению. Думалось, что этому поможет, если пожить во французской партийной колонии. Она была на берегу моря, недалеко от небольшого местечка Порник, в знаменитой Вандее. Сначала поехала туда я с матерью. Но в колонии у нас житье не вышло. Французы жили очень замкнуто, каждая семья держалась обособленно, к русским отнеслись недружелюбно как-то,

особенно заведующая колонией. Поближе я сошлась с одной французской учительницей. Рабочих там почти не было. Вскоре приехали туда Костицыны и Саввушка – впередовцы, и сразу вышел у них скандал с заведующей. Тогда мы все решили перебраться в Порник и кормиться там сообща. Наняли мы с матерью две комнатухи у таможенного сторожа. Вскоре приехал Ильич. Много купался в море, много гонял на велосипеде – море и морской ветер он очень любил, – весело болтал о всякой всячине с Костицыными, с увлечением ел крабов, которые ловил для нас хозяин» (

Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. М., 1931. Вып. 2. С. 49).

169

Первая статья Костицына, посвященная системам ортогональных функций, была напечатана в «Еженедельных отчетах о заседаниях [Парижской] Академии наук» в 1913 г.; см.:

Kostitzin V. Quelques remarques sur les syst?mes complets de fonctions orthogonales // Comptes rendus hebdomadaires des s?ances de l'Acad?mie des Sciences. 1913. Т. 156. Р. 292–295.

170

См.:

Костицын В. А. Об одном общем свойстве систем ортогональных функций // Математический сборник. 1912. Т. 28. № 4. С. 497–506;

Он же. Несколько замечаний о полных системах ортогональных функций // Там же. 1913. Т. 29. № 1. С. 134–139.

171

Ошибка: П. А. Некрасов состоял попечителем Московского учебного округа (в него входила и Смоленская губерния) в 1898–1905 гг., затем служил в Министерстве народного просвещения, а в 1908 г. вышел в отставку. Решение об увольнении принял А. А. Тихомиров, к которому директор Смоленского Александровского реального училища К. С. Реха обратился 7 июня 1912 г. с просьбой «перевести А. В. Костицына в какое-либо другое учебное заведение в другом городе или уволить в отставку, так как он прослужил уже 31 год». Это мотивировалось тем, что преподаватель «грубо и без всякого повода наговорил дерзостей и. о. инспектора»; «на торжественном акте в честь Ломоносова [8 ноября 1911 г.] довольно недвусмысленно жестоко обрушился на немцев, упрекая их в педантизме, непонимании русского человека и русской жизни, в придирчивости и т. п., чем снискал неистовые аплодисменты учеников»; «явно сочувственно относился к демонстративным выступлениям учеников против начальства»; «странно вел себя при разборе дела о беспорядках, совершенно отрицая виновность учеников», устроивших в декабре «забастовку» против «внешкольного надзора»; «прививал ученикам при своих объяснениях странные мысли» (что важнее – знания или поведение?) и т. д. Реха указывал также на «поразительно странное

отношение» Костицына к выходке двоечника Белдовского, который в разговоре с преподавателем назвал «хамством» отказ того исправить поставленную ему по русскому языку за четверть отметку «два» на единицу (ибо ни разу не отвечал), о чем сам же уведомил директора. Но на заседании Педагогического совета 10 мая 1912 г. Костицын «просил не только не наказывать Белдовского, но даже и не рассматривать самого инцидента, так как этот инцидент произошел у него на квартире и, по его убеждению, слово, сказанное Белдовским, сорвалось у него случайно вследствие того, что он был сильно расстроен и нервирован неожиданным для него недопущением к экзаменам». Костицын говорил, что он «по принципу избегает жалоб на учеников за выходки лично против него, и наказание Белдовского нарушило бы хорошие отношения между ним и учениками, выработанные годами». Хотя врач училища В. А. Самсонов подтвердил, что Белдовский «является наследственным неврастеником и поэтому легко возбуждается», Педагогический совет не нашел возможным уважить просьбу Костицына, но согласился подвергнуть ученика минимальному наказанию – «аресту на 3 часа в ближайшее воскресенье без сбавления балла в поведении». «Все эти факты, – подчеркивал Реха, – сами по себе довольно выразительны. Такой преподаватель приносит только вред училищу...». На докладе – резолюция попечителя Московского учебного округа Тихомирова от 7 июля: «Согласен. Уволить от службы с 1/VIII [19]12 г. за выслугой срока». 19 июля Тихомиров письменно уведомил директора о своем решении: «Увольняется от службы за выслугой срока преподаватель русского языка Смоленского Александровского училища Костицын с 1 августа 1912 года» (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Д. 6985. Л. 25–26, 34, 117; Д. 6465. Л. 58–59).

172

В отношении датировки описываемого инцидента автора подводит память, так как еще 14 мая 1909 г. тогдашний директор Смоленского Александровского реального училища Н. Я. Ушаков докладывал попечителю Московского учебного округа А. М. Жданову: «13 сего мая я подвергся оскорблению действием со стороны Константина Полесского-Щипилло, сына чиновника, родившегося 4 июня 1890 года, державшего в училище экзамен за 6 классов в качестве экстерна. Полесский-Щипилло был учеником 6 класса по 11 февраля сего года; в феврале он был удален из училища по следующей причине: 2 февраля Полесский в числе других учеников был на танцевальном вечере в женской гимназии и присутствовавшим там инспектором училища замечен в явной нетрезвости, почему и был удален из гимназии. Из расследования дела оказалось, что Полесский, бывший уже нетрезвым, принес с собой в гимназию бутылку водки, которую и распил там со своими знакомыми, в числе которых были ученики и посторонние лица. В заседании Педагогического совета 3 февраля мнения относительно меры взыскания за означенный проступок разделились, почему решение вопроса было представлено на благоусмотрение Вашего Превосходительства. Вы утвердили мнение меньшинства о необходимости удаления Полесского из училища с предоставлением права отцу ученика подать прошение об увольнении.

В мае текущего года Щипилло-Полесский приступил к письменным экзаменам, но, написав несколько работ совершенно неудовлетворительно, на последний письменный экзамен уже не явился. 13 мая он явился в канцелярию за получением документов, причем выразил возмущение тем обстоятельством, что в свидетельстве поведение его за все время пребывания в училище оценено баллом 4, а не 5, как он ожидал, полагая, что балл в поведении будет такой же, какой он имел при переходе из 5 класса в 6-й. В возбужденном состоянии он обратился к директору в коридоре за разъяснением этого вопроса, на что последний ответил ему, что балл в поведении должен быть выставлен за все время его пребывания в училище; если же он не доволен этим, то может обратиться к Попечителю Округа. В подробные объяснения с ним директор не имел возможности вступить, так как шел

из кабинета на экзамен. Через несколько минут после этого директору пришлось вторично пройти коридором в канцелярию, причем Щипилло-Полесский, надо думать, поджидавший этого случая, подскочил к нему и нанес оскорбление действием. Об изложенном мною донесено судебным властям и в департамент Министерства народного просвещения» (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Д. 5861. Л. 1, 5).

На следующий день о произошедшем сообщила одна из московских газет: «Смоленск. Вчера на экзаменах в реальном училище ученик Полесский-Щепилло, исключенный зимой учителем Ушаковым, а также проваленный в качестве экстерна на нынешних экзаменах, дал публично Ушакову пощечину» (Голос Москвы. 1909. № 109. 15 мая). В другой заметке говорилось: «После поездки директора реального училища Ушакова в округ по поводу пощечины, полученной им от ученика Щепилло, экстренно прибыл в Смоленск попечитель учебного округа, который, явившись в реальное училище с газетой “Голос Москвы” в руках, публично кричал: “Кто об этом сообщал? – вольного духа не потерплю”. Ушаков остается на посту директора училища» (Там же. № 113. 20 мая). Но уже летом он был переведен директором реального училища в Тулу, причем преподаватель А. В. Костицын, доносил К. С. Реха, относился к Ушакову «удивительно злобно», «питал прямо ненависть и, кто знает, быть может даже способствовал озлоблению учеников против Ушакова».

173

если хочешь мира, готовься к войне (лат .).

174

Конференция Международной комиссии по преподаванию математики проходила в Париже 1–4 апреля 1914 г.

175

Открытие IX чрезвычайного конгресса Второго Интернационала, проходившего 24–25 ноября 1912 г. в Базеле, было ознаменовано торжественным шествием делегаций к Мюнстерскому собору, где под звуки органа и звон колоколов были подняты красные знамена и состоялся антивоенный митинг.

176

Имеются в виду учащиеся Императорского училища правоведения.

177

От investiture (

фр.) – выдвижение на должность.

178

В своем «Жизнеописании» (1920) Костицын сообщал: «Вернувшись в Россию, поступил юнкером на офицерские теоретические курсы авиации при Петроградском Политехническом институте; их окончил по классу летчиков в марте 1917 года и был оставлен на них после производства в офицеры в качестве преподавателя аэромеханики; одновременно преподавал аэромеханику в офицерской школе морской авиации» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 158).

179

Американская компания Curtiss Aeroplane Company, созданная в 1910 г. авиаконструктором Г. Х. Кертисом, являлась крупнейшим в США производителем авиационной техники и авиадвигателей.

180

Временный комитет группы «Единство» включал рабочего, члена Государственной думы А. Ф. Бурьянова, «доктора, б. рабочего секретаря в Берне и Базеле» Н. В. Васильева, редактора журнала «Современный мир» Н. И. Иорданского, «солдата, начальника районной милиции» В. А. Костицына и «литератора, члена железнодорожного союза» В. Р. Чернышева (Единство. 1917. № 1. 29 марта).

181

Г. В. Плеханов приехал в Петроград 31 марта, В. И. Ленин – 3 апреля 1917 г.

182

С «кооптированными товарищами» во Временный организационный комитет,

переименованный затем в ЦК Всероссийской социал-демократической группы «Единство», входили Г. В. Плеханов (председатель), Л. Г. Дейч, Н. В. Васильев, В. Н. Катин-Ярцев, Н. И. Иорданский, Р. М. Плеханова, Э. М. Зиновьева-Дейч, Г. А. Алексинский, В. Р. Чернышев, В. М. Тетяев, А. Ф. Бурьянов, В. А. Костицын, М. Д. Чернышева (секретарь) (см.: Единство. 1917. № 35. 10 мая). Позже в ЦК были дополнительно включены А. П. Браиловский, П. Н. Дневницкий, К. И. Фельдман и А. И. Любимов (см.: Там же. № 55. 3 июня).

183

Сам А. И. Деникин вспоминал: «В 4 часа 29-го [августа 1917 г.] Марков пригласил меня в приемную, куда пришел помощник комиссара Костицын с 10–15 вооруженными комитетчиками и прочел мне “приказ комиссара Юго-западного фронта Иорданского”, в силу которого я, Марков и генерал-квартирмейстер Орлов подвергались предварительному заключению под арестом за попытку вооруженного восстания против Временного правительства». На автомобилях, в сопровождении броневиков, генералов отправили на гауптвахту, где развели по камерам. «Костицын, – отмечал Деникин, – весьма любезно предложил мне прислать необходимые вещи; я резко отказался от всяких его услуг...» Через пару дней, продолжал Деникин, «на гауптвахте появилась приступившая к опросу следственная комиссия, под наблюдением главного полевого прокурора фронта генерала Батога, под председательством помощника комиссара Костицына...». Но поскольку Иорданский настаивал на скорейшей передаче дела в военно-революционный суд, Костицын, указывая Деникин, «зайдя в мою камеру, от имени Маркова предложил мне обратиться совместно с ним к В. Маклакову с предложением принять на себя нашу защиту». Кроме того, «изредка Костицын знакомил нас с важнейшими событиями, но в комиссарском освещении эти события действовали на нас еще более угнетающе». 27 сентября, в день перевода арестованных из Бердичева в Быхов, «тысячная возбужденная толпа», жаждавшая немедленного самосуда, окружила гауптвахту. С ее крыльца, пытаясь успокоить солдат, «уговаривали толпу помощники комиссара Костицын и Григорьев», начальник юнкерского караула штабс-капитан В. Э. Бетлинг. «Наконец, – вспоминал Деникин, – бледные взволнованные Бетлинг и Костицын пришли ко мне: “Как прикажете? Толпа дала слово не трогать никого; только потребовала, чтобы до вокзала вас вели пешком. Но ручаться ни за что нельзя”. Я ответил: “Пойдем”. Снял шапку, перекрестился: Господи, благослови! Толпа неистовствовала. Мы – семь человек, окруженные кучкой юнкеров, во главе с Бетлингом, шедшим рядом со мной с обнаженной шашкой в руке – вошли в тесный коридор среди живого человеческого моря, сдавившего нас со всех сторон. Впереди Костицын и делегаты (12–15), выбранные от гарнизона для конвоирования нас». Осыпая арестованных ругательствами, забрасывая грязью и камнями, толпа не позволила вести их прямо к вокзалу: «...повели кружным путем, в общем, верст пять, по главным улицам города». Но и на вокзале, по словам Деникина, испытания не кончились: «Ждем час, другой. Поезд не пускают – потребовали арестантский вагон. Его на станции не оказалось. Угрожают расправиться с комиссарами. Костицына слегка помяли. Подали товарный вагон, весь загаженный конским пометом, – какие пустяки! Переходим в него без помоста...». Позже Керенский, иронизировал Деникин, пустил «слезу умиления», что, мол, по иронии судьбы «сообщник Корнилова был спасен от ярости обезумевших солдат членами исполнительного комитета Юго-западного фронта и комиссарами Временного правительства» (

Деникин А. И. . Путь русского офицера. М., 2007. С. 222, 228–229, 233–234).

184

В сводке за период с 24 августа по 6 сентября 1917 г., докладывая об усилении «пораженческой агитации» в войсках, «врид комиссарюз» В. А. Костицын предупреждал, что «надвигается волна большевизма как естественная реакция после корниловской авантюры», усилившей «недоверие к командному составу», из-за чего «помимо убийства [комиссара Юго-Западного фронта Федора Федоровича] Линде, [генерал-майора Константина Григорьевича] Гиршфельда, [генерал-майора Казимира Альбиновича] Стефановича, имеет место насилие над офицерами» (Революционное движение в Русской армии. 27 февраля – 24 октября 1917 года. М., 1968. С. 403, 592). Позже Костицын рассказывал, что ему пришлось «принимать участие в известном деле об убийстве взбунтовавшимися солдатами своего начальника дивизии ген. Гиршфельда, а также комиссара, шефа Костицына», и «только с применением хитрости ему удалось вывезти трупы убитых, которые солдаты не хотели отдавать» (

Стратонов В. В. . По волнам жизни // ГАРФ. Ф. Р – 5881. Оп. 2. Д. 669. Л. 225).

185

«Речь» (Петербург, 1906–1917) – ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, орган Конституционно-демократической партии (фактические руководители – П. Н. Милюков и И. В. Гессен).

186

В автобиографии В. А. Костицын ни словом не упоминает о своем участии в подавлении большевистского выступления в Виннице, где 15-й запасной полк, поддержанный солдатами пулеметной команды, авиапарка и броневого дивизиона, поддавшись на агитацию, отказался выступить на фронт, захватил оружейные склады 7-й армии и объявил о своем подчинении местному совдепу. Для подавления солдатского «бунта» Костицын выехал из Бердичева, где размещался штаб Юго-Западного фронта, в Винницу со сводным отрядом в составе трех казачьих сотен, батальона юнкеров (одной из рот командовал известный ему штабс-капитан В. Э. Бетлинг), пулеметного отделения, девяти броневиков и двух орудий под общим командованием полковника А. М. Абрамова и в сопровождении комиссара 7-й армии И. Д. Сургучева (беллетриста и драматурга). Явившись утром 25 октября 1917 г. на объединенное заседание ревкома и исполкома совдепа, Костицын потребовал незамедлительной отправки 15-го полка на передовую, выдачи оружия из складов и ареста вносящей «смуту в войска» большевички Е. Г. Бош (вчерашние соратники по борьбе с царизмом, теперь они стояли по разные стороны баррикад!). Но выступление комиссара на пленарном заседании совдепа, куда собралось около 130 человек, преимущественно распропагандированных большевиками солдат, было встречено откровенно враждебно, а попытка арестовать их вожака, поручика Игоря Зубрилина, для чего Костицын с небольшой охраной направился в расположение полка, едва не стоила ему жизни, и от расправы пришлось спастись чуть ли не бегством.

Хотя уже на следующий день Бош выехала в расположение 2-го гвардейского корпуса, расквартированного в окрестностях Жмеринки, за военной помощью против «карателей», а из Петрограда в Винницу пришло известие о свержении Временного правительства, к вечеру 28 октября юнкера окружили Народный дом и предъявили совдепу ультиматум за подписью

Костицына с предложением сложить оружие; на размышления давалось 15 минут. В результате пулеметного обстрела (вмешавшийся в схватку броневик красных был подбит и сгорел) здание взяли штурмом, арестовав в нем полсотни человек. Но всем большевикам удалось скрыться, и после ряда неудачных стычек с правительственными войсками, разобрав мост через Буг, повстанцы закрепились в центре Винницы, где установили пулеметы в окнах верхних этажей и на чердаках зданий, перекрыли улицы окопами и баррикадами.

Как вспоминал один из пленных, доставленных под конвоем на железнодорожный вокзал, Костицын, приехав туда на броневике, потребовал от них выдачи «подстрекателей», грозя-де расстрелять каждого десятого, а потом – и каждого пятого, из-за чего «некоторые в шеренге плакали, двое упали в иступлении и стали называть “мятежников”, главным образом – тех, кого не было в шеренге». В приказе, подписанном тем же утром, 29 октября, Костицын сообщал о подавлении «бунта», поднятого «горсткой безответственных лиц», заливших «братской кровью улицы Петрограда, Москвы, Киева, Винницы и других городов». Указывая, что «порядок восстановлен кровью и жертвами настоящих сынов Отечества», Костицын в качестве «военного комиссара Временного правительства» обещал «беспощадно душить всякую новую попытку бунта» против «революционной демократии» и, требуя немедленной сдачи захваченного оружия «представителям законной власти», объявлял Зубрилина «предателем Родины и Революции». Под влиянием начавшегося в полдень артиллерийского и пулеметного обстрела позиций «бунтовщиков» с левого берега Буга окруженные повстанцы согласились на мирные переговоры, от которых Костицын наотрез отказался, повторив свои ультимативные требования. Вечером, получив через парламентариев заявление растерявшегося Зубрилина о принятом им решении «прекратить военные действия 15-го полка» (большинство его солдат разбежалось, другие митинговали, а исполком совдепа, по сути, распался), Костицын, угрожая возобновлением обстрела, потребовал от «бунтовщиков» немедленно сложить оружие, разобрать баррикады на улицах и мостах, очистить здания телефонной станции и телеграфа. На следующее утро, 30 октября, вереницы солдат потянулись к Народному дому и, побросав там свои винтовки и пулеметы, разбрелись по окрестностям. Любые митинги и собрания, кроме похоронной процессии (а в ходе боев погибли четверо красных, двое юнкеров и одна местная жительница, задетая шальной пулей), были запрещены, и городская дума обратилась к Костицыну с выражением благодарности за «твердость и отсутствие колебаний, столь редкое у представителей власти в наше время». Но уже 2 ноября, узнав, что гвардейский корпус в Жмеринке, поддавшись на агитацию Бош, перешел на сторону большевиков и намерен двинуться на Винницу, Костицын со своим отрядом поспешил в Бердичев (

Логінов О. В., Семенко Л.І. Вінниця у 1917 році: Революція у провінційному місті. Вид. 2-ге, виправ. Вінниця, 2011. С. 165–171, 173, 176–177, 179–187, 191, 193).

Впоследствии А. И. Деникин писал: «Был такой случай с Костицыным в сентябре или октябре, уже после моего ареста: судьба столкнула его снова с начальником того юнкерского караула, штабс-капитаном Бетлингом, который в страшный вечер 27 сентября вел нас, “бердичевскую группу” арестованных, из тюрьмы на вокзал. Теперь Бетлинг с юнкерской ротой участвовал в составе карательного отряда, руководимого Костицыным, усмирявшим какой-то жестокий и бессмысленный солдатский бунт (кажется, в Виннице). И вот наиболее непримиримый член бердичевского комиссариата, хватаясь в отчаянии за голову, говорил Бетлингу: “Теперь только я понял, какая беспросветная тьма и ужас царят в этих рядах. Как был прав Деникин!” Помню, что этот маленький эпизод, рассказанный Бетлингом во время одного из тяжелых кубанских походов 1918 года, доставил мне некоторое удовлетворение: все-таки прозрел человек, хоть поздно» (

Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 2007. С. 211).

В. В. Стратонов тоже вспоминал, что, «как рассказывал Костицын, он был единственный, который одержал над большевиками победу. Дело происходило в Виннице, где Костицыну,

после трехдневных боевых схваток, сменявшихся переговорами с представителями большевиков (при последних он чуть не был предательски схвачен), удалось с помощью батальона юнкеров и небольшой части ударников обезоружить целую большевизированную дивизию. Его большевики объявили за это вне закона, и Костицыну пришлось скрываться в Петрограде под чужой фамилией» (

Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 225).

187

Всероссийская эвакуационная комиссия под председательством «чрезвычайного уполномоченного, снабженного диктаторскими полномочиями» была учреждена Совнаркомом 20 апреля 1918 г. «для наиболее быстрой и планомерной эвакуации военных и других грузов в новые места назначения»; упразднена 25 января 1919 г.

188

В заявлении от 6 мая 1918 г., адресованном чрезвычайному уполномоченному по эвакуации, В. А. Костицын писал: «Прошу предоставить мне службу во вверенном Вам учреждении. Я окончил курс Моск[овского] университета по математическому факультету и курс Парижского университета на Facult? des Sciences. Прошел Офицерские Теоретические курсы авиации при Петроградском Политехническом институте и состоял на них преподавателем аэромеханики» (РГАЭ. Ф. 1884. Оп. 23. Д. 2326. Л. 1). Позже в «Анкете для всех работников советских учреждений» Костицын указывал, что работал с 6 мая 1918 г. во Всероссийской эвакуационной комиссии («6 часов урочно и, сколько придется, сверхурочно»), в которую был рекомендован чрезвычайным уполномоченным по эвакуации М. К. Владимировым, а ранее служил «в авиационных войсках». Отвечая на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас работа в идейном отношении?», Костицын ответил: «Нет», а в пункте: «Какой партии принадлежите или Вы беспартийный?» поставил прочерк (ГАРФ. Ф. Р – 3524. Оп. 1. Д. 290. Л. 219).

189

Поиски нефти в долине р. Ухты Печорского края велись с конца XIX в., в 1916 г. было пробурено несколько скважин близ устья р. Чибью; летом 1918 г. туда была снаряжена новая геологическая экспедиция.

190

См.:

Kostitzin V . Sur la distribution des ?toiles dans les amas globulaires // Bulletin astronomique (Paris).

1916. Т. 33. Р. 289–293; см. также:

Kostitzin V . Sur la periodicit? de l'activit? solaire et l'influence des planets // Comptes rendus hebdomadaires des s?ances de l'Acad?mie des Sciences. 1916. Т. 163. Р. 202–204.

191

В своем «Жизнеописании» (1920) Костицын сообщал: «В мае 1918 года назначен управляющим делами Всероссийской эвакуационной комиссии, а с января 1919 года – управляющим делами Транспортно-материального отдела ВСНХ, откуда ушел в октябре 1919 года. За это время не прерывал научной работы и делал ряд попыток перейти на работу по прямой специальности, отклонил ряд предложений в провинциальные университеты, пока в июне 1919 года не был избран в профессора Московского университета по кафедре чистой математики» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 159). В 1919 г. Костицын был избран профессором Туркестанского государственного университета, в 1920 г. – Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, а в 1-м МГУ числился преподавателем (доцентом) по кафедре чистой математики до осени 1926 г., когда, возглавив кафедру геофизики, был утвержден ее профессором (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1007. Л. 120).

192

Введенный 6 июня 1919 г. в состав Государственного ученого совета «в качестве заместителя одного из членов» (ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 1. Д. 181. Л. 55), Костицын ежегодно до 1927 г. переизбирался членом его научно-технической секции, являясь также с 1922 г. членом ее редакционной подсекции по изданию учебников (см.:

Ермолаева Н. С. Центробежные силы судьбы В. А. Костицына // Историко-математические исследования. М., 2001. Вып. 41. С. 136).

193

«Всемирная литература» – петроградское издательство, созданное в сентябре 1918 г. по инициативе М. Горького; было ликвидировано в 1924 г. С. М. Закс «сломав себе шею» не за попытку закрыть «Всемирную литературу», как указывает мемуарист, а за отказ подчиниться решению специальной комиссии ЦК РКП(б) во главе с А. И. Рыковым, которая 22 сентября 1920 г. предписала Госиздату субсидировать поддерживаемое Горьким частное «Издательство З. И. Гржебина». В октябре Закс был смещен с должности заведующего Госиздатом и назначен его заграничным представителем (см.:

Динерштейн Е. А. Синяя птица Зиновия Гржебина. М., 2015. С. 213–226, 275;

Горький М . Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М., 2007. Т. 13. С. 118–119, 435–436).

Костицын заведовал Государственным техническим издательством с 15 августа 1920 г. по 31 июля 1921 г., после чего состоял товарищем председателя секции физики, электротехники и геофизики Научной комиссии НТО ВСНХ (см.: РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 147–149, 160).

Второй съезд Всероссийского астрономического союза проходил в Петрограде 23–27 августа 1920 г.

В. В. Стратонов вспоминал: «В октябре 1920 г. были назначены новые выборы. Деканом был избран я, товарищем декана – В. А. Костицын, а секретарем – О. К. Ланге» (

Стратонов В. С. Указ. соч. Л. 225). Но так как приват-доцент геолог О. К. Ланге вошел в правление 1-го МГУ, секретарем факультета избрали физика В. А. Карчагина.

См.:

Костицын В. А. Обзор литературы по вопросу о Курской магнитной аномалии // Печать и революция. 1922. Кн. 1. С. 157–162.

Ср.: «Теоретическая работа по определению положения и глубины магнитных масс велась проф. В. А. Костицыным. Заведование магнитным отделом Комиссии, энергично продолжавшим обследование местности, лежало на академике П. П. Лазареве. <...> Комиссия приступила к бурению после тщательного изучения места со всех сторон, и руда была найдена именно на той глубине, которая вытекала из расчетов В. А. Костицына» (

Костицын В. А. Курская магнитная аномалия. М.; Пг., 1923. С. 42–43). В свою очередь П. П. Лазарев, указывая, что определение глубин по точкам пересечения силовых линий было выполнено во многих местах им и А. И. Заборовским, далее пояснял: «Можно произвести более точные подсчеты, пользуясь уравнением магнитного поля и задавая точно форму лежащей под землей залежи. Такое определение сделано Костицыным. Результаты этих определений совершенно совпадают с тем, что было получено первым способом» (

Лазарев П. П. Курская магнитная и гравитационная аномалия. Пг., 1923. С. 47).

Так или иначе, но 9 декабря 1920 г. на заседании магнитного отдела Комиссии (под протоколом – подписи ее членов, в том числе председателя П. П. Лазарева и секретаря В. А. Костицына) были определены координаты для заложения буровой скважины в районе наибольшей вертикальной магнитной напряженности (см.: Курская магнитная аномалия: История открытия, исследований и промышленного освоения железорудных месторождений: Сб. документов и материалов. Белгород, 1961. Т. 1. С. 295–296; см. также:

Костицын В. А. О методах определения глубины магнитных залежей // Сообщения о научно-технических работах в Республике. М., 1920. Вып. 3. С. 194–196;

Он же. Методы определения положения магнитных масс // Труды Особой комиссии по исследованию КМА при президиуме ВСНХ. М.; Пг., 1924. Вып. 4. С. 8–34).

199

Президиум ВЦИК постановил «наградить орденом Трудового Красного Знамени коллектив особой комиссии по изысканию Курской магнитной аномалии и всех работников, принимавших участие в этих работах» (В президиуме ВЦИК // Правда. 1923. № 104. 12 мая).

200

2-й Московский государственный университет (2-й МГУ), созданный в 1918 г. на основе Московских высших женских курсов, имел три факультета – медицинский, химический (с 1919 г.) и педагогический (с 1921 г.).

201

Уже в конце 1920 г. Костицын, согласно его «Жизнеописанию», состоял преподавателем по кафедре чистой математики и товарищем декана физико-математического факультета 1-го МГУ, заведующим Государственным техническим издательством и членом коллегии НТО ВСНХ, а также «членом Государственного ученого совета, членом коллегии отдела научной литературы Наркомпроса, членом коллегии научно-популярного отдела Государственного издательства, членом редакционной коллегии и председателем математической комиссии Главпрофобра, профессором Коммунистического университета им. Свердлова, ученым секретарем Московского института математических наук, членом Особой комиссии по исследованию Курской магнитной аномалии, членом Всероссийского астрономического союза, членом Московского математического общества, членом Физического общества им. П. Н. Лебедева, членом правления Московского общества любителей астрономии» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 5159).

202

Имеется в виду кн.: Статистический метод в научном исследовании: Опыт коллективной интернаучной работы. М., 1925. 212 с.

203

От dissection (фр .) – вскрытие.

204

Костицын входил в президиум Ассоциации НИИ при 1-м МГУ с декабря 1922 г. (см.: ГАРФ. Ф. А – 298. Оп. 1. Д. 100. Л. 76).

205

Ср. со стенограммой выступления В. А. Костицына на встрече профессоров 1-го МГУ с зампредела Совнаркома А. Д. Цюрупой 4 февраля 1922 г.: «Организуется сейчас научная экспедиция для наблюдения солнечного затмения в Австралии. И вот я и директор Пулковской обсерватории Иванов должны были [войти] в обсуждение этого вопроса с Анатолием Васильевичем. Мы его ловили в Наркомпросе и не были приняты, несмотря на то, что директор Пулковской обсерватории и я, мы достаточно известны. Секретарь нас не принял. Затем мы пытались попасть в Кремль – это нам не удалось. Пошли на лекцию Анатолия Васильевича, с удовольствием прослушали ее, послали ему записку, но опять-таки никакого ответа не последовало. И я до сих пор не знаю – получил ли он наши записки или нет. Если люди с таким громким именем, как Иванов, и я, все же достаточно известный, так и не могли добиться личного свидания и разговора с Анатолием Васильевичем, то тем более в трудном положении оказываются другие» (ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 871. Л. 18).

206

На этом автобиография обрывается.

207

Запись от 19 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 1–3.

208

Двое из братьев Малкиных, Александр и Иосиф, поступили в Московский университет одновременно с Костицыным в 1902 г.: первый – на юридический факультет, второй – на физико-математический; в 1918 г. Александр и младший брат, Самуил, врач, служили во Всероссийской эвакуационной комиссии; в 1920 г. Малкины поменяли свою фамилию на Абарбанель.

209

Речь идет об И. Г. Гринберге – отце Ю. И. Гринберг, будущей жены В. А. Костицына.

210

Имеются в виду дети И. Г. Гринберга: Юлия и ее сестры, старшая Елена и младшая Екатерина, и брат Сергей.

211

Запись от 20 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 4–6.

212

благодарственный визит (
фр .).

213

объект для охоты, собственного пользования (
фр .).

В своем «Curriculum vitae», написанном в марте 1920 г., И. Г. Гринберг сообщал: «По окончании среднего учебного заведения в России я отправился в Германию, где в течение двух лет изучал коммерческие науки. Из Германии я поехал в Лодзь, где в продолжение семи лет работал на мануфактурных фабриках в качестве главного бухгалтера, а потом – коммерческого директора. После семилетней работы в 1883 г. был послан Обществом Лодзинских фабрикантов в качестве их представителя в Москву. Этими представительствами я ведал в течение более 20 лет, причем получил за это время еще представительства английских и германских фабрик по текстильной и металлургической промышленности. Так как мне по делам одной из этих фирм (Акц[ионерного] общ[еств]а И. К. Познанского в Лодзи) приходилось часто ездить в Среднюю Азию (Коканд, Самарканд, Ст[арая] Бухара и др.), то я, приобретая за это время опыт и знания по хлопку, окончательно посвятил себя хлопковому делу. Как раз к этому времени банки начали заниматься товарными операциями, и меня как специалиста-хлопковеда пригласил бывший Сибирский торговый банк. В последнем я работал около 10 лет, стоя во главе всего хлопкового дела с очень крупными оборотами. Ушел я из банка, лишь когда таковой был закрыт. По выбору я был членом Московского хлопкового комитета и Центрохлопка. Владею немецким, французским, польским и отчасти английским языками» (РГАЭ. Ф. 5420. Оп. 17. Д. 762. Л. 13).

215

Запись от 21 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 6–11.

216

Запись от 22 марта 1950 г. – Там же. С. 12–15.

217

Ср. в «Краткой автобиографии (curriculum vitae)» (1914): «Я, Юлия Ивановна Гринберг, родилась 27 октября 1896 г. в Москве. До семилетнего возраста воспитывалась дома. В 1903 г. поступила в 1-й приготовительный класс Елизаветинской женской гимназии. Потерявши по болезни целый учебный год, в 1909 г. перешла по экзамену в 4-й класс гимназии Л. О. Вяземской, которую успешно окончила в 1913 г. По окончании гимназии, т. е. в 1913/14 г., занималась изучением банкового дела и коммерческих наук. В настоящее время, по возвращении из заграничного путешествия, желая получить высшее образование, имею намерение поступить в Московский коммерческий институт» (ЦГА Москвы. Ф. 417. Оп. 10. Д. 1139. Л. 8). Московский коммерческий институт был создан в 1907 г. (с 1919 г. – Московский институт народного хозяйства им. К. Маркса, с 1924 г. – им. Г. В. Плеханова); в числе преподавателей Ю. И. Гринберг были И. Х. Озеров (наука о финансах), П. И. Новгородцев (введение в философию), Б. П. Вышеславцев (история политических учений), С. А. Котляревский (государственное право), А. А. Кизеветтер (русская история), И. А. Ильин

(семинарий по общей теории права) и др.

218

Запись от 23 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 16–20.

219

«Les Lettres fran?aises» (1942–1972) – общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельник.

220

Запись от 24 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 20–22.

221

К. Гамсун, мечтавший о включении Норвегии в «Великую Германскую империю», симпатизировал нацистам и встречался в Берлине с Гитлером, которому посвятил прочувствованный некролог; писатель поддерживал норвежского «министра-президента» В. Квислинга, организовавшего депортацию евреев в лагеря смерти, и, осуждая движение Соппротивления, до конца войны носил значок Национал-социалистической партии Норвегии.

222

См. рус. переводы романов Л. В. Брууна: Счастливые дни Ван-Цантена / Пер. М. Н. Мейчика. М.; Пг., 1923; Обетованный остров Ван-Цантена / Пер. М. Мейчика. М.; Пг., [1924] и др.

223

Студии Московского художественного театра: 1-я (1912, руководитель – Л. А. Сулержицкий, в 1924–1936 гг. – 2-й МХАТ); 2-я (1916–1924, руководитель – В. Л. Мchedлов); 3-я (1920, руководитель – Е. Б. Вахтангов, с 1926 г. – Театр им. Е. Вахтангова); 4-я (1921, руководитель – Г. С. Бурджалов, в 1927–1937 гг. – Реалистический театр).

224

«Росмерсхольм» (1918, 1-я студия МХТ; режиссер – Е. Б. Вахтангов).

225

Правильно: «Узор из роз» (1920, 2-я студия МХАТ; режиссер – Е. Б. Вахтангов).

226

Правильно: «Король темного чертога» (1918, МХТ; худож. руководитель – В. И. Немирович-Данченко, режиссер – Н. С. Бутова).

227

«Синяя птица» (1921, 2-я студия МХАТ; режиссер – В. Л. Мчеделов).

228

«Горячее сердце» (1926, МХАТ; режиссер – К. С. Станиславский).

229

Правильно: «Король без венца» (1918, «Свободный театр»).

230

Балет «Тщетная предосторожность» (1789; либретто Ж. Доберваля, музыка П. Гертеля) был поставлен в Большом театре в 1891 г., возобновлен в 1922 г. в редакции А. А. Горского.

231

Правильно: балет «Любовь быстра!» (др. названия – «Норвежская идиллия», «Норвежская сказка»); поставлен А. А. Горским на музыку «Симфонических танцев» Э. Грига в оркестровке А. Ф. Арендса в Большом театре (1913), возобновлен на сцене летнего театра сада «Аквариум» (1918).

232

Имеются в виду оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (1900) и Р. Вагнера «Золото Рейна» (1854).

233

Опера В. А. Моцарта (1782), которая под названием «Похищение из гарема» шла в театре Художественно-просветительного союза рабочих организаций, созданного в 1918 г. Ф. Ф. Комиссаржевским при сотрудничестве В. М. Бебутова.

234

Пьеса И. Д. Сургучева «Осенние скрипки» была поставлена в Московском художественном театре в 1915 г., шла она там и в 1918 г.

235

Спектакль «Сверчок на печи» (по Ч. Диккенсу) был поставлен Б. М. Сушкевичем в 1-й студии МХТ в 1914 г.

236

Оперетта «Дочь мадам Анго» (1872) на музыку Ш. Лекока была поставлена В. И. Немировичем-Данченко в Музыкальной студии МХАТ в 1920 г. (режиссер – В. В. Лужский).

237

Оперетта «Жирофле-Жирофля» (1874) на музыку Ш. Лекока была поставлена А. Я. Таировым в Камерном театре в 1922 г.

238

Правильно: «В старом Гейдельберге» – комедия по пьесе, написанной в 1902 г. немецким драматургом В. Мейер-Ферстером; премьера в Малом театре в постановке режиссера А. М. Кондратьева состоялась в 1904 г.

239

Запись от 25 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 22–29.

240

Коммерческие игры – карточные игры, основанные на расчете (вист, преферанс, покер и др.), в отличие от азартных, в которых выигрыш – дело случая.

241

Согласно «описи владения» по состоянию на 9 июня 1914 г., семья домовладельца, каковым значилась Г. С. Гринберг, занимала квартиру № 3/4 (на втором этаже) площадью 77,2 кв. сажени (351,2 кв. м), имевшую 17 окон и состоявшую из 9 комнат (плюс 2 комнаты для прислуги), кухни и 2 ванных (см.: ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6737. Л. 1).

242

Запись от 26 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 29–35.

243

Английская набережная, ставшая символом Ниццы.

244

Экссудат – жидкость, накапливающаяся в тканях или полостях при воспалении.

245

неприятные обязанности (фр .).

246

Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» был поставлен А. А. Горским в Большом театре в 1919 г.

247

Запись от 27 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 36–41.

248

Имеется в виду Пролетарский университет в Москве (1918–1920), открытый Пролеткультом для подготовки кадров «рабочих вождей» с помощью новых форм обучения, основанных в первую очередь на равноправии преподавателей и слушателей.

249

Запись от 28 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 41–43.

250

Имеется в виду Министерство народного просвещения.

251

Работая астрофизиком Ташкентской обсерватории, В. В. Стратонов опубликовал по-русски несколько своих работ: «О строении вселенной» (Ташкент, 1901), «Наблюдения переменных звезд» (Ташкент, 1904), «Фотографические наблюдения планеты Эроса» (Ташкент, 1904).

252

Ошибка. С лета 1905 г. В. В. Стратонов служил в Тифлисе помощником начальника канцелярии главноначальствующего по военно-народному управлению и чиновником для особых поручений при императорском наместнике на Кавказе, редактировал «Кавказский календарь» (на 1908 г. и 1909 г.) и официальную газету «Кавказ» (1910–1911).

253

Неясно, какие издания Костицын имеет в виду.

254

Стратонов В. В. Солнце: Астрономическая популярная монография. [Тифлис], 1910.

255

Неточность: в 1912–1917 гг. В. В. Стратонов служил контролером отделений Госбанка в Орле, Муроме и Твери, управляющим отделением в Ржеве.

256

См.: Космография: (Начала астрономии): Учебник для средних учебных заведений и руководство для самообразования. М., 1914 (переиздание – 1915). Стратонов также выпустил в эти годы популярную брошюру: Здание мира: Астрономический очерк. Пг., 1916.

257

Учитывая оппозицию члена коллегии научного отдела Наркомата просвещения РСФСР В. Т. Тер-Оганезова плану организации Главной астрофизической обсерватории, В. В. Стратонов решил, по его словам, «вовлечь в это дело Костицына», ибо он «как бывший большевик имел еще хорошие связи в коммунистических кругах». После спора с Тер-Оганезовым на заседании Государственного ученого совета 25 марта 1921 г. Костицын был включен в оргкомитет по реализации проекта; впоследствии, как признавался Стратонов, ему не раз приходилось «пускать в ход Костицына и все его влияние и связи» для спасения обсерватории от закрытия (

Стратонов В. В. По волнам жизни // ГАРФ. Ф. Р – 5881. Оп. 2. Д. 669. Л. 241).

258

Запись от 29 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 44–51.

259

Запись от 30 марта 1950 г. – Там же. С. 52–57.

260

исключительный человек (

фр .).

261

Профессор П. Н. Лебедев подал в отставку в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо, который в январе 1911 г. выпустил ряд циркуляров («О надзоре за учащимися высших учебных заведений», «О временном недопущении публичных и частных студенческих заведений» и др.), направленных на ликвидацию университетской автономии; это вызвало отставку ректора А. А. Мануйлова, а вслед за ним – еще 130 преподавателей, в том числе двух десятков профессоров.

262

Неточность: имеется в виду статья «Наука и свобода» (Русские ведомости. 1917. № 4. 24 февр.), в которой К. А. Тимирязев заявлял, что «единственным вершителем судеб института оказался П. П. Лазарев», причем «новый институт оказался закрытым для учеников Лебедева, т. е. была уничтожена основная мысль его инициаторов – вместо убежища для многих, потерпевших от погрома, он оказался достоянием одного».

263

По свидетельству В. В. Стратонова, «шутники говорили, что П. П. Лазарев занимает 60 должностей, о которых он помнит, и еще 200 таких, о которых он не вспоминает до времени, пока ему не приносят по ним содержание». Будучи «крайне честолюбивым», Лазарев «мастерски пускал в глаза пыль», не всегда даже скрывая свое ироническое отношение к большевикам. Как-то, вспоминая Стратонов, он заинтересовался у него, для чего предназначен лежащий во дворе института «кусочек очень толстого океанского кабеля», на что «круглое лицо Лазарева расплылось, сквозь очки, в хитрую усмешку: “Для втирания очков советской власти!” Этим делом он с успехом занимался, показывая свой физический институт знатным посетителям» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 241).

264

Запись от 31 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 59–65.

265

английским тортом (

фр .).

266

чаепитие, легкое угощение (

фр .).

267

Запись от 2 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 74–87.

268

Имеется в виду книжный магазин, ранее принадлежавший издательству «Товарищество М. О. Вольфа», ныне – «Книжная лавка писателей» (Кузнецкий мост, д. 18/7).

269

Белые цветки померанцевого дерева – принадлежность свадебного убора невесты, олицетворяющие ее чистоту и непорочность.

270

Имеется в виду Мирза Мухитдин Мансуров – деловой партнер И. Г. Гринберга и крупнейший бухарский купец-миллионер. Избранный в 1917 г. председателем ЦК младобухарцев, он, спасаясь от преследований эмира Сеид Алим-хана, скрывался в 1918 г. в Новой Бухаре и Ташкенте, откуда ЦК бухарских коммунистов отправил его в Москву для переговоров о «формировании Красной Бухарской бригады и снабжении ее оружием, обмундированием и инструкторским персоналом». В столице Мансуров добился возмещения стоимости реквизированного у него большевиками в России хлопка и каракуля, пообещав организовать революцию в Бухаре, после чего, по утверждению недоброжелателя, «через Гринберга закупил шведские кроны, передав их на хранение Гринбергу и другим через Гринберга (часть пропала), жил скромно и скупно, время от времени осуществлял какую-нибудь спекулятивную операцию через сына Мирза Амина» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 113. Л. 19). После насильственной советизации ханства в сентябре 1920 г. Мансуров состоял назиром (наркомом) торговли и промышленности Бухарской народной советской республики и в качестве председателя ее делегации приезжал в Москву, где 4 марта 1921 г. подписал Союзный договор с РСФСР (подробнее см.:

Генис В. Л. . Вице-консул Введенский: Служба в Персии и Бухарское ханство (1906–1920 гг.). М., 2003).

271

Запись от 3 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 87–93.

272

Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского, открывшийся в 1908 г. на средства мецената-золотопромышленника и названный его именем, с 1912 г. размещался в специально построенном для него здании на Миусской площади.

273

В «Обзрении преподавания по физико-математическому факультету Объединенного Московского университета» в осеннем семестре 1919 г. по математике значатся профессора С. С. Бюшгенс, С. П. Виноградов, А. К. Власов, А. А. Дмитриевский, Д. Ф. Егоров, И. И. Жегалкин, Л. К. Лахтин, Н. Н. Лузин, Б. К. Млодзеевский, П. А. Некрасов, А. П. Поляков, С. П. Фиников, И. И. Чистяков, В. П. Шереметевский и преподаватели Н. А. Глаголев, В. А. Костицын (три лекции по теме: «Разложение в ряды потенциальных функций»), В. В. Степанов, В. С. Федоров (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 220. Л. 1).

274

См.:

Лоренц Г. А. . Элементы высшей математики: Основания аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления и их приложений к естествознанию / Пер. с доп., изм. и историческим очерком развития математического анализа В. П. Шереметевского. М., 1898–1901. Т. 1–2.

275

Лоренц Г. А. . Элементы высшей математики: Основания аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления и их приложений к естествознанию / Изд. вновь просм. и доп. О. В. Шереметевской, под ред. проф. В. А. Костицына. М.; Л., 1926.

276

Запись от 4 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 93–100.

277

Запись от 5 апреля 1950 г. – Там же. С. 100–104.

278

Доберман-пинчер по кличке Треф, принадлежавший околоточному надзирателю московской городской полиции Владимиру Дмитриеву, получил в 1909 г. диплом сыскной собаки и прославился как участник раскрытия более полутора тысяч преступлений.

279

Запись от 6 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 104–109.

280

играющим по правилам (англ .).

281

Поэт-имажинист А. Б. Мариенгоф, знавший С. В. Громана еще по их учебе в пензенской гимназии, вспоминал, что тот разъезжал по Москве «в огромной машине канареечного цвета, реквизированной у охотнорядского купца», «не расставался с толстым портфелем из крокодиловой кожи и ходил в превосходной оленьей дохе, полученной по ордеру»: «Большевики меня ценят, – говорил Сережа Громан, величаво надуваясь. – Я с ними работаю, но отношусь к ним, если хотите знать, весьма критически: европеизма товарищам не хватает. Широких плехановских обобщений». Двадцатилетний Громан не только критиковал, но и столь же ревностно эвакуировал. Вероятно, что нужно и что не нужно. В конце концов, как нетрудно догадаться, назвакуировался и накритиковался до Лубянки. Просидел он недолго, но после этого “недоразумения”, как говорили все попавшие за решетку, его больше не затрудняли ответственной работой» (

Мариенгоф А. . Мой век, мои друзья и подруги // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания [А. Б.] Мариенгофа, [В. Г.] Шершеневича, [И. В.] Грузинова: Сб. М., 1990. С. 53–54).

282

Запись от 7 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 109–115.

283

Запись от 8 апреля 1950 г. – Там же. С. 116–125.

284

основное блюдо (
фр .).

285

Главный персонаж комического балета французского композитора Лео Делиба «Коппелия, или Красавица с голубыми глазами» (1870); либретто написано по новелле Э. Гофмана «Песочный человек».

286

помехи, осложнения (
фр .).

287

Запись от 9 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 125–133.

288

На заседаниях Московского математического общества в 1919–1922 гг. Костицын сделал следующие доклады: 1) «Распределение звезд в звездных кучах» (19.10.1919), 2) «Об интегральном уравнении Кундта и Варбурга» (21.03.1920), 3) «О новейших успехах математики за границей» (19.12.1920), 4) «Нелинейные интегральные уравнения, разрешимые в эллиптических функциях» (16.01.1921), 5) «Гистерезис и интегральные уравнения» (20.02.1921), 6) «Об одном классе интегральных уравнений» (18.12.1921), 7) «Курская магнитная аномалия» (22.10.1922), 8) «О внутреннем строении звезд» (24.12.1922) (см.:

Александров П. С., Головин О. Н. Московское математическое общество. Список научных докладов, сделанных на заседаниях Московского математического общества с момента Октябрьской революции и по март 1946 г. // Успехи математических наук. 1957. Т. 12. Вып. 6 (78). С. 28–30).

289

Неточность: А. А. Волкова задержали 28 августа 1919 г. на квартире уже арестованного Н. Н. Щепкина, в которой чекисты устроили засаду, и при обыске изъяли «отрывок сообщений, присланных в виде фотографических пленок, в переписанном уже на машинке виде, с нерасшифрованными еще местами»; на допросе арестованный «показал, что взялся расшифровать нерасшифрованные места этого письма по просьбе Владимира Александровича Астрова в виде личной услуги» (Красная книга ВЧК. М., 1989. Т. 2. С. 14).

290

Ошибка; имеются в виду педагог Александр Данилович Алферов (1862–1919) и его жена Александра Самсоновна (1868–1919), директор частной женской гимназии, расстрелянные 12 сентября 1919 г. по делу «Национального центра»; мемуарист путает их с деятелем народного просвещения В. П. Вахтеровым и его женой Э. О. Вахтеровой.

291

В обращении «Ко всем гражданам Советской России», опубликованном в «Известиях» 23 сентября 1919 г., сообщалось о раскрытии контрреволюционной организации «Национальный центр» и расстреле 67 ее участников.

292

См. воспоминания В. В. Стратонова: «Весьма популярный в ту пору в академической среде Сергей Алексеевич Чаплыгин, возглавлявший Высшие женские курсы до их слияния с университетом, по специальности профессор механики, сначала, как видный кадет, подвергался преследованиям, и ему даже приходилось скрываться от ареста» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 240).

293

Запись от 10 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 134–141.

294

О. Ю. Шмидт был избран действительным членом Московского математического общества в январе 1922 г.

295

Еженедельный столичный журнал «Ребус» (1881–1918) был посвящен вопросам спиритизма и медиумизма.

296

См.:

Жегалкин И. И. Введение в анализ: Учебник для высших педагогических учебных заведений. М., 1935.

297

Автора подвела память: Л. К. Лахтин скончался 14 июля 1927 г. и похоронен на Новодевичьем кладбище.

298

Эксцентриситет параболы равен единице.

299

Запись от 11 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 142–149.

300

1 августа 1921 г. В. А. Костицын был избран товарищем председателя секции физики, электротехники и геофизики научной комиссии НТО ВСНХ (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 147–148).

301

Критика началась с постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об учебниках по истории» от 26 января 1936 г. В дальнейшем утверждалось, что, «заменяя конкретную историю социологией, факты – абстрактной схемой, Покровский и его “ученики” по существу пытались ликвидировать историю как науку», а «антимарксистские, антиленинские взгляды и концепции Покровского» были «использованы врагами социализма для протаскивания, под флагом марксизма, своей буржуазной идеологии и контрреволюционных “теорий”». Более того, «школа Покровского» оказалась-де «базой для вредительства со стороны врагов народа, разоблаченных органами НКВД, троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, вредителей, шпионов и террористов, ловко маскировавшихся при помощи антиленинских исторических концепций М. Н. Покровского», и «оголтелая банда врагов ленинизма долго и безнаказанно проводила вредительскую работу в области истории» (

Панкратова А. Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского: Сб. ст. М.; Л., 1939. Ч. 1. С. 5–7; см. также:

Ярославский Ем. Антимарксистские извращения и вульгаризаторство т. н. «школы» Покровского // Исторический журнал. 1939. № 2. С. 47–54).

302

30 июля 1918 г. Совнарком утвердил «Список лиц, коим предложено поставить монументы в г. Москве и других городах РСФСР», а в рамках книжной серии «Кому пролетариат ставит памятники» отдел печати Моссовета издал в 1919–1920 гг. ряд биографических брошюр карманного формата, в том числе о К. Марксе, Ф. Энгельсе, Ж. – П. Марате, М. Робеспьере, Р. Оуэне, Э. Золя, С. Разине, Н. Г. Чернышевском, С. Халтурине, М. Е. Салтыкове-Щедрине, Т. Г. Шевченко и др.

303

Запись от 12 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 150–159.

304

Ср. с воспоминаниями В. В. Стратонова: «Тер-Оганезов окончил физико-математический

факультет в Петрограде и хорошо сдал экзамены. Иванов оставил его при университете стипендиатом по кафедре астрономии. Но после этого он перестал заниматься, уклонился от представления какого-либо отчета о своих работах в качестве стипендиата, почему и был исключен из списка оставленных при университете. Осенью 1917 г. он явился к Иванову с повинной, прося восстановить его в положении оставленного при университете. Иванов снисходительно пошел ему навстречу и обещал, если Тер-Оганезов представит какую-либо работу, восстановить его в положении университетского стипендиата. Никакой работы он не представил, но... вслед за тем произошел большевицкий переворот, и Тер-Оганезов оказался во главе всех ученых учреждений России. Точнее – он был назначен членом коллегии научного отдела Народного комиссариата просвещения. Но возглавлял этот отдел большевик Рязанов, который в качестве большого большевицкого барина предпочитал жить в Петрограде и наезжал в Москву только раз в несколько месяцев и при том на самый короткий срок. Фактическое же возглавление научного отдела он предоставил Тер-Оганезову. Этот молодой человек своей, необычайной для него, карьерой был обязан, как я слышал, протекции своего товарища по тифлисской гимназии или родственника, закавказского армянина Караханьянца, выступающего ныне на видных постах по дипломатическому поприщу под фамилией Карахана» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 96).

305

Еще 11 сентября 1919 г. Наркомат просвещения РСФСР принял постановление «Об организации рабочих факультетов при университетах», законодательно оформленное 17 сентября 1920 г. декретом Совнаркома «О рабочих факультетах». На торжественном открытии рабфака, состоявшемся еще 8 октября 1919 г., выступили назначенный его заведующим Н. А. Звягинцев, член Временного президиума 1-го МГУ в 1920–1921 гг., и замнаркома М. Н. Покровский, в ознаменование 25-летия научно-педагогической деятельности которого 26 октября 1920 г. рабочему факультету было присвоено его имя.

306

Запись от 13 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 160–165.

307

В. В. Стратонов, работавший в Книжном центре в качестве председателя секции физико-математических наук и техники, был весьма невысокого мнения о способностях Д. А. Магеровского («неукротимого фонтана говорливости») и вспоминал: «Справедливо отметить, что бывали моменты, когда в Книжном центре налаживалась более толковая работа. Это случалось, когда Магеровский отлучался на продолжительное время, и его заменял В. А. Костицын, профессор математики, бывший большевик, а потому имевший влиятельные знакомства» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 199).

308

насмешливый, язвительный ум (фр .).

309

Запись от 14 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 166–176.

310

Лазурный берег (Французская Ривьера).

311

Запись от 15 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 177–181.

312

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь», впервые поставленная в Большом театре в 1898 г., была возобновлена там 23 апреля 1920 г. (режиссер А. А. Санин).

313

Героическая комедия в стихах Э. Ростана (1897) в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник была поставлена А. А. Саниным в Театре Корша в 1920 г.

314

«Сирано де Бержерак» был заново поставлен театром «Комеди Франсэз» в 1938 г.

315

Речь идет об американском фильме «A Midsummer Night's Dream» (1935, режиссеры М. Рейнхардт и У. Дитерле).

316

Пассивность, индифферентность ради душевного спокойствия.

317

Верхнюю заостренную часть красноармейского шлема (буденовки) иронически называли «умоотводом».

318

Можно предположить, что речь идет о ростовском поэте А. П. Ковалеве, который выпустил жизнеописание Бахауллы, основателя бахаизма (Бага-Уллах – его жизнь и деятельность / Под ред. А. П. Ковалева. Ростов-на-Дону, 1910) и поэтический сборник «Пажьи напевы: Книга песен» (Ростов-на-Дону, 1913), в предисловии к которому возвещал о том, что 4 октября 1912 г. возникло «Великое Светоносное братство».

319

Запись от 16 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 182–192.

320

Управление Московского учебного округа на Волхонке.

321

Еще 18 мая 1923 г. В. И. Вернадский записал в дневнике: «Б[орель] говорит <...>, что сюда собираются приехать Лузин и Костицын из Москвы для организ[ации] связи русских и французов. Ученый Костицын – коммунист? – бывший, но влиятельный. В общем, он был (и есть?) член Уч[еного] ком[итета] (ГУС); делал, что мог. Во всяком случае, с ним можно было говорить, и у него были большие коммунист[ические] связи. Б[орель] предлагал мне тот же вопрос, который я предлагал в Москве: есть ли у него научные работы?» (Вернадский В. И. Дневники: Март 1921 – август 1925. М., 1998. С. 98). 28 сентября Вернадский изложил сообщенное ему Костицыным, о котором отзывался так: «Математик из эмигрантов. “Левый”. Имел известный авторитет у коммунистов. Шел на всякие уступки. Член Госуд[арственного] учен[ого] сов[ета]. Большую роль играет в моск[овских] матем[атических] орг[анизациях]. Недавно при утверждении устава Москов[ского] матем[атического] общ[ества] получена бумага, что Общество утвердят, если будут исключены из него – Д. Ф. Егоров и В. А. Костицын (треб[ует] Ком[иссариат] вн[утренних] дел). После переговоров остались членами».

Относительно подробная, хотя и весьма конспективная дневниковая запись «Из разговоров с Влад[имиром] Алекс[андровичем] Костицыным» показывает, что он не скрывал от Вернадского советские реалии и, настроенный весьма пессимистически, сетуя на «беспросветное невежество», рассказывал: «Начинается чистка профессоров. Понижается уровень студентов и требований. Висят объявления о доносах на профессоров: обещается пайка. Среди рабфаков – не встречались талантливые. Университеты превращаются в прикладные учебные заведения. Шпионаж и сыск среди слушателей. Научные работники из старых. Этот год – 1923 год – в высшей школе и науч[ной] раб[оте] будет очень тяжел – но кончится Каноссой. <...> Положение [высшей] школы невыносимое. Студенты следят друг за другом. Ябедничество и доносы даже на сдаче работ; преподаватели доносят на товарищей». Костицын поведал Вернадскому и о деятельности конкретных научных обществ и учреждений, положении и настроениях отдельных ученых, в частности: «Изменяются профессора. М. А. Шателен теперь поклонник Ленина. В реформе высшей технической школы – профессор Шмидт. <...> Кареев и Гревс исключены: запрещена педагогическая деятельность». 7 октября Вернадский писал дочери: «Видел двух молодых ученых, уехавших только что оттуда – одного скорее правого, другого (математика Костицына) – когда-то persona grata в советской среде, “старого” эмигранта, левого. Оба дают одну и ту же картину – давящего, тупого, беспросветного. Костицын говорит, что этот год будет очень тяжелым для высшей школы и для научной работы...» («Из разговоров с Владимиром Александровичем Костицыным»: Страничка из дневника Владимира Ивановича Вернадского 1923 года // Берега. 2015. Вып. 19. С. 49–51).

322

Ср. с воспоминаниями В. В. Стратонова о Д. Н. Артемьеве: «На меня он производил впечатление, прежде всего, эпикурейца. Ради сохранения за собой земных благ изменил рядам профессуры – он был профессором минералогии в Казани. Был ли он членом большевистской партии, точно не знаю, но скорее, что был. Во всяком случае, он пользовался всеми привилегиями “партийца”; однако его большевизм был чисто налетным. Всегда на первом месте были его личные дела. <...> Все же ему как-то не сиделось спокойно, он стремился к чему-то лучшему. Одно время, с его участием, стала затеваться научная экспедиция в Африку. Экспедиция предполагалась длительная, на два года, и средства на нее испрашивались громадные. Я догадывался, что если Артемьев в эту экспедицию и поедет, то назад в РСФСР он уже не вернется... Однако, из-за слишком больших денежных запросов, экспедиция не состоялась».

Тем временем Артемьев действовал во вновь учрежденной в Москве горной академии и даже

был первым, если не ошибаюсь, ее ректором. При нем протекала организация академии (и его кафедры), причем в нее жертвовались в изобилии отбираемые у буржуазии драгоценные камни. В качестве большевицкого сановника Артемьев разъезжал в парном экипаже из бывших царских конюшен. Он появлялся изредка на физико-математическом факультете Московского университета, где числился профессором. На собраниях факультета профессора относились к Артемьеву сдержанно-корректно, но чувствовалась боязливая недоброжелательность. Сам Артемьев держал себя несколько излишне развязно, быть может, скрывая за этой развязностью чувство некоторой неловкости перед коллегами.

В дальнейшие годы Д. Н. Артемьев оказался на постоянном жительстве за границей. Как это случилось, не знаю, но, должно быть, он не возвратился из командировки, стал «невозвращенцем». В Берлине ходили какие-то плохие разговоры по поводу попыток Артемьева реализовать бриллианты... Молва говорила, что эти бриллианты были из числа переданных в горную академию. К эмигрантским ученым он не пристал, его сторонились, и он это знал. Видел я несколько изданных им за границей популярных книжонок. М. М. Новиков где-то с Артемьевым встретился и рассказывал мне о таком с ним разговоре: «Если бы я знал, что 'они' будут высылать ученых, стал бы я валять дурака – записываться в партию»» (Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 193).

323

Запись от 17 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 3–11.

324

Особая комиссия по изучению Курской магнитной аномалии при Горном совете ВСНХ была учреждена 14 июня 1920 г. постановлением президиума ВСНХ, который 1 июля определил ее персональный состав, назначив председателем И. М. Губкина, а его заместителем – П. П. Лазарева. 14 августа президиум ВСНХ вынес постановление об утверждении В. А. Костицына членом комиссии в качестве представителя от НТО. Но в ее работе он участвовал уже с июня, а еще 29 сентября 1919 г. присутствовал на заседании т. н. Магнитной комиссии во главе с академиком Лазаревым (см.:

Костицын В. И. Забытый выдающийся геофизик, один из первых исследователей Курской магнитной аномалии – Владимир Александрович Костицын // Каротажник (Тверь). 2013. Вып. 7(229). С. 133–143).

325

См., например:

Костицын В. А. Обзор литературы по вопросу о Курской магнитной аномалии // Печать и революция. 1922. Кн. 1. С. 157–162. Автор утверждал, что «помехи работам Комиссии» возникли со стороны члена коллегии Горного совета ВСНХ инженера В. В. Кисельникова,

доцента Уральского горного института инженера Д. Л. Ортенберга и профессора Московской горной академии В. В. Ключанского, «всячески старавшихся опорочить прибор де Колонга, принятый Комиссией, и провести на его место прибор Тибберг-Талена, которым пользуются шведские инженеры при разведках железной руды». Летом 1920 г., «наряду с постоянными скандалами в Комиссии, делались попытки навязать ей приборы Тибберг-Талена» через председателя Горного совета ВСНХ Ф. Ф. Сыромолотова, из-за чего создалась обстановка, «исключающая возможность спокойной работы». Костицын доказывал, что, если бы «вместо десятков хорошо работающих дефлекторов де Колонга были бы пущены в ход 2–3 Тибберг-Талена, темп и качество работы понизились бы в несколько десятков раз» (см: Там же. С. 160). Об этом же писал Костицын и в своей брошюре о Курской магнитной аномалии, не без иронии замечая, что для Комиссии это было «временем гражданской войны», ибо: «С первого же заседания 3 июня (sic! – В. Г.) 1920 года практики – горные инженеры начинают критиковать методы, принятые Комиссией для работы. Начинается бурный период жизни Комиссии, продолжавшийся до конца года и закончившийся исключением из Комиссии меньшинства – инженеров Кисельникова, Ортенберга и Ключанского – и переходом Комиссии в непосредственное ведение президиума ВСНХ» (

Костицын В. А. Курская магнитная аномалия. М.; Пг., 1923. С. 40–42). В октябре 1920 г. председатель ОККМА И. М. Губкин убеждал зампреда ВСНХ Г. И. Ломова, что Комиссия, «желая сгладить остроту спора и сберечь время на более продуктивную работу, устранив внутренние трения, пошла на серьезную уступку и приняла решение произвести рекогносцировочные исследования приборами Тибберг-Талена наряду с котелками де Колонга». Но, жаловался Губкин, «у большинства членов Особой комиссии сложилось впечатление, что они имеют дело с определенным стремлением инж. Кисельникова сорвать работу, с определенно выраженным саботажем с его стороны». Понятно, что внесение им сметы на проведение исследований приборами Тибберг-Талена «особой партией магнитометристов, которые должны были работать независимо от академика Лазарева», вызвало «целую бурю в комиссии», и большинство ее, решив довести до сведения ВСНХ и Совнаркома о своем «нежелании работать совместно с инж. Кисельниковым», поручило это «особой делегации в составе председателя комиссии И. М. Губкина, проф. В. А. Костицына и проф. геолога А. Д. Архангельского». Губкин подчеркивал, что после доклада, сделанного им Сыромолотову, Кисельников был отозван из комиссии (Курская магнитная аномалия: История открытия, исследований и промышленного освоения железорудных месторождений: Сб. документов и материалов. 1742–1926. Белгород, 1961. Т. 1. С. 290–293).

326

См.:

Стратонов В. В. Главная Российская астрофизическая обсерватория // Труды Главной Российской астрофизической обсерватории. М., 1922. Т. 1. С. 1–27.

327

Запись от 18 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 12–24.

В мандате от 18 июня 1920 г., подписанном «председателем коллегии НТО» Н. М. Федоровским, говорилось: «Предъявитель сего проф. Владимир Александрович Костицын командирован Научно-техническим отделом ВСНХ в местечко Озеры Коломенского уезда и его окрестности для производства магнитных изысканий. НТО просит все советские учреждения и частных лиц оказывать т. Костицыну полное содействие» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 162).

Запись от 19 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 24–39.

Запись от 20 апреля 1950 г. – Там же. С. 41–46.

Запись от 21 апреля 1950 г. – Там же. С. 48–59.

Речь идет о рассказе Д. В. Григоровича «Смедовская долина» (1852).

В деревне Марково Горской волости Коломенского уезда, расположенной примерно в 5 км к северу от Озер, проживали, по-видимому, представители того течения отошедшей от православия секты субботников, которое в основном приняло догматику и обрядовую практику иудаизма. Кроме того, во многих общинах субботников жили евреи, выполнявшие обязанности раввинов, учителей, шойхетов (резников).

Имеются в виду бумагопрядильная, ткацкая, красильная и отделочная фабрики «Товарищества мануфактур Федора Щербакова сыновей» в с. Озеры, преобразованные в Озерский хлопчатобумажный комбинат.

335

Запись от 22 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 59–68.

336

Большая плоскодонная лодка.

337

Запись от 23 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 68–74.

338

В феврале 1920 г. Наркомат госконтроля был преобразован в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции, который возглавил И. В. Сталин.

339

*Действительно, она так и не разыскалась.

340

Запись от 24 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 77–83.

341

14 февраля 1921 г. Особая комиссия стала самостоятельным учреждением при президиуме ВСНХ.

342

Неточность: О. Ю. Шмидт состоял членом коллегии Наркомата продовольствия РСФСР по 19 февраля 1920 г., когда был утвержден зампредела Главного комитета профессионально-технического образования (Главпрофобра) с включением по должности в состав коллегии Наркомата просвещения РСФСР; проработав там до 20 апреля 1921 г., он был назначен членом коллегии Наркомата финансов РСФСР, являясь с июля по совместительству заведующим Госиздатом.

343

В мандате от 18 августа 1920 г. за подписью Н. М. Федоровского говорилось: «Научно-технический отдел ВСНХ настоящим удостоверяет, что предьявитель сего, заведующий Государственным техническим издательством при НТО проф. В. А. Костицын, командирован в г. Петроград для урегулирования взаимоотношений по делам издательства между Петропрофобром и Петроградским отделением НТО. НТО просит всех лиц и учреждения, к коим проф. В. А. Костицын обратится, оказывать ему полное содействие при исполнении возложенного на него поручения» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 161).

344

Второй съезд Всероссийского астрономического союза открылся 23 августа 1920 г.

345

Обсерватория Казанского университета, построенная в 20 км к западу от Казани на средства астронома-любителя В. П. Энгельгардта, была открыта в 1901 г. и названа в его честь в 1903 г.

346

Имеется в виду семья бессарабского дворянина Г. И. Кристи, который, записавшись во вторую купеческую гильдию, стал владельцем Московской и Петроградской контор

бессарабских вин, а в 1907 г. удостоился премии им. Императора Александра II за лучшее виноградное вино в России.

347

Запись от 25 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 83–94.

348

«О вращениях небесных сфер» – основной труд Н. Коперника, опубликованный в 1543 г. в Нюрнберге.

349

Запись от 26 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 95–104.

350

Неясно, о какой статье идет речь. Нам известна только более поздняя статья на эту тему:

Кобозев П. А . Хибины // Известия. 1930. № 14. 14 янв.

351

Запись от 27 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 104–111.

352

См.:

Костицын В. А. Распределение звезд в шарообразных звездных кучах; Он же. О методах определения глубины магнитных залежей;

Он же . Интегральные уравнения Кундта – Варбурга и Хвольсона // Сообщения о научно-технических работах в Республике. М., 1920. Вып. 3. С. 190–196.

На проходивших в первой половине 1920-х гг. заседаниях Московского математического общества П. А. Некрасов выступал со следующими докладами: 30 апреля 1922 г. – «Логарифмическая, географическая шкала потребностей и формула их удовлетворения», 18 февраля 1923 г. – «Аналитико-аритмологические функции и ряды», 6 мая 1923 г. – «О работе К. А. Андреева по русским таблицам смертности», 3 февраля 1924 г. – «Структурная теория комплексного числа p измерений и учение о многообразиях» (см.:

Александров П. С., Головин О. Н. Московское математическое общество // Успехи математических наук. 1957. Т. 12. Вып. 6 (78). С. 29–31). Возможно, Костицын имеет в виду не специальный доклад, а лишь высказывание Некрасова; ср.: «В первой половине 20-х годов П. А. Некрасов еще бывал на заседаниях ММО и даже иногда выступал с докладами. Странная тень прошлого: он казался дряхлым – физически и умственно, – и понять его было трудно. Один раз он выступил с заявлением, что в его прежних “работах” была допущена ошибка – взят не тот знак перед квадратным корнем: заменив знак противоположным, он берется доказать необходимость социальной революции...» (

Люстерник Л. А. Молодость Московской математической школы // Успехи математических наук. 1967. Т. 22. Вып. 2(134). С. 222).

Речь идет о докладе О. Ю. Шмидта «Математические законы денежного эмиссионного хозяйства», прочитанном 19 ноября 1922 г. на заседании Московского математического общества и 23 ноября 1922 г. в Социалистической академии (см.:

Шмидт О. Ю. Математические законы денежной эмиссии. М.; Пг., 1923). Но с должности члена коллегии Наркомата финансов РСФСР Шмидт был снят еще 11 февраля 1922 г., а уже в мае введен в состав Ученого комитета при Совнаркоме, утвержден зампредела Государственного ученого совета и председателем его научно-технической секции.

Запись от 28 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 111–120.

Мемуарист ошибался: его отец был уволен А. А. Тихомировым, состоявшим попечителем Московского учебного округа в 1911–1917 гг.

357

Автора подводит память: пощечина имела место в 1909 г.

358

На состоявшемся 19 января 1912 г. заседании Педагогического совета Смоленского Александровского реального училища отмечалось, что установленный там директором «внешкольный надзор» – с «очень строгими наказаниями, вплоть до понижения балла в поведении» и исключением двух реалистов – вызвал протест старшеклассников, проявившийся в ученической забастовке с распространением прокламаций и «химической обструкцией». Как указывал почетный попечитель училища З. П. Ельчанинов, «внешкольный надзор тяготил, и не только учащихся», ибо «были случаи, когда от учеников, шедших по улице после указанного срока со своими родителями, требовали предъявления ученического билета и немедленного удаления домой». В своем выступлении А. В. Костицын убеждал коллег, что «чем снисходительнее педагогический совет отнесется к ученикам, так или иначе принявшим участие в беспорядках, тем лучше будет для жизни школы» (ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 3. Д. 6465. Л. 30–31).

359

Запись от 29 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 123–132.

360

Неточность: И. Г. Гринберг занимал должность начальника Управления по внешнему товарообмену.

361

И. Г. Гринберг, работавший консультантом товарно-технического отдела Наркомата внешней торговли РСФСР, был уволен 27 декабря 1920 г. по собственному заявлению, в котором писал: «Ввиду того, что в данное время в Комиссариате не имеется работы по моей хлопковой специальности, покорнейше прошу уволить меня со службы» (РГАЭ. Ф. 5420. Оп. 17. Д. 762. Л. 32).

362

Премьера каприччио «Принцесса Брамбилла» состоялась 4 мая 1920 г. (режиссер А. Я. Таиров, художник Г. Б. Якулов).

363

Созданный в 1909 г. частный театр К. Н. Незлобина арендовал здание, переданное в 1924 г. в распоряжение 2-го МХАТ.

364

Речь идет о спектакле «Дело», поставленном Б. М. Сушкевичем в 1927 г. во 2-м МХАТ.

365

Премьера спектакля «Дни Турбиных» состоялась 5 октября 1926 г. (художественный руководитель постановки К. А. Станиславский, режиссер И. Я. Судаков).

366

Гетмана П. П. Скоропадского в спектакле играл В. Л. Ершов.

367

Первое публичное выступление А. Дункан и ее учениц в Москве состоялось в Большом театре 7 ноября 1921 г. (исполнялись Шестая (Патетическая) симфония, «Славянский марш» П. И. Чайковского и «Интернационал»).

368

Palais du Trocadéro – Дворец Трокадеро, сооруженный по случаю Всемирной выставки 1878 г., использовался в качестве концертного зала и просуществовал до 1937 г., когда на его месте был построен Palais de Chaillot (Дворец Шайо); Théâtre du Châtelet – Театр Шатле, открытый в 1862 г.

369

В марте 1913 г. во дворце «Трокадеро» А. Дункан танцевала на музыку из оперы К. Ф. Глюка «Орфей и Эвридика».

370

Мемуарист смешивает двух лиц – Дункан Элизабет (Duncan Mary Elizabeth Bioren; 1871–1948), старшую сестру Айседоры, вышедшую замуж за немца и основавшую школу танцев в Берлине (1904), которая прожила всю жизнь в Германии и скончалась в Тюбингене, и Дункан Ирму (Duncan Irma, наст. имя Ehrich-Grimme Irma Dorette Henriette; 1897–1977), одну из первых учениц и приемную дочь Айседоры, выступавшую с ней в Париже и Москве, которая, обосновавшись затем в США, написала о ней ряд мемуарных книг и скончалась в Санта-Барбаре.

371

В апреле 1913 г. в парижском театре «Шатле» А. Дункан танцевала на музыку из оперы К. Ф. Глюка «Ифигения в Авлиде».

372

«Похоронный марш» (фр .).

373

Дети А. Дункан погибли 19 апреля 1913 г.

374

Речь идет о выступлении А. Дункан в «Трокадеро» 9 апреля 1916 г.

375

«Походная песнь» (1794) – музыка, написанная композитором Э. Н. Мегюлем на стихи М. – Ж. Шенье; стала гимном наполеоновской Франции, получив название «второй Марсельезы».

376

См.:

Луначарский А. В . Наша гостья // Известия. 1921. № 186. 24 авг.

377

«И кому же в ум пойдет / На желудок петь голодный!» – слова из басни И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» (1808).

378

Балет «Конек-Горбунок, или Царь-девица» по сказке П. П. Ершова на музыку Ц. Пуни был поставлен А. А. Горским в 1928 г. на сцене Экспериментального театра при Большом театре.

379

Запись от 30 апреля 1950 г. – Тетрадь II. С. 133–148.

380

А. Б. Мариенгоф, друживший с С. В. Громаном, вспоминал, что «в восемнадцатом году Сережа женился на красивой, пышной, развратной до наглости женщине, вдове жандармского полковника, расстрелянного большевиками в Петрограде» (

Мариенгоф А. Б. Указ. соч. С. 65).

381

382

19 июля 1921 г. Стратонов уведомил президиум 1-го МГУ, что, отбывая до 15 сентября в командировку «для руководства астрономо-метеорологическими экспедициями, отправляемыми в разные местности для избрания места устройства Главной астрофизической обсерватории и ее высокогорных станций», передает дела по деканату «своему товарищу преподавателю В. А. Костицыну и уполномоченному факультетом проф. А. М. Настюкову». Той же осенью Стратонов вновь попросил факультет разрешить ему «в конце ноября трехнедельный отпуск для исполнения срочной научной работы, требующей поездки на юг» и 1 декабря отбыл в Одессу (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 383. Л. 130–134).

383

«Георгий Александрович, – подтверждает член-корреспондент РАН В. В. Малахов, – слыл рассеянным чудаковатым профессором, с ним постоянно случались какие-то казусы: он проваливался в водопроводный люк, оступался на ступеньках и т. п., но всегда ему удавалось уцелеть. Чудом он остался жив и после страшной истории, о которой стоит рассказать подробнее. Кожевников поручил съездить в банк за выделенными для Зоологического музея деньгами молодому ассистенту кафедры Н. Н. Плавильщикову, который привез деньги на квартиру профессора и, когда тот пересчитывал их, вдруг достал из кармана револьвер и дважды выстрелил в его голову. На шум прибежала домработница, Плавильщиков выстрелил и в нее, после чего спокойно спустился на этаж ниже, зашел в лабораторию гистологии и завел какой-то ученый разговор». Плавильщиков был признан психически больным (инцидент расценили как острый приступ шизофрении), но позже он возобновил работу в Зоологическом музее и стал известным энтомологом, автором ряда научных и научно-популярных книг. Что же касается Кожевникова, завещавшего свой мозг для исследований, то при вскрытии оказалось, что кости его черепа обладают-де «необыкновенной толщиной» (

Малахов В. В. Из истории зоологии беспозвоночных в Московском университете // Природа. 2005. № 1. С. 28).

384

Ср. с воспоминаниями В. В. Стратонова: «Профессор зоологии Григорий Александрович Кожевников не был любим ни сослуживцами, ни подчиненными, а по-видимому, и студентами. Этому содействовала его самоуверенность при общей ограниченности. <...> В 1919 или 1920 году с ним, на почве недружелюбных отношений с подчиненными, произошла трагедия. Он послал своего ассистента Плавильщикова за получением довольно крупной суммы на содержание одного из кабинетов, находившегося в заведывании Кожевникова. Ассистент их принес, но, когда Кожевников пересчитывал деньги и прятал в стол, Плавильщиков вдруг выхватил полуигрушечный револьвер и выстрелил в профессора. Кожевников, легко

раненный в щеку, с криком о помощи бросился вон из кабинета, пробежал через квартиру, университетские коридоры и проходы на далекое расстояние, пока его в одной из канцелярий не перевязали и отправили в университетскую клинику. <...> Через две недели Г. А. Кожевников возвратился из клиники совершенно здоровым. У него только остался навсегда шрам на щеке» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 238–239).

385

См. воспоминания В. В. Стратонова: «На суде выяснилось, что обвинения, в общем, основания имели, хотя они и мотивировались материальной нуждой Карузина. Но сами студенты, делавшие подарки Карузину, не оправдали большевицких ожиданий: они заявили, что дарили по собственному побуждению, делясь с нуждающимся профессором избытками продовольствия, привозимого ими или получаемого из провинции от родных. Жаловались только инструктированные студенты-коммунисты. Сенсация – добровольное появление на суде в качестве свидетеля защиты народного комиссара здравоохранения Н. А. Семашко. Наркомздрав, вспоминая время своего студенчества, наговорил немало лестного в пользу Карузина. Картина для обвиняемого сложилась настолько благоприятно, что суд мог приговорить его только к общественному порицанию. Вслед за вынесением приговора на Моховой улице разыгралась небывалая сцена: над многосотенной толпой студентов высится кресло. На нем – седая согбенная фигура. Студенчество вынесло прямо из суда П. И. Карузина на кресле и, при сплошных овациях, отнесла на его квартиру в одном из университетских домов» (Там же. Л. 239).

386

Неточность: О. Ю. Шмидт был назначен зампредела Главпрофобра и членом коллегии Наркомата просвещения РСФСР после того, как в феврале 1920 г. был освобожден от должности члена коллегии Наркомата продовольствия РСФСР.

387

Зачисленный, по распоряжению О. Ю. Шмидта, «консультантом по математической литературе» в Главпрофобр, В. А. Костицын работал там с 1 декабря 1920 г. до 15 декабря 1921 г. (см.: ГАРФ. Ф. А – 1565. Оп. 15. Д. 567. Л. 1–2).

388

Запись от 3 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 158–166.

389

Покровные стекла – стеклянные пластинки, предназначенные для предохранения микропрепаратов, исследуемых под микроскопом, от пыли и механических повреждений.

390

Запись от 4 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 166–172.

391

В возобновленном с 1922 г. «Математическом сборнике», бессменными членами редакционной комиссии которого состояли Д. Ф. Егоров, Н. Н. Лузин и В. А. Костицын (в качестве ученого секретаря), был опубликован ряд работ последнего.

392

В «Русском астрономическом журнале», издававшемся с 1924 г. и переименованном в 1928 г. в «Астрономический журнал», Костицын состоял членом редколлегии.

393

От

фр . m?moire – научный доклад, записка.

394

Московское общество любителей астрономии действовало в 1913–1932 гг., и на одном из его заседаний Костицын выступил с докладом «Проект Главной астрофизической обсерватории в России» (см.:

Луцкий В. К . История астрономических общественных организаций в СССР (1888–1941). М., 1982. С. 113).

395

Возможно, имеется в виду Сергей Григорьевич Тихомолов – личный шофер Ф. Э. Дзержинского в 1918–1926 гг.

396

Запись от 5 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 172–180.

397

Поскольку Л. К. Лахтин умер 14 июля 1927 г., видимо, мемуарист ошибся, имея в виду К. А. Андреева, скончавшегося 29 октября 1921 г. в Крыму.

398

В Послании апостола Павла к Римлянам говорится: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13: 1–2).

399

Неточность: Н. Е. Жуковский скончался 17 марта 1921 г., А. К. Власов – 21 мая 1922 г., Б. К. Млодзеевский – 18 января 1923 г.

400

Запись от 7 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 185–191.

401

Правильно: В. Н. Милованов, о переводе которого в Москву В. В. Стратонов вспоминал так: «В дальнейшем состав [Главной астрофизической обсерватории] пополнился В. Н. Миловановым, бывшим, и довольно неудачно, директором Ташкентской обсерватории. Он работал еще гимназистом у меня в Ташкенте. Затем получил астрономическую подготовку в Казанском университете. Больших способностей он не проявил, попал педагогом [физики] в Ташкент и в эпоху безлюдья и разрухи стал здесь директором обсерватории. У него вышла неприятная история с сейсмологом обсерватории Поповым [Гавриилом Васильевичем (1882–1939)], подчиненным по службе. Попов [которому власти запретили читать публичные лекции, обвинив его в религиозной пропаганде] не пускал Милованова в сейсмический павильон, а когда тот, в качестве директора, все же туда направился, Попов ударил Милованова. Благодаря советской разрухе в служебном отношении поступок Попова остался безнаказанным, и положение Милованова стало невозможным. Посетив в эту пору Ташкент и ознакомившись со всем происходящим, я, в качестве выхода из положения, предложил Милованову перейти к нам, чем он с удовольствием и воспользовался. Переехал с семьей в Москву, но очень скоро потерял здесь жену. Все это, видимо, отразилось на нем, так что научной энергии он не проявлял, а занялся управлением нашим домом [по Трубниковскому переулку, 26, переданным в ведение союза научных деятелей], куда я устроил его на пост коменданта; он сам упросил дать ему это дело» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 125). Позже Милованов заведовал отделом звездной статистики в Государственном астрофизическом институте, где составил «Каталог экваториальных компонентов скоростей 1470 звезд» (см.: Труды ГАФИ. 1926. Т. III. Вып. 2. С. 2–26).

402

Указывая, что «бюрократизм и волокита принимают иногда чудовищные формы», автор статьи писал: «Кому не попадались “дела” на 20–30 листах с полусотней “резолуций”, где речь идет о предоставлении помещения или об отпуске пары штанов. Но попадаются особенно поразительные случаи волокиты, происходящие почти исключительно из-за обилия учреждений и параллелизма в их работе. Приведу один из них. Для отправки Кавказской астрономо-метеорологической экспедиции потребовалось снабдить “обмундированием” 8 человек. Вот движение этого дела...» Далее следовали 57 пунктов, отражавших хождение бумаг по разным инстанциям (

Богуславский М. Об упрощении советского аппарата // Правда. 1921. № 275. 6 дек.).

403

См.:

Костицын В. А. Строение шарообразных звездных куч // Труды Главной Российской астрофизической обсерватории. М., 1922. Т. 1. С. 28–48;

Он же . О равновесии лучеиспусканий звезд // Там же. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 1–6;

Он же . О звездных массах // Там же. С. 289–303.

404

Запись от 8 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 192–198.

405

Комиссия по улучшению быта ученых была создана в Петрограде в декабре 1919 г. по инициативе М. Горького для оказания помощи научной и творческой интеллигенции.

406

мимоходом (

фр.).

407

Запись от 9 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 199–209.

408

Неточность: А. С. Безикович не участвовал в переводе книги; см.:

Ла Валле-Пуссен Ш. – Ж. де. Курс анализа бесконечно малых / Пер. с фр. с примечаниями профессоров Петроградского университета Я. Д. Тамаркина и Г. М. Фихтенгольца; под общей редакцией В. А. Стеклова. Пг., 1922. Т. 1.

409

См.: Печать и революция. 1923. Кн. 7. С. 251–253.

410

Правильно: в 11-й армии.

411

Запись от 10 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 209–218.

412

Ранние переводы «Заиры», сделанные А. И. Дубровским и И. И. Полугарским, были напечатаны соответственно в 1779 и 1821 гг., но одноименная «трагедия», являющаяся, возможно, первым литературным опытом самого мемуариста, имеет мало отношения к Вольтеру и рассказывает о любви цыганки к русскому офицеру-кавалергарду, см.:

Костицын В. А. Заира. Трагедия [в стихах] в 5 д. и 7 карт. М.: Типогр. Е. Патриарка, 1904.

413

Сергибус (или свербига), bunias (

лат.) – двухлетнее травянистое растение (из семейства капустных) с толстым корнем, называемое также луговой редькой; выращивается как салатное растение: в пищу употребляются молодые очищенные стебли, напоминающие вкус молодого капустного листа и редиса.

414

Запись от 12 мая 1950 г. – Тетрадь II. С. 224–233.

415

Запись от 13 мая 1950 г. – Там же. С. 233–240.

416

Л. А. Люстерник вспоминал, что в делегацию вошли «университетские профессора Н. Н.

Лузин, В. А. Костицын, С. П. Фиников с женами, старая гвардия Лузитании (шуточное название московской школы теории функций во главе с Лузиным. – В. Г.) – В. В. Степанов, П. С. Александров (он заболел и не поехал), В. Н. Вениаминов, П. С. Урысон, “ивановцы” А. И. Некрасов – ректор Ивановского политехнического института, Д. Е. Меньшов, А. Я. Хинчин, А. Н. Власов, аспиранты 1-го и 2-го МГУ – С. Д. Россинский, В. С. Богомолова, А. Ю. Зеленская, С. С. Ковнер и только что кончившая досрочно университет и оставленная при нем Н. К. Бари, человек 8–9 старшекурсников, среди них Юлия Рожанская, “Татуля” (Татьяна Юльевна) Айхенвальд, Бэла Певзнер, Митя Перепелкин, Коля Нюберг и др.» (

Люстерник Л. А. . Молодость Московской математической школы // Успехи математических наук. 1970. Т. 25. Вып. 4 (154). С. 190).

417

Ср.: «Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин. 1: 47).

418

Петроградское физико-математическое общество действовало в 1921–1930 гг.

419

Запись от 15 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 4–12.

420

«Кривое зеркало» – пародийно-сатирический театр малых форм в Петербурге – Ленинграде (1908–1918, 1922–1931; руководитель – А. Р. Кугель).

421

Запись от 16 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 13–19.

422

Запись от 18 мая 1950 г. – Там же. С. 22–30.

423

После ревизии, проведенной в 1903 г. директором Департамента общих дел МВД Б. В. Штюмером, последовал роспуск Тверского губернского земства с высылкой наиболее радикальных его деятелей и запретом им заниматься общественной деятельностью. Но Костицын, видимо, путает, ибо в своем «Жизнеописании» П. Н. Цирг сообщает, что заведовал хозяйственными отделами в Новоторжском уездном земстве (см.: РГАЭ. Ф. 7731. Оп. 2. Д. 4856. Л. 4).

424

Площадь парка составляла почти 15 гектаров, леса – более 50 гектаров.

425

Запись от 21 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 39–51.

426

Запись от 22 мая 1950 г. – Там же. С. 51–55.

427

«Морском языке с мидиями и раковыми шейками» (фр .).

428

Запись от 23 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 56–67.

Запись от 24 мая 1950 г. – Там же. С. 67–74.

«Если я отказывал многим, – вспоминал В. В. Стратонов, – то иной политики держался товарищ декана В. А. Костицын. Не имея достаточного делового опыта, он своеобразно понимал обязанности товарища декана как являющегося по существу вторым деканом, а потому не стеснялся вести самостоятельную политику. Неостудентам стало это известно, и не раз бывало, что получившие от меня отказ, переписав прошение заново, шли в день, когда за деканским столом сидел Костицын, и без труда получали от него разрешительную подпись. В. А. в этих случаях настолько заблуждался, хотя и вполне добросовестно, что несколько не стеснялся подписывать за декана какую угодно ответственную переписку, даже не ставя меня об этом в известность. Канцелярия, в лице [заведующей Марии Александровны] Постниковой, на этом спекулировала, и я под конец потребовал, чтобы все бумаги, подписанные Костицыным, показывались, до отсылки, мне на просмотр. Правление, узнав об этом от Постниковой, сделало попытку, повлияв на Костицына, испортить наши отношения, но это не удалось. Тем не менее В. А. Костицын напиримал много студентов, вовсе этого не заслуживавших» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 283).

Являясь замдиректора Института научной методологии до присоединения его в 1923 г. к Комакадемии, Костицын состоял позже членом ее методологической секции, а с 1925 г. – еще и секции точных наук (см.: ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 1353. Л. 1–3). Например, 22 февраля 1926 г. на секции научной методологии Костицын сделал доклад «Математический метод в геофизике и астрономии» (см.: АРАН. Ф. 424. Оп. 2. Д. 3; Ф. 360. Оп. 2. Д. 78. Л. 1–41).

В «Характеристике сотрудников-коммунистов Полномочного представительства РСФСР в Литве» (по состоянию на 15 августа 1921 г.) говорилось, что С. И. Зандер – «на ум весьма неповоротлив, медлительный, в высшей степени рассеянный и забывчивый» (РГАСПИ. Ф. 613. Оп. 4. Д. 67. Л. 172).

См.:

Костицын В. А. Статистический метод в астрономии // Статистический метод в научном исследовании: Опыт коллективной интернаучной работы. М., 1925. С. 95–111.

434

Запись от 25 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 74–80.

435

«Помощь» (Москва, 1921) – еженедельный бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. Вышли два номера, от 16 и 22 августа.

436

Запись от 26 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 81–83.

437

Известная швейцарская часовая фирма, основанная в 1846 г.

438

См. воспоминания В. В. Стратонова: «Комиссиям из специалистов было предложено распределить научный персонал, то есть самих себя, по пяти разрядам. Группа самая высокая по научной оценке (5-й разряд), но, вместе с тем, самая малочисленная (20–30 человек на всю Россию), должна была получить месячное пособие в 125 платежных единиц. Самая же низкая в научном отношении и, вместе с тем, самая многочисленная группа – 10 или 15 тех же единиц. Кость голодным и все же часто ревнивым друг к другу людям была брошена...

Стали распределяться по комиссиям и квалифицировать один другого. Вообще применялась большая снисходительность. Например, в астрономической комиссии, где я участвовал, всех профессоров оценили по четвертому разряду, и только для меня коллеги сделали исключение – оценили по высшему пятому разряду, вероятно, ввиду организаторского стажа, как создавшего Главную астрофизическую обсерваторию. Все же оказалось немало задетых самолюбий, возникло и много затаенных обид. Этого и требовалось достигнуть...

Еще того хуже, неожиданно над этими комиссиями специалистов, проведшими свою неблагодарную работу более мирно, чем это, быть может, ожидалось, – выявилась еще какая-то келейная сверхкомиссия, почему-то с проф. П. П. Лазаревым во главе. Она стала по своему усмотрению изменять оценки, сделанные комиссиями специалистов, главным образом – на основании личного мнения П. П. Лазарева о том или другом научном деятеле, а также в зависимости от полезности оцениваемого для советской власти. Это вызвало взрыв негодования, тем более, что Наркомпрос выдавал пособия именно на основании решения этой сверхкомиссии» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 271).

439

Запись от 27 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 84–89.

440

Запись от 30 мая 1950 г. – Там же. С. 102–104.

441

Центральная комиссия по улучшению быта ученых при СНК РСФСР была учреждена во исполнение постановления «Об улучшении быта ученых», подписанного 6 декабря 1921 г. А. Д. Цюрупой; являлась преемницей Комиссии по улучшению быта ученых, созданной в Петрограде.

442

Слова Фауста из оперы Шарля Гуно звучат так: «Ко мне возвратись, счастливая юность, и в сердце зажги желанье любви!»

443

Ср. с воспоминаниями В. В. Стратонова: «Из стариков профессоров самой яркой фигурой был знаменитый географ, этнограф и антрополог Дмитрий Николаевич Анучин. В мое время он уже совсем одряхлел, научно работать не мог и жил больше на проценты от своей прежней славы. Ходил уже согбенный, совсем седой, но глаза его постоянно прищуривались в хитрую улыбку “россейского мужичка”. Умственные способности его поблекли, утратил он и

достаточную чуткость к событиям, и этому надо приписать его заигрывание с представителями советской власти, что создало под конец его жизни неблагоприятное для него впечатление. Между прочим, он состоял в комитете по охране памятников старины, в котором председательствовала жена Троцкого, и в этом комитете к нему, как к определенной иконе, относились с любезным почетом.

Профессора, его ученики, относились к Анучину с почтительной мягкостью и берегли своего “дедушку”. На факультетских же заседаниях дедушка любил, хитро сощуриив глаза, поставить какой-нибудь, казавшийся ему заковыристым, вопрос и оглядываться вокруг, что, мол, из этого выйдет? Под конец у него вышла неприятная история с факультетом... Это он, минуя факультет, обратился непосредственно в Наркомпрос и выхлопотал назначение профессором Адлера [Бруно Фридриховича (1864–1942), заведовал кафедрой географии, этнографии и антропологии в Казанском университете]. Это произошло как раз в ту пору, когда факультет особенно горячо боролся за право самому пополнять свой состав, и такой поступок Анучина, даже при всем снисхождении к дедушке, вызвал возмущение.

Анучин, своим писклявым голосом, давал ребяческое объяснение:

– Я потому обратился в Главпрофобр, что факультет не может сам назначить профессора, а Наркомпрос может.

Тем не менее на ближайшем заседании факультета, на котором меня замещал Костицын, последний сделал Анучину выговор:

– Я хорошо сознаю, Дмитрий Николаевич, что я был еще мальчиком, когда вы уже обладали европейским научным именем. Тем не менее, в качестве председателя факультетского собрания, я должен вам высказать, что вы поступили против традиции и против интересов факультета.

Часть старой профессуры во главе с [профессором зоологии и сравнительной анатомии академиком] А. Н. Северцовым обиделась:

– Как можно делать замечание старейшему профессору факультета...

Но общественное мнение большинства поддержало Костицына, и некоторые поздравляли его с тем, что он имел мужество сделать замечание именно старейшему члену факультета. Д. Н. Анучин, однако, обиделся и целых полгода не ходил на заседания факультета» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 235).

444

Строки из стихотворения А. С. Пушкина «19 октября» (день открытия в 1811 г. Царскосельского лицея), впервые опубликованного в 1827 г., звучат так: «Наставникам, хранившим юность нашу, / Всем честию, и мертвым и живым, / К устам подъяв признательную чашу, / Не помня зла, за благо воздадим».

445

Запись от 31 мая 1950 г. – Тетрадь III. С. 105–111.

446

Костицын руководил преподаванием математики в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в 1919–1922 гг. (ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 1353. Л. 3).

447

12 октября 1921 г. Костицын был избран действительным членом Института научной философии РАНИОН (см.: АРАН. Ф. 355. Оп. 1. Д. 2. Л. 9–10).

448

«L'Atlantide» (Франция, Бельгия, 1921; режиссер Жак Фейдер) – приключенческий фильм.

449

Théâtre national de l'Opéra-Comique – оперный театр, основанный в 1715 г. в Париже.

450

Théâtre de l'Odéon – парижский театр, открывшийся в 1782 г. на левом берегу Сены рядом с Люксембургским садом.

451

«Вампиры» (Франция, 1915; режиссер Луи Фейад) – фильм в 10 сериях.

452

Орихалк – таинственный металл с золотым оттенком, упоминаемый древними авторами (Геосидом, Гомером, Платоном, Плинием Старшим, Иосифом Флавием и др.).

453

Запись от 1 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 111–116.

454

Например, 26 января 1921 г. на заседании факультета при обсуждении «бедственного положения б. заслуженного профессора Московского университета В. К. Цераского» и «предложения возбудить ходатайство о назначении ему пожизненной денежной помощи от казны» было решено: «Принять к сведению сообщение товарища декана В. А. Костицына о том, что им уже возбуждено соответствующее ходатайство в ГУС». На следующем заседании факультета, 9 февраля, по предложению Костицына аналогичное постановление было принято в отношении академика А. П. Павлова и его жены, профессора-палеонтолога (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 413. Л. 2, 4).

455

Статья «Разгром высшей школы. (От вашего петроград. корреспондента)», подписанная инициалами «Е. Н.», датированная автором 19 декабря 1921 г. и напечатанная за пять дней до «профессорской забастовки» в Москве, заканчивалась так: «За последнее время настроение, как среди профессоров, так и среди студенчества, чрезвычайно напряженное. Слишком много накопилось горячего материала, слишком злоупотребляют власти русским долготерпием. Пассивные протесты не сегодня – завтра могут и должны вылиться в активные действия» (Последние новости (Париж). 1922. № 543. 22 янв.). Хотя в январе – феврале 1922 г. «Последние новости» ничего не писали о «профессорской забастовке», газета «Правда», ссылаясь на упомянутую статью, уверяла, что если «профессора ВУЗ ведут бешеную кампанию против Советской власти», разыгрывая «комедию борьбы за “автономию” высшей школы», да еще как раз накануне Генуэзской конференции, то, несомненно, «режиссеры комедии – в Париже» (

Я[ковлев] Я . Кадеты за работой // Правда. 1922. № 38. 17 февр.), «профессура бастует по директивам Милюкова» (

Я[ковлев] Я . Милюков только предполагает // Там же. № 41. 21 февр.) и речь идет о «направляемом из Парижа заговоре ученой касты против насущнейших интересов рабочего класса» (

Сосновский Л . Заговор касты против рабочего класса // Там же. № 42. 22 февр.).

456

Возможно, мемуарист имел в виду конфликт между ним и Н. Н. Лузиным в связи с выдвижением кандидатов в Академию наук СССР. В ходе предвыборной кампании НИИ математики и механики поддержал кандидатуру своего директора Д. Ф. Егорова, о чем говорилось в официальном сообщении от 26 мая 1928 г. за подписью В. А. Костицына. Ученый совет возглавляемого им же Государственного научно-исследовательского геофизического института, Ассоциация научно-исследовательских институтов при 1-м МГУ и часть его профессоров и преподавателей (в том числе Костицын, Д. Е. Меньшов, И. И. Привалов, В. В. Степанов), Московское математическое общество, Московское общество испытателей природы также поддержали кандидатуру Егорова (ГАРФ. Ф. Р – 8429. Оп. 1. Д. 63. Л. 162). Это, естественно, вызвало крайне болезненную реакцию Лузина, тоже претендовавшего на звание академика, и он, явно преувеличивая влияние Костицына, 19 июня обиженно жаловался А. Н. Крылову: «А между тем, насколько я понимаю вещи, все дело было только в том, что кандидатов оказалось больше, чем мест: рассматривали меня как кандидата на кафедру математики, которого надо было уничтожить, дабы дать возможность и шансы Димитрию Федоровичу Егорову, директору Института математики и механики. В связи с этим были даны директивы моего уничтожения по всем учреждениям, где имелось влияние Владимира Александровича Костицына. И таким образом я был почти устранен из Математического общества, остался в стороне в университете и был уничтожен радикальным образом в Институте математики и механики. Последнее для меня было особенно мучительно, так как Институт состоит из большей части моих личных учеников. И решающее заседание, на котором был председателем Вл[адимир] Ал[ександрович] Костицын, протекло при лишении слова их, а двух, наиболее стойких, удалили из заседания. И у меня осталось такое чувство, когда я узнал об этом, точно меня лично выгнали на улицу из дома, где я жил. Вся тяжесть для меня была в том, что отвод не был достойным и спокойным, но сопровождался такими уничтожающими жестами и суждениями, которые создали трудно выносимую душевную боль. Аналогичное бывает при смерти близких. И, действительно, для меня умерло в эти дни несколько дорогих мне людей, в благоприятное отношение которых я верил... ибо они старались всегда его показать. Умер для меня и сам Влад[имир] Алек[сандрович] Костицын, бывший моим университетским товарищем, с которым была связана часть моей юности и который всегда старался показать нашу близость. А ведь мы даже жили одно время, студентами, в одной комнате, и ночи наши бывали наполнены спорами pro и contra идеалистической и эмпирической логики».

Но в окончательный список кандидатов в академики по математическим наукам вошли не Д. Ф. Егоров и не Н. Н. Лузин, а харьковчанин С. Н. Бернштейн, ленинградец И. М. Виноградов и киевлянин Н. М. Крылов. Впрочем, Лузин, все-таки избранный 12 января 1929 г. академиком по кафедре... философии отделения гуманитарных наук, позже, 31 января 1931 г., был «перечислен» на кафедру математики отделения физико-математических наук АН СССР на освободившееся место невозвращенца Я. В. Успенского. В свою очередь Д. Ф. Егоров, избранный 13 февраля 1929 г. почетным членом АН СССР, уже в октябре 1930 г. был арестован по делу «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации «Истинно-православная церковь»» и приговорен к 5-летней ссылке в Казань, где, объявив голодовку, скончался в больнице. См.:

Ермолаева Н. С. Новые материалы к биографии Н. Н. Лузина; Переписка Н. Н. Лузина с А. Н.

Крыловым / Публ. и примеч. Н. С. Ермолаевой // Историко-математические исследования. М., 1989. Вып. XXXI. С. 195–196, 205.

458

Запись от 5 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 130–136.

459

При непосредственном участии мемуариста в книжной серии «Современные проблемы естествознания» (под общей редакцией А. Д. Архангельского, В. А. Костицына, Н. К. Кольцова, П. П. Лазарева и Л. А. Тарасевича) вышли кн.:

Борель Э . Случай / Пер. с фр. Ю. И. Костицыной под редакцией проф. В. А. Костицына. М.; Пг., 1923 (см.: Предисловие редактора. С. VIII–X);

Вегенер А . Происхождение Луны и ее кратеров / Пер. И. Б. Румера под редакцией А. Д. Архангельского и В. А. Костицына. М.; Пг., 1923;

Аррениус С . Жизненный путь планет / Пер. с нем. под ред. В. А. Костицына. М.; Пг., 1923. В другой серии, «Классики естествознания», которую редактировали те же пять лиц, была издана кн.: Классические космогонические гипотезы: Сб. оригинальных работ / Пер. С. Н. Блажко, Ю. И. Костицыной, А. А. Михайлова; под общей ред. и со вступ. ст. В. А. Костицына. М.; Пг., 1923 (см.:

Костицын В. А. Классические космогонические теории и современная астрономия. С. 5–32;

Блажко С., Костицын В . Примечания. С. 166–168;

Костицын В. Библиографический указатель. С. 169–170).

460

Имеется в виду «Энциклопедический словарь Гранат» (7-е изд. вышло в 58 т.), издававшийся с 1910 г. товариществом «Братья А. и И. Гранат и К°», после 1917 г. – Русским библиографическим институтом Гранат.

461

Запись от 6 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 137–144.

Запись от 8 июня 1950 г. – Там же. С. 150–153.

В объявлении деканата сообщалось: «Физико-математический факультет в экстренном заседании 27 января 1922 года постановил: созвать в ближайшем времени совещание профессоров и преподавателей всех факультетов Московского университета для совместного изыскания выходов из создавшегося материального положения университета и его преподавательского персонала. Впредь же до решения указанного совещания постановлено на физико-математическом факультете занятий не начинать» (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 610. Л. 1–2). Состоявшееся 1 февраля «объединенное собрание профессоров и преподавателей всех факультетов» большинством голосов приняло решение «не возобновлять занятий» и «обратиться в Совет Народных Комиссаров с целью указать на то катастрофическое положение, в котором находится высшая школа в России вообще и Московский университет в частности». В обращении к Совнаркому, в частности, говорилось: «Это постановление не есть обычная забастовка; это просто констатирование существующего факта невозможности возобновить занятия при нынешней системе снабжения школы и оплаты труда. Вести занятия со студентами в лабораториях при отсутствии всех необходимых материалов, а в клинике – при отсутствии медикаментов и питания для больных – значит обманывать студенчество и обманывать власть. Этот обман длился достаточно, и профессура не считает себя вправе его далее продолжать. Не легко людям, для которых дело науки и дело высшей научной школы есть дело жизни, дорогое любимое дело, отказываться от продолжения занятий, но делать это приходится поневоле и вынужденно. Момент, когда горькая истина появляется во всей обнаженности, рано или поздно наступает, и сейчас он наступил» (ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 871. Л. 1–5).

«В декабре 1921 г., – отмечал В. В. Стратонов, – началось сильное брожение между математиками. Значительная их группа, человек 30–40, почти все преподававшие в Московском университете (а также частью в Московском высшем техническом училище, в коммерческом институте и пр.), признала, что для них нет иного выхода, как прекратить преподавание высшей математики и искать др. работу. Во время возникновения этого движения я отсутствовал, поехавши в мнимонаучную командировку в Одессу. По роли декана меня заменял математик В. А. Костицын. Вернувшись, я узнал от Костицына (это было в середине января 1922 года), что движение математиков зашло уже довольно далеко и что на ближайшем заседании нашего факультета, которое состоится в среду через два дня, ими будет поднят вопрос об объявлении забастовки». Поскольку на упомянутом заседании, указывал Стратонов, «почти все голоса высказались за забастовку» («воздержавшихся было два или три, – между ними восставший против забастовки А. П. Павлов, опасавшийся, как бы при этом не пострадали чисто научные интересы»), декану поручили «экстренно созвать общее собрание всех профессоров и преподавателей университета». Собралось «человек 400–500», включая и «красных профессоров» с представителями Наркомата просвещения. После речи Стратонова, объяснившего, что забастовка не носит политический характер,

начались горячие прения, в ходе которых снова возражал А. П. Павлов и ректор В. П. Волгин, убеждавший профессоров, что «лучше обратиться с ходатайством по начальству». Но при голосовании, подчеркивал Стратонов, «подавляющее большинство, не менее двух третей голосов, высказалось за общеуниверситетскую забастовку». Собрание постановило «избрать делегацию из пяти человек, которая, впредь до следующего собрания, повела бы руководство университетскими делами», и по результатам голосования в нее вошли В. С. Гулевич, В. А. Костицын, А. П. Павлов, Д. Д. Плетнев и В. В. Стратонов (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 259–261).

На самом деле делегатами были избраны профессора В. С. Гулевич, В. А. Костицын, А. П. Павлов, Д. Д. Плетнев, Г. В. Сергиевский и В. В. Стратонов, подписавшие два обращения в Совнарком, в первом из которых говорилось: «Московский университет, старейший в России, после 167-летнего служения русскому народу и науке, ныне прекратил занятия. Московская профессура неоднократно призвала власть вникнуть в острокритическое положение высшей школы. Она стремилась привлечь на угрожающую катастрофу внимание и носителей высшей власти. Все было бесплодно, и иного пути, к прискорбию преподавателей, не оказалось. Когда страна разорена, обнищала – последней ее надеждой должны быть знания и наука. Школу надо было оберегать до последней крайности. Ввергнутая в невежество страна исторически будет отброшена на несколько столетий. Она неминуемо станет добычей культурных соседей. После разрушения средней школы теперь гибнет и высшая, почти лишенная материальных средств и отрезанная от мировой науки. Провинциальные университеты, десятки лет служившие с честью народу и науке, закрываются или превращаются в средние школы. Огонек науки еще теплится в столичных университетах. Клиники, лаборатории, кабинеты получают ассигнования в десятки раз меньше, чем нужно. Аппараты изношены, новых не приобретается. Лечить и работать нечем: медикаменты и реактивы иссякают. Новой литературы почти нет, общение с зарубежными учеными затруднено до крайности. Отопление скудное, или его вовсе нет. Преподаватели вознаграждаются во много раз меньше, чем нужно, чтобы научно работать. Они должны работать на стороне, совмещая по много должностей. Скудное содержание выплачивается им через 2–3 месяца, и деньгами уже иной, меньшей ценности. Для ученой работы сил и времени не остается. Преподавание ведется переутомленными людьми. Профессура обессилела и изнемогает. Многие преждевременно умерли от истощения и непосильного для ученых физического труда. Иные кончили самоубийством. Большинство оставшихся, чтобы существовать, распродали имущество, книги. Страна, и раньше бедная научными силами, теперь обнищала. Московский университет не хочет вводить в обман ни представителей власти, ни учащуюся молодежь, ни народ. Надо решиться на одно из двух: или высшие учебные заведения закрыть или прямо и решительно покончить с бывшим до сих пор отношением к высшей школе и ее преподавателям» (ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 871. Л. 26).

465

Запись от 12 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 168–173.

466

В. В. Стратонов писал иное: «Мы поручили Костицыну, который сохранил еще большевицкие связи, добиваться, через голову Луначарского, приема делегации самим Лениным» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 261).

467

В. В. Стратонов пишет: «Нам ответили через Костицына: “Ввиду болезни товарища Ленина делегацию приглашает к себе в субботу заместитель председателя Совнаркома товарищ А. Д. Цюрупа”» (Там же. Л. 263).

468

Встреча с А. Д. Цюрупой состоялась 4 февраля 1922 г. (см.: Стенограмма приема тов. Цюрупой делегации от 1-го Московского государственного университета 4 февраля 1922 г. // ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 871. Л. 11–23).

469

Запись от 19 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 200–205.

470

В дореволюционной России проститутки, занимавшиеся своим ремеслом легально, вместо паспорта, который сдавался ими в полицию, получали «заменительный билет», в быту из-за своего цвета называвшийся «желтым билетом».

471

Неточность: М. Горький выехал из Петрограда в Финляндию, а оттуда – в Германию 16 октября 1921 г.

472

14 февраля 1922 г. И. В. Сталин и А. Д. Цюрупа приняли группу профессоров высших технических учебных заведений, также жаловавшихся на бедственное положение науки.

Запись от 20 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 206–209.

Запись от 21 июня 1950 г. – Там же. С. 211–214.

Поскольку А. Д. Цюрупа пообещал, что вопрос о высших учебных заведениях будет рассмотрен в комиссии под председательством А. В. Луначарского с участием выборных представителей от профессуры, на состоявшемся 6 февраля 1922 г. очередном университетском собрании, после краткого отчета о переговорах с Совнаркомом и принятия резолюции о прекращении забастовки, в «комиссию Луначарского» большинством голосов были избраны профессор В. С. Гулевич, В. А. Костицын, В. В. Стратонов и в качестве кандидатов Д. Ф. Егоров, А. В. Мартынов и Г. В. Сергиевский (см.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 548. Л. 1). От других московских вузов в комиссию вошли еще по 2–5 человек, всего – около 50, из-за чего, писал Стратонов, «получилась смесь политических настроений: от убежденных антибольшевиков до пресмыкающихся перед советской властью, вроде представителей Петровской сельскохозяйственной академии и даже нескольких коммунистов: от Московской горной академии – ее ректор Губкин, геолог Архангельский, от Института путей сообщения – переметнувшийся в большевизм ректор инженер Некрасов, и т. п.». Но, отмечал Стратонов, деятельность «комиссии Луначарского», затянувшись на два с половиной месяца, так ни к чему и не привела: «Заседания комиссии назначались все реже. Сам Луначарский заменял себя Покровским, с которым нам было работать слишком трудно и щекотливо. Один раз мы собрались на заседание, а ни Луначарский, ни кто-либо из Наркомпроса вовсе не явился. После оказалось, что Луначарский отменил заседание, а нас не потрудился уведомить. Перестали церемониться... Если же заседание и происходило, Луначарский теперь держал себя с показным равнодушием, деланно-небрежно. По-прежнему все предлагал нам писать записки... Но мы их более не составляли. Тогда, в своем совещании, мы решили, что тянуть эту комедию не стоит. Постановили прекратить наше участие в комиссии Луначарского». Дальнейшее Стратонов описывал так: «Надо было объяснить наше решение власти. Мне было поручено составить об этом доклад. Я написал его в кратких, но энергичных выражениях. Была избрана делегация, которая должна была вручить этот доклад заменявшему тогда Ленина, по роли председателя Совнаркома, А. И. Рыкову» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 264).

Всего состоялось шесть заседаний комиссии – 8, 15, 20 и 27 февраля, 6 и 15 марта, после чего «делегаты от Совещания выборных представителей московских высших учебных заведений» В. С. Гулевич, В. А. Костицын, В. В. Стратонов и А. Е. Чичибабин вновь обратились в Совнарком. Возмущаясь тем, что поданные ими записки (об изменении правового положения высшей школы, мерах к улучшению ее материального положения, дефектах и желательных изменениях в действующем положении о вузах и т. д.) ни к чему не привели, профессора заявляли, что «не видят перед собой другого выхода, как совершенно

отказаться от дальнейшего участия в Комиссии, возглавляемой А. В. Луначарским», ибо она «создает лишь видимость будто серьезно занимается данным делом, на самом же деле все сводится к затягиванию времени» (ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 871. Л. 59–61).

476

В. В. Стратонов вспоминал о посещении Совнаркома так: «Опять на Костицына было возложено добиться этого приема. Добились его довольно скоро. Но – уже не в Кремле, а в реквизированном доме, на углу Моховой и Знаменки, где А. И. Рыков устроил свою резиденцию. Нас пришло немного, только трое: Гулевич, Костицын и я. Остальные избранные делегаты сочли за благо не возыметь вдруг времени для переговоров. Боязливость все заметнее овладевала профессурой.

Следуя бюрократическому обычаю о способе выражать неудовольствие, Рыков долго продержал нас в приемной. Наконец, вводят. В сравнительно скромном кабинете восседает за столом Алексей Иванович Рыков, рыжеватый, с козлиной бородкой. Сильно заикается, прихрамывает. Прием довольно сухой. Рыков уже познакомился с нашим последним докладом. Он высказывает нам свое крайнее начальственное неудовольствие по поводу решения “саботировать” комиссию Луначарского.

– Я вне-не-су это де-дело в бо-бо-боль-большой со-совнарком... Пусть про-про-фессу-сура выбо-бе-берет своих де-делега-гатов!

Простился с нами более чем сдержанно.

Мы обсудили положение в своем профессорском совещании. Выяснилось, что В. С. Гулевич тоже начинает сдавать. Правда, ему по роли председателя всей этой неприятной и полной опасностей истории пришлось перенести изрядную трепку нервов. Нелегко было казаться всегда милым и приятным, говорить сладким голосом и достигать благожелательного к себе лично отношения, трактуя столь неприятные для власти вопросы. Но Гулевич умел как-то придавать своим выступлениям такой вид, что он, собственно, ни при чем, что он лично, может быть, на дело смотрит и иначе, однако, по обязанности, в сущности для него даже и неприятной, он должен высказать то-то и то-то... Эта тактика несомненно ему хорошо удавалась.

Теперь В[ладимир] С[ергеевич] заявил о своем намерении сложить с себя обязанности председателя совещания. Он указывал, как на нового председателя, на меня. Но мы дружно восстали против его намерения и просили довести совещание до заключительного шага, заседания Большого Совнаркома. Я же указывал, что принятие мной председательствования повредило бы делу, потому что на меня советская власть смотрит как на боевой элемент, а это для председателя мало подходит.

Гулевич уступил неохотно и с неудовольствием:

– Остаюсь председателем, но констатирую, что надо мной учинено насилие.

Конечно, его уход в такой момент был бы гибельным, как свидетельство о происходящей в нашей среде распре.

В эту пору в Москве пребывали и представители петроградской профессуры. На нашем совещании были выбраны шесть представителей для посещения Совнаркома – четверо от московской профессуры и двое от петроградской. Избраны были: от Москвы – В. С. Гулевич,

В. А. Костицын, А. Е. Чичибабин и я, от петроградской – Д. С. Зернов и Б. Н. Одинцов.

Наконец, в самом конце апреля, пришло извещение, что мы приглашаемся на заседание Совнаркома в первых числах мая. На своем совещании мы выработали общие пожелания, которые должны быть представленными Совнаркому. Затем был составлен текст записки, которую мы сговорились подписать, зайдя на квартиру Гулевича, на пути в Кремль.

Но произошло следующее: к Гулевичу зашел накануне Зернов, привыкший в Петрограде к своему званию “Нестора”, которому подчинялись все спецы, а за ними – и остальная профессура. Тот же метод он применил и здесь. Посетив Гулевича и прочитав записку, составленную нами, он забраковал ее и сказал, что напишет другую. Гулевич, по своей чрезмерной мягкости характера, не имел мужества ему противостоять и согласился.

Придя к Гулевичу, мы застали уже готовый текст новой записки, окончательно выправленный, подписанный Гулевичем и Зерновым, и нам предложили присоединить свои подписи. Ознакомившись с запиской, я увидел, что она составлена в неприемлемых для московской профессуры, но обычных для петроградской, соглашательских тонах. Я запротестовал, указав на неправильность всех действий по этому поводу:

– Такой записки я не подпишу!

– Что там много разговаривать: подпишу, не подпишу! – грубо буркнул Зернов.

Вмешался Костицын:

– Я вполне согласен со Всеволодом Викторовичем относительно неприемлемости действий по поводу записки. Тем не менее, ввиду срочности и невозможности уже составить другую, я подпишу ее.

Как обыкновенно, Костицын пошел только до полпути.

Меня стал просить, с умоляющим взглядом, чувствовавший свою вину Гулевич. Чувствуя косвенно и нашу вину в том, что мы, против его желания, заставили его остаться председателем, и не желая вносить лишней распри, я под конец согласился, ради Гулевича, нелепую записку подписать. Мы сговорились о тактике. Решили вовсе не жаловаться ни лично на Луначарского, ни вообще на Наркомпрос, тем более, что это заведомо было бы ни к чему. Взамен того, решили говорить только о нуждах высшей школы.

Опять проходим через все уже описанные меры проверки и охраны, как и при посещении Цюрупы. Приводят в здание бывших судебных установлений и приглашают подождать в комнате, смежной с большим залом, где происходят заседания Совнаркома. Ждать заставляют долго, почти целый час. Говорят, что Совнарком заседает. Но подошли и новые лица, представители красной профессуры: Тимирязев, Волгин и др. А они-то здесь зачем? Загадка впоследствии разъяснилась.

Наконец, нас приглашают. Длинная зала. Во всю ее длину – стол. За столом, на диванах и на стульях у стен сидят члены Совнаркома. Много их здесь, человек около шестидесяти – весь большевицкий Олимп, кроме больного Ленина. Смесь типов и лиц, иные вовсе не интеллигентные. За председательским столом – А. Д. Цюрупа. Мы продвигаемся с одной стороны длинного стола. Нас сопровождают любопытствующие, чаще иронические, взгляды большевиков. На иных лицах – открытая усмешка. Уже ясно – наше дело предрешено. Мы должны его проиграть...

– Прошу профессуру сесть сюда! – раздается возглас председателя.

Нас усаживают в стороне, у стенки, неподалеку от председательского стола. Немного в

стороне – тоже особый стол. За ним, в одиночестве, среди кипы бумаг сидит А. И. Рыков.

– Точно прокурор, – мелькнуло в мыслях.

Вижу, что перед каждым из членов Совнаркома лежит отпечатанный текст нашей последней записки совещания, составленный мною, в которой объясняются причины невозможности для нас продолжать участвовать в комиссии Луначарского. Кое-где видны девицы, очевидно, стенографистки.

– Слово предоставляется представителю профессуры!

Как мы и условились, первым говорит В. С. Гулевич. В мягких и более осторожных, чем обыкновенно, выражениях он обрисовывает дело, приведшее нас сюда.

Слово берет Луначарский. Он делает возражения против возможных по его адресу упреков. С большой горячностью и пафосом он защищает свою политику в деле управления высшими школами, предвидя обвинения, которые будут по его адресу высказаны.

– А нет ли, – спрашивает Цюрупа, – среди профессуры кого-либо, кто бы держался иного взгляда, чем только что высказанный представителем профессуры?

Подскакивает, поднимая руку, Тимирязев. Так вот, значит, для чего были они, красные профессора, сюда истребованы...

Не узнал я А. К. Тимирязева, все же не такого уж глупого человека. Его речь была построена на сплошной неправде, передержках – и притом так, что уличить его в этом не было никакого труда. Тимирязев не столько говорил по вопросу, сколько обрушился на профессуру вообще. В частности, он защищал целесообразность существования и развития предметных комиссий, которые Наркомпрос ставил в основу намеченной реформы:

– Профессора, – говорил Тимирязев, – возражают против предметных комиссий... Это потому, что в них будут иметь голос и преподаватели, которые теперь лишены права голоса. Все в руках профессоров!

Он утверждал также, что профессура пристрастно и безо всякого основания нападает на рабочий факультет.

Произносит защитительную речь и Покровский.

Первый, с ответом с нашей стороны, выступает В. А. Костицын. Прежде всего, и без труда, он подвергает критике и возражениям доклад Тимирязева, изобличая его в передержках. Затем он переходит к нашему делу по существу. Он вовсе не имеет в виду нападать на Луначарского, потому что признает, что, не имея в своем распоряжении достаточных средств, он и не мог сделать того, что необходимо сделать в интересах высшего образования в стране. Поэтому он поддерживает просьбу Луначарского о значительном увеличении ассигнований на высшие школы.

На лице Луначарского ярко выразилось недоумение. Обе защитительные речи – и его, и Покровского – повисают в воздухе. Этого они не ожидали. Недоумевающий Луначарский замолкает уже до самого конца заседания.

Взявши слово, я говорю сильно, с большой экспрессией. Сначала я приканчиваю Тимирязева за его передержки. Как член факультета он знает, что младшие преподаватели пользуются равным голосом с профессорами. Неужели проф. Тимирязев думает, что Совнаркому надо говорить именно неправду? Разбиваю также его возражения по поводу предметных комиссий. С профессором Тимирязевым на этом можно считать оконченным!

Я указал также на те факты, которые дают основания протестовать против действий слушателей рабочих факультетов. По существу же, быть может в слишком энергичной форме, я высказываю ту мысль, что, имея уже кладбище низшей школы и кладбище средней школы, —

– Вы должны беречься, как бы не создать еще и третьего кладбища. Мы вам об этом говорим прямо и серьезно!

– Слово принадлежит товарищу Дзержинскому!

Этим выступлением нарушается относительно спокойное течение заседания. Истерически резкая речь! Сам Дзержинский, невысокий, не то что подвижный, а весь какой-то издерганный, производит впечатление не могущего или не желающего владеть собой неврастеника-дегенерата. Он буквально прокричал свою речь, обрушившись с ней лично на меня.

– Ага! Вы различаете “мы” и “вы”?! Вы себя противопоставляете рабоче-крестьянской власти?! Так мы сумеем показать, что вы должны ей подчиняться! Для этого у нас достаточно средств!

– Забастовку устраиваете?! А я знаю, что профессура бастовала по указанию из Парижа! У меня на это есть доказательства. Не говорю, что именно присутствующие получили эти письма, но они были! Вас нарочно заставили забастовать, чтобы помешать советской власти на Генуэзской конференции!..

Он неистовствовал минут десять. Наши делегаты совсем головы опустили, испугались. Встаю, чтобы взять слово для ответа Дзержинскому. Хватает за полу Гулевич, шепчет:

– Подайте нашу петицию...

– Но ведь я с ней не согласен! Подавайте вы как председатель.

Смотрит умоляющим взглядом:

– Пожалуйста, подайте вы!

Пожимаю плечами, беру петицию, иду к Цюрупе:

– Прошу слово для ответа комиссару внутренних дел.

– Хорошо.

Цюрупа в качестве председателя держал себя безусловно корректно. Говорил еще Покровский, защищая свой рабочий факультет. Сдержанно выступал Костицын. Несколько слов проговорил Д. С. Зернов – о необходимости ассигнований на ремонт зданий. Чичибабин и Одинцов не произнесли ни слова. Не выступал более и наш председатель.

Берет слово Рыков. Говорит с большим раздражением:

– Я думал, что профессора придут жаловаться на товарища Луначарского, а потому и созвал заседание Большого Совнаркома. А оказалось, что они никакой жалобы не высказали! Даже, более того, профессор Костицын удостоверяет свою солидарность с Анатолием Васильевичем. Он просил о поддержке ходатайств товарища Луначарского... В таком случае выходит, что я напрасно побеспокоил Совнарком и прошу за это извинить меня.

Затем он обрушился на профессуру вообще:

– Что вы делаете для народа? Что сделали вы, например, для предотвращения голода на Волге?!

Рыков просит поэтому принять его резолюцию. Он ее читает: предлагается признать правильными и одобрить действия наркомпроса Луначарского и выразить осуждение профессуре за неосновательные претензии. Последнее слово предоставляется Цюрупой мне:

– Народный комиссар внутренних дел обрушился на меня за якобы сделанное противопоставление “мы” и “вы”. Но очевидно, что иначе выразиться я не мог. Если бы, обращаясь к членам Совнаркома, вместо “вы” я сказал бы “мы”, то можно было бы подумать, будто мы подозреваем членов Совнаркома в желании стать профессорами, тогда как эта карьера едва ли их соблазняет. Или же можно было бы подумать, что мы, профессора, мечтаем стать членами Совнаркома, тогда как мы слишком скромны, чтобы мечтать о такой карьере...

По зале пронесся сдержанный, но общий смех. Дзержинский сделал злое лицо.

– Народный комиссар Дзержинский говорил также, что у него есть документы относительно получения профессорами директив на забастовку из Парижа. Как один из деятелей по организации забастовки утверждаю, что никаких указаний из Парижа по этому поводу мы не имели. И никакие документы доказать противного не смогут!

Дзержинский сверкает глазами. Затем я возразил Рыкову. Профессура ничего не сделала для устранения голода... А что власть позволила бы делать в этом направлении профессорам? Напеваю на арест общественного комитета помощи голодающим. И снова призываю внимание Совнаркома на трагическое положение высшей школы.

– Прения закончены! – заявляет Цюрупа.

Ставится на голосование резолюция, предложенная Рыковым. Станный факт: несмотря на партийную дисциплину, за резолюцию поднимают руку, правда, большинство, однако не все члены собрания. Примерно одна треть воздержалась. Мы выходим. Насмешливыми взглядами нас более не провожают. Заседание Совнаркома потом продолжалось. Говорили – не знаю, верно ли это – будто после показательного заседания при нас происходило по тому же поводу закрытое заседание, на котором сильно досталось Луначарскому. Мы возвращались в разном настроении.

– Вот нас и высекли! – говорил Костицын.

– Я вовсе не чувствую себя высеченным, – возражал я. – Скорее, напротив! Смотрите, как нас встретили и как проводили.

– Все же, – утверждал Костицын, – нам наплевали в глаза!

Остальные наши делегаты были также в подавленном настроении. Было совершенно очевидно, что сопротивление профессуры сломано и не возобновится. На ближайшем нашем совещании представителей высших школ было решено, что надо произвести перевыборы представителей. Наша роль, боевая роль, была сыграна. Теперь необходимо было вести игру в мирно-дипломатических тонах, а для этого нужны были новые люди.

Выборы, действительно, повсюду состоялись. В состав представителей вошло много новых лиц. Председателем нового совещания избрали, к его великому и понятному неудовольствию, нашего проф. Д. Ф. Егорова. Его репутация в глазах советской власти была давно уже испорчена, и его следовало бы пощадить. Однако новое совещание было создано только один раз. После заседания Егоров был вызван в ГПУ и ему пригрозили арестом и

всякими репрессиями, если работа совещания будет продолжаться. Конечно, совещание больше не созывалось» (

Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 265–271).

В протоколе заседания Совнаркома 29 апреля 1922 г. по «докладу К[оми]ссии, образ[ованной] по предложению т. Цюрупы по вопросу об экономическом положении высшей школы» (в качестве «докладчиков» которой значатся: «от преподавателей Высшей Школы – Архангельский, Гулевич, Зернов, Одинцов, Стратонов, Костицын, Залуцкий (Главпрофобр), Тимирязев (Гос[ударственный] Уч[еный] Совет), Волгин (Гос[ударственный] Уч[еный] Совет)») было вынесено решение: «Принять предложение т. Рыкова, передав его на редакционное исправление Комиссии в составе тт. Луначарского, Курского и Яковлевой» (ГАРФ. Ф. Р – 130. Оп. 6. Д. 19. Л. 115, 117). А 13 мая Совнарком принял к сведению «Сообщение о подписании 10/V – 22 г. пост[ановления] СНК от 29/IV об экономическом положении высшей школы (пр. 480, п. 5)», которое гласило: «Заслушав заявление представителей профессуры, Совет Народных Комиссаров констатирует:

1. что НКП сделал все от него зависящее для увеличения ресурсов ВУЗ, приняв во внимание все аргументы и расчеты, представленные профессурой;
2. что Наркомпрос обсудил аргументацию профессуры за изменение устава ВУЗ и произвел максимальные поправки устава в направлении пожеланий профессуры, о чем было доведено до их сведения на заседании 20/IV;
3. что вследствие этого обвинение профессуры против НКП неосновательно.

Вместе с тем Совет Народных Комиссаров постановляет:

1. Признать устав ВУЗ в последней редакции окончательным.

Предложить профессорам в своей учебной деятельности всецело руководствоваться этим уставом, не нарушая непрерывных работ ВУЗ и смягчая тем их тяжелое положение.

[2.] НКП осуществить дальнейшее сокращение числа ВУЗ, уничтожить излишний параллелизм в их деятельности, ликвидировать те из начинаний НКП культурно-просветительного характера, которые не являются безусловно необходимыми для обеспечения текущей сокращенной программы деятельности НКП.

В особенности эти сокращения должны произойти за счет поддержки со стороны государственной казны различных предприятий и начинаний в области искусства (театры, художественные студии и т. п.).

3. Принять к сведению заявление о крайне тяжелом положении ВУЗ при рассмотрении сметы Наркомпроса» (Там же. Л. 159, 151–152).

477

См.: Запись от 28 ноября 1953 г. – Тетрадь XIX. С. 103–107.

478

В мандате от 3 февраля 1922 г. говорилось: «Научно-технический отдел ВСНХ настоящим удостоверяет, что согласно отношению от 10 января с.г. за № 36 профессор В. А. Костицын командирован в Петроград для участия в Междуведомственном метеорологическом совещании при Главной физической обсерватории» (РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 23. Д. 24. Л. 144).

479

В. В. Стратонов отмечал, что его дочь, встревоженная отказом тюремных властей принять передачу для арестованного отца, «телефонировала В. А. Костицыну», и тот, имея связи в большевистской верхушке, «переговорил по телефону с заместителем Дзержинского – Ягодой», совравшим, будто «профессора помещены в особом отделении, с комфортом, и их прекрасно кормят» (Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 283). Уже после освобождения из тюрьмы, перед высылкой за границу, состоялось заседание физико-математического факультета, о котором Стратонов, не присутствовавший на нем лично, писал со слов бывшего ректора М. М. Новикова, также высланного из России: «Председательствовал В. А. Костицын. Ни председателем, ни одним хотя бы из присутствующих членов факультета по нашему адресу не было сказано ни малейшего приветствия, никакого “прости”. Как будто в факультетской жизни ничего не произошло, и все идет нормальным порядком. М. М. Новиков был до глубины души возмущен этим:

– Помилуйте, я был ректором! Пострадал за это... И хотя бы кто-нибудь хоть одно слово сочувствия высказал!

Позже В. А. Костицын говорил мне:

– Я нарочно не поднимал этого вопроса официально, чтобы как-нибудь не ухудшить вашего, В[севолод] В[икторович], положения.

И в частном порядке ничего высказано не было» (Там же. Л. 296–297).

На самом деле, заслушав 13 сентября 1922 г. «письмо профессора В. В. Стратонова с прощальным приветствием факультету и выражением признательности за доверие во время деканства со стороны членов факультета», присутствовавшие на его заседании, в числе которых первым назван В. А. Костицын, постановили ответить: «Физико-математический факультет выражает глубокую благодарность декану В. В. Стратонову за самоотверженное исполнение обязанностей декана в самое тяжелое для факультета время и желает видеть его снова и возможно скорее в своей среде» (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 587. Л. 14).

480

Запись от 22 июня 1950 г. – Тетрадь III. С. 214–216.

481

странной войны (фр.).

482

Тоня, Антонина Михайловна, московская подруга Ю. И. Костицыной, вышла замуж за французского коммуниста Марселя Гелена, с которым в 1931 г. уехала в Париж, где в 1940 г. у них родилась дочь Таня.

483

ежедневнике (фр.).

484

Крест «За боевые заслуги» (фр.).

485

Немецкие войска вторглись в Норвегию 9 апреля 1940 г.

486

10 мая 1940 г. главнокомандующий союзными войсками во Франции генерал Морис Гамелен подписал приказ о выполнении плана «Д», согласно которому 1-я группа союзных армий должна была продвинуться на территорию Бельгии, чтобы остановить немецкие войска и укрепиться на линии Маас – Лувен – Антверпен.

487

Сокращенное название от ?cole Sp?ciale Militaire de Saint-Cyr (букв.: Особая военная школа Сен-Сир) – высшее учебное заведение во Франции, готовящее высококвалифицированных офицеров для армии и жандармерии; располагалось до войны в парижском пригороде Сен-Сир-Леколь.

488

Линия Мажино – система укреплений протяженностью около 400 км на границе с Германией (от Бельфора до Лонгийона), построенная в 1929–1934 гг. и названная по имени военного министра Андре Мажино (1877–1932).

489

Троицын день (фр .).

490

Saint-R?my-l?s-Chevreuse (Сен-Реми-ле-Шевр з) – город в 27 км юго-западнее Парижа.

491

От avion (фр.) – самолет.

492

«Мы слишком любим комфорт» (фр .).

493

Неточность: роман «In the Days of the Comet» (Л., 1906) написал Г. Уэллс (на фр.:

Wells H.G . Au temps de la com?te. P., 1910); возможно, мемуарист имеет в виду роман П. Доминика «Огонь с неба, неопубликованный роман» (

Dominique P. La Feu du ciel, roman in?dit. [S.I.], 1926).

494

Паперть собора Парижской богоматери (

фр .).

495

Сквер (

фр.).

496

Запись от 20 июля 1950 г. – Тетрадь IV. С. 79–86.

497

Ежегодная торговая выставка-ярмарка (

фр .).

498

Порт де Версаль – станция парижского метро.

499

Аббревиатура от D?fense Contre Avions (

фр .) – противовоздушная оборона.

500

беседу с глазу на глаз (

фр .).

501

От gastronome (

фр.) – гурман, любитель вкусно поесть.

502

С 27 мая по 4 июня 1940 г. блокированные немцами в районе Дюнкерка на берегу Ла-Манша британские, французские и остатки бельгийских войск общей численностью в 338 тыс. человек были эвакуированы на Британские острова.

503

Вокзал Аустерлиц – один из парижских железнодорожных вокзалов, с которого поезда отправляются в южном направлении.

504

«Битва за Францию» (

фр .).

505

Генерал Вейган, сменивший Гамелена на посту главнокомандующего, собирался остановить немецкое наступление по «линии Вейгана», созданной от побережья Ла-Манша по рекам

Сомма и Эн до «линии Мажино».

506

шоссе, национальная дорога государственного значения (фр .).

507

развязки главной автомагистрали (фр .).

508

Запись от 21 июля 1950 г. – Тетрадь IV. С. 87–94.

509

курсант военного училища (фр.).

510

Венсен – город примерно в 7 км к востоку от Парижа.

511

Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Национальный центр научных исследований Франции, учрежденный 19 октября 1939 г.

512

Набережная д'Орсэ на левом берегу Сены.

513

От camion (фр.) – грузовик.

514

От autocar (фр.) – междугородный автобус.

515

Железнодорожный вокзал д'Орсэ (фр.).

516

Пропуск (фр.).

517

Намек на «Договор о дружбе и границе между СССР и Германией», подписанный В. М. Молотовым 28 сентября 1939 г. (см.: Правда. 1939. № 270. 29 сент.).

518

Анже (устар. Анжер) – город на берегах реки Мен в 300 км юго-западнее Парижа.

519

В Роскофе на побережье Бретани находилась морская биологическая лаборатория Сорбонны.

520

Костицын родился 28 мая по старому стилю, т. е. 9 июня по новому стилю, но отмечал свой день рождения 10 июня, прибавляя 13 дней, как считают для дат XX в., а не 12, как полагается для дат XIX в.

521

Институт Пуанкаре – математический институт имени Анри Пуанкаре, созданный в Париже в 1928 г.

522

Музей образования, открытый в Париже в 1879 г.

523

господин (
фр.).

524

машинисток (
фр.).

525

Блуа – город на правом берегу Луары между Орлеаном и Туром примерно в 180 км от Парижа.

526

Запись от 22 июля 1950 г. – Тетрадь IV. С. 96–102.

527

От providentiel (фр.) – спасительный, посланный самим провидением.

528

От unique (фр.) – редкий, уникальный.

529

Неожиданный поворот (фр.).

530

Железный (фр.).

531

Запись от 23 июля 1950 г. – Тетрадь IV. С. 103–109.

532

Железнодорожный вокзал Ванв.

533

Рамбуйе – город в 45 км к юго-западу от Парижа.

534

Версаль – город в 19 км к юго-западу от Парижа.

535

Железнодорожный вокзал Монпарнас.

536

От car (фр.) – автобус.

537

бригадир, командир отделения жандармерии (фр.).

538

Памятник, установленный на площади Данфер-Рошро в Париже в память о героической обороне Бельфора во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг.

539

Начальник поезда (фр.).

540

«Эй, жандармерия, чересчур усердствуешь» (фр.).

541

неисправность (фр.).

542

Запись от 24 июля 1950 г. – Тетрадь IV. С. 110–115.

543

Запись от 25 июля 1950 г. – Там же. С. 116–117.

544

Унтер-офицеры (фр.).